

Г. ТРОЕПОЛЬСКИЙ

Г. ТРОЕПОЛЬСКИЙ

Проход
XVII
и другие



Рассказы

Г. Н. ТРОЕПОЛЬСКИЙ

Троихого
XVIII
и другие

Из записок агронома

Центрально-
Черноземное
книжное
издательство

Воронеж—1971

Об этой книге и ее авторе

Восемнадцать лет тому назад журнал «Новый мир» начал публиковать рассказы Г. Троепольского, составившие впоследствии два сборника — «Записки агронома» и «У Крутого яра». Полтора десятилетия для литературы — срок немалый: ежегодно в десятках периодических изданий и отдельными книжками выходят все новые и новые произведения, которыми заявляют о себе как опытные, сложившиеся авторы, так и новички.

Особенно интенсивно развивалась за истекший промежуток времени так называемая «деревенская проза». Даже простое перечисление имен и книг позволяет ощутить, насколько она многообразна. Достаточно вспомнить «Две зимы и три лета» Ф. А. Абрамова, «Липяги» С. Крутилина, «Дождь с солнцем пополам» Еф. Дороша и, наконец, «Привычное дело», «Плотницкие рассказы» В. Белова.

Все эти книги, в разное время появившиеся и очень между собой несхожие, сближаются, однако, в главном. Перед нами яркие страницы деревенской летописи, страницы, исполненные социальной активности и нравственной требовательности.

Вряд ли есть смысл перечислять все появившиеся в этом русле художественные произведения — важно лишь отметить, что книги, например, Ф. Абрамова, С. Залыгина и В. Белова вызвали интересные критические отклики, подчас запальчивые споры, и все это, приковывая читательское внимание к злободневному, с пылу, с жару схваченному, как будто должно было бы отвлекать читателя от первооткрывателей деревенской темы начала 50-х годов — от В. Овечкина, автора «Районных будней», и Г. Троепольского, создателя «Записок агронома» и последовавшего за ними сборника рассказов «У Крутого яра».

Но это только одна сторона дела. Суть другой стороны в том, что и сам Г. Троепольский в минувшие годы не стоял на месте: мы хорошо помним и роман «Чернозем», и повести «Кандидат наук», «В камышах», и ряд рассказов, очерков, публицистических статей. Новые произведения свидетельствовали о неустанных творческих поисках советского писателя, известного своим кристальным вниманием к проблемам колхозной жизни.

Но как ни значительны, как ни интересны новые произведения Г. Троепольского, как ни велик интерес читательской общечественности и к этим произведениям, и к произведениям других авторов, обозначающим собой дальнейшее развитие «деревенской прозы», «Записки агронома» и «У Крутого яра» не оказываются оттесненными на задний план — они и по сей день продолжают удерживать за собой достойное место не только в истории советской литературы, но и в нашем литературном настоящем.

Чем же объяснить тот факт, что переиздаваемые в этой книге произведения важны и интересны для современного читателя? Внутренняя жизнеспособность этих рассказов связана прежде всего с тем, что Г. Троепольский подметил в жизни и художественно высветил столь для нас важное, что «деревенская проза» последующих лет, при всей решительности и широте предпринятых ею поисков, неминуемо должна была развивать заданную традицию, обогащая увиденное и художественно найденное как в «Записках агронома», так и в книге «У Крутого яра» и в рассказе-памфлете «Станный сон, или экзамен на здравый смысл».

Уже в «Записках агронома» читателю открылась совершенно по-новому увиденная действительность. Здесь предстает деревня начала пятидесятих годов, ее дела, проблемы, заботы, поиски — деревня, подошедшая к новому этапу жизни, ко времени больших перемен. Как известно, сентябрьский Пленум ЦК КПСС (1953) ориентировал страну на преодоление недостатков в сельском хозяйстве, и вот что показательно: сначала В. Овечкин в «Районных буднях» (1952), а за ним и Г. Троепольский в «Записках агронома» (1953) сказали многое из того, о чем потом говорилось на пленуме, что оказалось в центре внимания общества. Гражданское чувство, беспокойная мысль, художническое прозрение помогли обоим писателям подметить в изображаемой ими жизни большое и важное.

Это большое и важное определило остроту конфликта и своеобразие расстановки персонажей. Действующие лица «Записок агронома» делятся на две группы: с одной стороны — мир честности, добра и творческого разума, а с другой — равнодушная тупость, консерватизм и корыстолюбие. Нормальному, любящему людей и труд человеку противостоят страшные заводные куклы — жестокие в своей прямолинейности автоматы, одни из которых запрограммированы на парадную болтовню (Никишка Болтушок), другие — на то, чтобы всеми командовать и во все вмешиваться (председатель колхоза Самоваров по кличке Прохор семнадцатый и его патрон Недошлепкин). Г. Троепольский подчеркивает их автоматическое бездушие, он отказывает им в праве на обычные человеческие переживания, на богатство духовной жизни. Они не люди, а существа, находящиеся где-то между предметами одушевленными и неодушевленными.

Прохор семнадцатый — весь в бумажках. Отрывной календарь для него — основной источник информации. Заветное желание — крепко привязать колхозного агронома к правлению, чтобы тот по полям не болтался, а «писал или диаграммы какие-нибудь чертил». Так и шагает от эпизода к эпизоду монументальный Прохор Палыч, держа равнение на слущенную Недошлепкиным инструкцию, и не на что ему больше равняться, по-

тому что дальше бумажек дело у прохоров семнадцатых все равно пойти не может: «...наши планы были планы, есть планы и будут планы».

Атмосфера подлинно живого человеческого дела решительно противопоставлена не только Самоварову, но и Недошлепкину и Никишке Болтушку, и в том, что они античеловечны, проявляется стремление художника к неприкрытой условности сатирического преувеличения. Поэтому нельзя согласиться с критическим замечанием, которое сделал в свое время Я. Эльсберг по поводу образа Прохора семнадцатого. Как ошибка Г. Троепольского было воспринято то, что герой не показан «средствами психологического анализа»: «Как он дошел до жизни такой? Ответ на этот вопрос дал бы возможность еще глубже заглянуть во внутренний мир этого персонажа»¹. Но все дело именно в том, что автор отказывает таким, как Прохор семнадцатый, в праве на человечность — это один из законов художественной условности, требование сатирической типизации.

Элементы откровенной условности, сатирического преувеличения в изображении отрицательных персонажей во многом определяют построение рассказов «Прохор семнадцатый, король жестянщиков» и «Никишка Болтушок»: действие каждого из них начинается в рамках спокойного, житейски достоверного повествования. Сатирическая условность пробирается туда сначала тоненьким ручейком, а потом, постепенно распространяясь, все заполняет собой и, лишь достигнув кульминации, со спадом драматического напряжения опять уступает место неторопливому очерковому бытописанию.

Вспомним общее колхозное собрание, на котором Недошлепкин уговаривает крестьян избрать Самоварова председателем, вспомним и частые, на всю ночь затягивающиеся заседания правления под председательством уже самого Прохора Пальча. Здесь все нелепо: беснуется Никишка Болтушок, едва не захлебываясь в струе собственного красноречия — «такую речь закатил, что даже шапку потерял, и ее растоптали в лепешку», а в это время слушатели спят между скамейками и если просыпаются, то лишь затем, чтобы произнести дежурную речь и вновь улечься, доуютнее завернувшись в полушубок.

Бесконечно тянется речь Болтушка, а настоящая, трудовая жизнь идет своим чередом — именно сейчас в шорной мастерской доделывают хомут. Так контраст между делом подлинным и делом мнимым приобретает символическое звучание: жизнь продолжается, несмотря ни на какие помехи, — надо рубить избы, строить коровники, сеять и убирать хлеб, потому что чело-

Я. Эльсберг. Наследие Гоголя и Шедрина и советская сатира. М., «Советский писатель», 1954, стр. 139.

веческое благо определяется именно всем этим, а не безграмотным разглагольствованием болтушков.

Писатель испытывает своих отрицательных персонажей на человечность, и они это испытание не выдерживают. В «Записках агронома» люди одерживают верх над бездушными манекенами. Разум и хозяйственная целесообразность оказываются сильнее глупости и бесхозяйственности. Аналогичным образом разрешается конфликт и в рассказе-памфлете «Странный сон, или экзамен на здравый смысл» (1960).

Как и в «Прохоре семнадцатом, короле жестянщиков», начало рассказа отмечено спокойствием тона, сдержанностью красок, соблюдением норм бытового правдоподобия. Но движется действие, и на передний план выступает фантастика: кандидаты и доктора сельскохозяйственных наук сдают экзамен на здравый смысл.

Этот экзамен предстает как судебное заседание, которое автор ведет с увеличительным стеклом в руке. Потому-то так щедро использует он приемы сатирического преувеличения, перерастающего в фантастику гротеска.

Истина торжествует: в ходе экзамена на здравый смысл институтский швейцар Матвейч соскабливает ярлыки ученых степеней и званий со лба тех, кто пришел в науку, ища себе местечко потеплее и кусок послаще. Матвейч от имени подлинной жизни и здравого смысла дает бой мертвенной бессмыслице тех, кто притворяется исследователем. И именно потому, что соскабливаются ярлыки, что люди требуют дела, рассказ-памфлет по-настоящему оптимистичен.

Идут по земле Здравый смысл и Справедливость. Гнев и насмешка перерастают в радостное ощущение торжествующего добра. И нам открывается мир созидательного труда, творимого руками и одного человека, и целых поколений: «Каждый человек должен пахать свою борозду. Следующий за мной тоже пашет свою борозду, но заваливает мою новым пластом. Так что я не удручаюсь, если моей борозды не будет видно, зато общая пахота получается взрыхленная и урожайная. Я — лемех в многокорпусном плуге истории».

Люди настоящего дела, побеждающие прохоров семнадцатых, недошлепкиных, гришек хватов и никишек болтушков, как раз и составляют неотъемлемую часть «многокорпусного плуга истории». Это колхозные бригадиры Пшеничкин, Платонов и Катков, ночной сторож Евсеич, пожарный Игнат и прицепщик Терентий Петрович. Автор не старается возвести своих героев на пьедестал идеальности — скорее наоборот: иронически поглядывает он на них, дружески посмеиваясь и над бригадирами, которые спят между лавок во время заседаний, и над лениво тоскующим Игнатом, и над любящим выпить Терентием Петровичем.

Но приглядимся к этим людям и увидим, что, например, в характере Игната с самого начала проглядывает и умная веселая насмешливость, и потребность найти себе наконец дело по душе. Назначенный на должность пожарного, он даже внешне преобразается: ответственность, на него возложенная, доверие, ему оказанное, заставляют человека почувствовать, что он нужен людям, и ему теперь есть где проявить долго дремавшую в нем исконную мужицкую старательность. И когда Игнат спасает мальчишку в крошеве ломающегося льда — это в облике мужества отражается умение отдавать себя большому делу без остатка.

В образе Терентия Петровича душа самоотверженного рыцаря правды, по-сыновьи радеющего о родной земле, открывается читателю опять-таки далеко не сразу. Прицепщик обычно тих, скром, даже невозмутим, и насмешливое озорство ума проявляется в основном по праздникам, когда удается основательно выпить. Но много ли стоят обличительные рассуждения пьяного, который после возлияний и домой-то добирается, как говорит Г. Троепольский, «короткими перебежками» и, разумеется, «не по прямой»? Однако Герасим Корешков возвращает колхозу деньги, а фельдшер-мздоимец не жалеет сил, чтобы задобрить Терентия Петровича, но Терентий Петрович неподкупен.

Прицепщик хочет, чтобы все вокруг него делалось правильно, в соответствии с требованиями совести и здравого смысла. Именно поэтому он неизбежно вступает в конфликт с Недошлепкиным. Прицепщику нужно, чтобы проведение пахоты соответствовало не только цифрам очередной сводки, но и подтвержденным практикой агротехническим нормам, в то время как Недошлепкин способен только заклинать: «Давай-давай!»

Готовясь выступить на районном совещании передовиков производства, Терентий Петрович снимает с себя привычную маску подвыпившего озорника, потому что предстоит дать бой не отдельным мелким жуликам и хапугам, а бюрократической бессмыслице недошлепкиных. Герой рассказа преобразается: нет деревенского балагура — на трибуне солдат идеи, борец за правду.

Ораторски громко, публицистически резко звучит его голос, потому что к Терентию Петровичу подключаются и герой-рассказчик, и писатель. Присущая только Терентию Петровичу интонация растворяется в публицистическом пафосе непосредственно сформулировавшегося авторского отношения: «А я спрашиваю: когда кончится такое? Когда мы перестанем для сводки нарушать агротехнику и понижать урожай? Это же делается без соображения. Точно говорю, товарищи: без соображения!»

Слово «соображение» приобретает здесь более широкий, нежели в нашем разговорном обиходе, смысл: оно означает умение слушать и понимать голос жизни. Так чуткая человечность

Терентия Петровича победно противостоит тупости Недошлепкина. Жалким, ничемным оказывается он, пройдя проверку на то «соображение», о котором говорит Терентий Петрович: неподвластна ему жизнь, чужда ему природа, невнятен ее язык.

Природа в «Записках агронома» — один из наиболее активных положительных героев Г. Троепольского. Подобно бригадирам Пшеничкину, Платонову и Каткову, подобно Игнату и Терентию Петровичу, природа оказывается носителем непоказного трудолюбия, подлинной деловитости. Откроем вновь рассказ «Игнат с балалайкой», чтобы попасть в поэтически воссозданную атмосферу степного знойного дня. Казалось бы, безмерно мал человек в бескрайней шире степей, бездонной голубизне неба, однако не так-то он и мал, как может подуматься с первого взгляда: все здесь напоминает о его присутствии, все здесь измерено аршином его привычных представлений, выработанных в трудовом общении с миром природы. Вероятно, именно поэтому мы сначала видим комбайны, слышим трудолюбивое гудение самолета сельскохозяйственной авиации, и только уж потом доносится к нам традиционное пение жаворонка.

Правда, в других пейзажных зарисовках на передний план выдвигаются привычные детали — «и молоденький, от первых цветов гречишный медовый запах, и душистое — свежее-свежее! — сено, и такой ласковый душок крошки чабреца», и «веселая звезда-зарница», которая «приветливо начинает мигать из темнеющей синевы...». Но на эти восходящие к тургеневско-бунинской традиции детали наслаивается беспокойная жизнь любимых героев автора, которая напоминает о себе гудением тракторов, работающих и глубокой ночью, когда «кажется — земля дышит». Заметим, что гул машин не противостоит природе, как сама природа не противостоит честным труженикам земли. Потому во время ночной пахоты «у тракторов не такой чистый треск, как утром, и не так они рокочут густо, как в ясный день: они осторожно шевелят тишину приглушенной и плавной, густой нотой...»

Но хотя мир природы здесь совсем близко придвинулся к человеку и стал привычной деталью быта, это отнюдь не снизило лирическую патетику повествования, не ослабило радостное удивление художника перед мудростью очистительного воздействия природы. В ней для Г. Троепольского все начала и концы социальной и нравственной оценки персонажей. Эти критерии вырабатывались «Записками агронома». С ними автор пришел к сборнику «У Крутого яра» (1956), куда вошли такие рассказы, как «Соседи», «У Крутого яра» и «Митрич».

Дарование писателя здесь поворачивается к нам новыми гранями. Если в «Записках агронома» свет и тьма как бы уравновешиваются, поскольку Недошлепкину противостоит Терентий

Петрович, Прохору семнадцатому — бригадиры, а Болтушку и Хвату — колхозный сторож Евсеич, то в новых рассказах любимцы автора выдвинулись на передний план.

Автор словно хочет поскорее разделаться с ненавистными ему людьми и потому обрушивает на них всю силу своего гнева: и рассказчик здесь максимально определен, и отрицательные персонажи с первых же слов активно саморазоблачаются. Поэтому председатель колхоза Черепков в рассказе «Соседи» заявляет доярке, как говорится, без обиняков: «Ты мне дай рекорд хоть с одной коровы. Другим уменьши норму, а с Милки дай пять тысяч литров... Мне в район стыдно показываться».

Те, кому отданы любовь и доверие художника, выписаны неторопливо и тщательно, с пристальным вниманием к богатству их внутренней жизни. Нельзя, конечно, сказать, что Митрич, Селя и Макар Петрович совершенно новые для Г. Троепольского герои, однако в «Записках агронома» еще не было такого интереса к внутренней жизни людей земледельческого труда. Живое, четко индивидуализированное воплощение получает общая для них черта — умение жить интересами окружающих.

Разные по характерам, они сближаются в ненависти к тому, что, по словам Макара Петровича, «не соответствует действительности», будь то волки, таскающие колхозную скотину, непорядки на конюшне или нарушения агротехники. Как бы ни мешали им бестолочь и равнодушие, они все равно делают то, что считают нужным, не за страх, а за совесть — иначе они и не умеют и уметь не хотят.

В крестьянском труде, в верном служении земле обретают художественную плоть и энергию движения эти герои Г. Троепольского. Писатель не пользуется здесь традиционными приемами психологического письма, не старается проследить постепенную смену и взаимопроникновение мыслей, настроений. Герои предстают в обстоятельном изображении их речей и поступков, омываемых потоком лирического самовыражения повествователя.

Среди этих героев следует выделить прежде всего образ Митрича, который всю жизнь воюет с непо порядками и в ответ на демагогические обвинения твердо заявляет: «Сумлеваюсь», и это «сумлеваюсь» — не холодная ирония постороннего, не скепсис безверия, а результат горячей гражданской заинтересованности в колхозных делах, конкретное воплощение борьбы за хозяйственную целесообразность.

Перед нами проходит вся жизнь Митрича с тридцатых годов до наших дней, но центральными эпизодами рассказа являются дни Великой Отечественной войны. Именно здесь происходит проверка Митрича на стойкость, и герой эту проверку с честью выдерживает. Подобно деду из поэмы А. Твардовского «Василий

Теркин», «перед всеми за победу лично он держал ответ». Никто теперь не слышит митричево «сумлеваюсь». Всегда «сумлевавшийся», он теперь не позволяет сомневаться ни себе, ни людям — он даже бьет по лицу солдата, сказавшего, что враг «через месяц-другой, может, и сюда докатится...» Когда во время полевых работ начинает плакать Алена Вишнякова, проводившая на фронт мужа и сына, Митрич говорит с ласковой требовательностью: «Нельзя. Ему от этого будет хуже. Право слово, такая примета есть. Прекрати, Алена, прекрати. Что ты, аль добра ему не желаешь?» «И Алена переставала плакать, потому что плакать о живом — плохая примета: Митрич знает лучше».

Эпизод символически значим, «Митрич знает лучше» потому, что его личное знание жизни перерастает в исторический опыт народа, а уходящие в глубокую древность приметы оказываются поэтическим олицетворением все того же опыта, который накоплен поколениями мужиков, на протяжении долгого времени являвшихся основой русской жизни. Именно Митрич, много на своем веку повидавший, никогда не изменявший ни своим убеждениям, ни самому себе, явился для Г. Троепольского наиболее законченным воплощением народного характера.

Поэтому символическое звучание приобретает здесь и связь между человеком и природой. Перед тем, как начать повествование о большой и нелегкой жизни Митрича, автор заставляет нас услышать «первую трель скворца» и «журавлиную песнь», которая «радует и веселит в опьяняющем весеннем смещении перезвона трелей, далекого урчания тракторов, запаха набухающих почек деревьев и ласковых барашков молодого тальника, примостившегося на островке половодья». Человек живет в этой природе и, много раз пропустив мимо себя смену времен года, сам подчиняется неумолимому закону кругооборота жизни: служа земле, он становится ее частью.

Не случайно в финале, изображающем смерть Митрича и печальную торжественность деревенских похорон, в скорбном шествии участвуют не только люди, но и птицы и вся природа: «Легкая паутина плыла в воздухе. В чистом светло-голубом небе курлыкали невидимые журавли, парящие в высоте. Ласточки, собираясь к отлету, уселись на телефонные провода, будто и задержались они для того, чтобы проводить Митрича: сидели рядами, как черно-белые живые бусы, и осенним прощальным щебетанием наполняли село».

Сама жизнь здесь благодарит человека за добро, им содеянное, и не случайно с дороги, по которой движется похоронная процессия, действие переходит на бахчи, где Митрич бесшумно работал последние годы. Интонация тихой скорби перерастает в спокойную просветленность. Перед нами гигантский натюрморт передающий плодоносное напряжение природы: «А в поле в это

время тяжелым и сочным земным грузом лежали будто нарочито разбросанные богатой осенью по бахче громадные арбузы и дыни. Воткнешь нож в такой арбузище, а он лопнет вдоль, не дожидаясь движения ножа, лопнет в нетерпении, брызнув сахарным соком. Дескать, берите, поминайте Митрича!»

Весенний пейзаж в начале и осенний в конце рассказа являются торжественным обрамлением судьбы земледельца, и лирическая приподнятость этого обрамления под стать человечески значительной, по-своему величественной фигуре Митрича. Герой уходит из жизни, завещав потомкам свою любовь к земле, бескорыстную заботу о ней, страстную заинтересованность в деле.

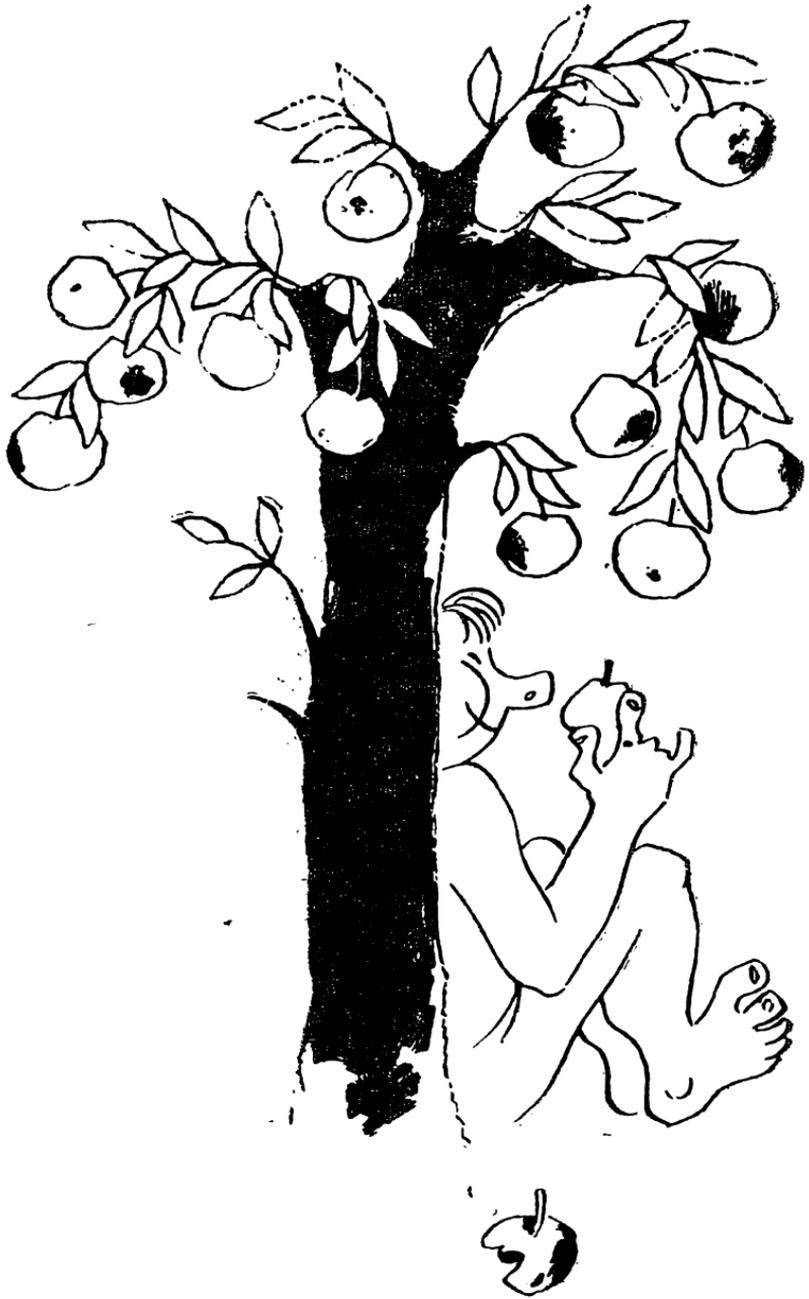
В рассказе «У Крутого яра» есть такой эпизод: главный герой — Сеня Трошин — в поле на рассвете рассматривает каплю росы, в которой, как в волшебном зеркале, отражается огромный мир. Честный труженик, мужественный человек, он составляет часть этого мира и «любит жизнь — вот эту, нашу, настоящую жизнь, что порою отражается и в капле».

Эту «нашу, настоящую жизнь» воплощают в произведениях Г. Троепольского близкие ему по духу герои, которые выполняют великую в своей примелькавшейся каждодневности крестьянскую работу. Воплощением этой «нашей, настоящей жизни» является и сам автор. Ставший писателем уже в зрелом возрасте, имея за плечами опыт сельского учителя, агронома, научного работника, автора ряда трудов по селекции, Гавриил Николаевич принес в литературу вместе с незаурядным талантом высокую зрелость ума, социальный и нравственный опыт личности, а также неторопливую рассудительность, проистекающую не от усталости, а от деловитой гражданственности, от знания жизни, от веры в нее. Вера эта заставляет Г. Троепольского, когда нужно, отодвигать в сторону кисть художника и браться за перо публициста.

Мы хорошо помним выступления писателя, посвященные насущным проблемам современности. Так, на страницах газет «Правда», «Известия», в журнале «Новый мир» появились статьи, продиктованные заботой о сохранении малых рек. После опубликования очерка «О реках, почвах и прочем» («Новый мир», 1965 г., № 1) прошло шесть лет. За это время полностью подтвердилась обоснованность забот и волнений Г. Троепольского.

Сделано немало, но работа не окончена. Впереди — новые заботы, новые замыслы, и что бы писатель ни делал, он занимает благородную и трудную позицию человека, хата которого никогда не оказывается с краю.

В. Скобелев.





**ПРОХОР XVII
И ДРУГИЕ**

Никишка Болтушок

Мне много приходится разъезжать по колхозам. Прежде, до того как подружился мы с Евсеичем, я ездил один. Теперь Евсеич нередко сопровождает меня.

А старик он такой: работает ночным сторожем, но успевает и выспаться и сбежать на охоту или на рыбалку. Иной раз он скажет:

— Давай с тобой, Владимир Акимыч, поеду. Посмотрю, что у людей добрых делается.

И тогда едем вдвоем, разговариваем в пути по душам...

Вот и сейчас мы возвращаемся домой — в колхоз «Новая жизнь». Линейка поскрипывает рессорами, рыжий меринок Ерш бежит рысцой, а Евсеич перекинул ноги на мою сторону, видимо намереваясь вступить в длительный разговор.

Евсеич всегда весел, а рассказчик такой, что поискать. Лет ему за шестьдесят, но здоровью можно позавидовать. Бородка у него седая, остренькая — клинышком; лицо подвижное: то оно шутивно-ехидное, то вдруг серьезное, и тогда голубые глаза — внимательные и умные — смотрят на собеседника открыто и прямо; брови, будто не желая мешать глазам, выросли маленькими, но четкими, резко очерченными. На голове у Евсеича кепочка из клинышков, с пуговкой наверху.

Он любит рассказывать сказки, сочиняет шутивные небылицы, не прочь поглумиться над лодырем, а уж если про охоту начнет, то с таким упоением плетет свою складную, забавную небывальщину, что без смеха слушать невозможно. Он, впрочем, и сам на это рассчитывает. Кепку на один глаз сдвинет и почешет пальцем у виска — вот, дескать, дела-то какие смехотворные!

— Многие думают, — говорю я Евсеичу, — что быть агрономом — простое дело: ходи себе по полю, загорай, дыши свежим воздухом да смотри на волны пшеничного моря. Слов нет, и загораем и на волны смотрим. Хорошо, конечно. Но мало кто знает, сколько сводок, сведений, планов, отчетов, ответов на запросы и просто ненужных бумажек приходится писать агроному. Иную неделю света белого не взвидишь, а не то чтобы — поле. Сводки, сводки, сводки!..

— Бумаги-то небось сколько, батюшки мои! — восклицает Евсеич.

— Иная сводка в двести вопросов, на двенадцати листах.

— Одни вопросы читать — два самовара выпить можно.

— Раз такую сводку сложили в длину, лист за листом, три метра с чем-то вышло!

— Три метра! — качает головой Евсеич. — Ай-яй-яй! Холсты, прямо холсты!

— А сочинители этих холстов, — продолжаю я свои жалобы, — ссылаются на запросы то Министерства сельского хозяйства, то института, то от себя еще добавляют. Иначе откуда бы взяться такому вопросу: «Среднее число блох на десяти смежных растениях капусты, взятых подряд и без выбора»? Хорошо хоть, что в примечании говорится: «В целях упрощения на каждом отдельном растении блох считать не следует». Хоть за это спасибо!.. Только блохи-то — они прыгают: сосчитай-ка! Так графа и остается незаполненной.

— Ясно дело, блоха того не понимает. Прыг — и нет ее! Известно — тварь.

— Что тут поделывать! Иной раз так в ответе и напишешь: «Прыгают интенсивно. Подсчет не проводился ввиду активности вредителя».

— Во! Так их! «Активность вредителя» — это правильно! — Помолчав, Евсеич сочувственно спрашивает: — А вам какую-нибудь добавку платят за эти вот самые... холсты бумажные? Или — за так?

Мой ответ, что это входит в обязанности агронома, его не удовлетворяет.

— Шутильником бы их! (Шутильником он называет свой кнут.)

— Кого?

— Да этих... как их, бюрократов... Ведь есть еще кое-где, а? Как ты думаешь?

— Наверно, есть, — подтверждаю я.

Ерш набирает рысь, помахивая головой и озираясь на «шутильник». Полевая сумка у меня на коленях — пухлая, толстая, как размокшая буханка, — полна сводок и сведений. Едем мы за последними данными: число скирд сена, данные обмера каждой скирды, качество сена в каждой скирде, процент осоки, дикорастущих — естественных, сеяных, однолетних, то же — многолетних, из них люцерны, эспарцета, травосмесей. В общем, последний вопрос: сколько сена?

Но кто же даст в колхозе «Новая жизнь» такие сведения? О счетоводе нечего и думать, он просто скажет: кормов столько-то, сена столько-то, яровой соломы столько-то.

— Евсеич! Кто обмерял стога сена в «Новой жизни»? — спрашиваю я.

— А что?

— Сводка.

— А! Сводка!.. Сколько вопросов?

— Восемнадцать.

— Никишка Болтушок обмерял. К нему надо... Он хоть на тыщу вопросов даст ответ.

— А как его фамилия?

— Кого?

— Да Болтушка, который обмерял сено?

— По книгам Пяткин, а по-уличному Болтушок... Яйцо такое бывает бесполезное — болтушок. Только по книгам он в правлении пишется, а зовется Болтушок. Все так зовут. И ребята его Болтушковы, а жена Болтушиха.

— За что ему такое нехорошее прозвище прилепили?

— Вона! За что? Кому следует, сразу прилепят. Все как надо быть... Лучше не придумаешь, хоть век думай! Народ как дал прозвище, так и умри — не скинешь. Это ему еще с начала колхоза дали: речи сильно любит и непонятные слова.

— Ну, а как он: мужик с головой?

— Дым густой, а борщ пустой.

После этих слов он задумался и замолчал.

...Подъехали к правлению. Там, кроме сторожа, никого не оказалось — все были в поле, и мы направились к Пяткину. Он сидел на завалинке, закинув ногу на ногу, и сосредоточенно курил. Евсеич перегнулся через линейку и прошипел мне на ухо по-гуситному:

— Все в поле, людей не хватает, а он сидит, как рыцарь. И так всегда... Шутильником бы вдоль хребтины!

Болтушок, не вставая, подал мне руку и произнес:

— Агрономическому персоналу, борцам за семь-восемь миллиардов, пламенный привет!

Без обиняков я изложил суть дела, по которому он мне потребовался, и объяснил, что не все материалы можно получить у счетовода. Пяткин слушал, многозначительно хмыкая и чмокая сигаркой. Лицо его очень похоже на перепелиное яичко: маленькое, конопатое. На лбу несколько подвижных морщинок: удивляется — морщинки вверх; напустит на себя важность — морщинки вниз; засмеется — морщинки дрожат гармошкой. Глаза малюсень-

кие, слегка прищуренные, с белыми ресницами; брови бесцветные: их незаметно на лице. На вид ему больше со- рока, этак сорок два, сорок три.

— Значит, дебатировать будем вопрос насчет сена. Та- ак! — Болтушок вздохнул, взялся двумя пальцами за под- бородачок, потупил взгляд в землю и продолжал: — Та-ак. Все эти вопросы мы с вами обследовать имеем полный цикл возможности, тем более, я, как член комиссии, имел присутствие при обмере и освещение вопроса могу произ- вести.

При этом он с достоинством поднял вверх перепели- ное яичко.

— Нам не дебатировать надо, — сказал я, — а просто выяснить кое-что. Есть ли у вас записи обмера и можете ли вы сказать о качестве сена в той или иной скирде?

— Как?

Я повторил.

— Та-ак... Обмеры сдали в правление, а вопроситель- но качества — знаю, уточнить надо и согласовать надо.: Вечером заседание правления — обсудить в корне... О жи- вотноводстве будем дебатировать, так и о сене присовоку- пим по надобности, поскольку есть ваше требование как специалиста сельского хозяйства, к которым мы должны прислушиваться и полностью присоединяться. Что такое животноводство, если...

Я перебил его:

— Мне надо в поле, а тут данные для сводки негде взять.

Болтушок, кажется, обиделся. Его морщинки прыгну- ли вниз.

— Так, так... — произнес он. — Как я имею понятие, вы предъявляете требование с намерением заполнить сводку на завалинке.

— Никакого такого намерения нет. Но я должен по- беседовать с членами комиссии по учету кормов.

Он, будто не слыша, продолжал:

— Пойдем в правление, сядем честь по чести и проде- батлируем согласно формы.

Я решил не «дебатировать» и, попрощавшись, поехал в поле.

Вечером, до начала заседания правления, мы со сче- товодом ответили с горем пополам на некоторые из много- численных вопросов о сене.

— Сколько зрящих вопросов в этой сводке! — не вы- держал наконец счетовод. — Да и формы такой статистиче-

ское управление не утверждало — выдумка бюрократов.
— Да уж, — махнул я рукой, — хватает! И зрящих и бессмысленных...

Кто-то тихонько засмеялся скрипучим голосом, и из угла послышалось:

— Нездоровые в политической плоскости разговоры.

Это был Болтушок. Мы и не заметили, когда он вошел.

— При чем тут «нездоровые», — возразил счетовод, — когда вместо этой чепухи можно просто написать: «Столько-то сена».

Болтушок подошел к нам, ехидно улыбаясь, и, навалившись животом на стол, заговорил:

— Какая же это будет сводка?.. «Столько-то сена»... Это уже не сводка по форме, это так, черт знает что, а не сводка. Сено! Великое слово — сено! Надо понимать корень. Я был ведь председателем колхоза два месяца и по животноводству был: соображение имеем в натуральности. Слово «сено», как я понимаю, должно войти гвоздем, — он надавил пальцем на стол, — и в сводке той углубиться и расширяться. Тогда только высшему руководящему составу можно понять корень вопроса. Кузьма Стрючков сказал: «Смотри в корень!»

— Не Стрючков, а Прутков, — поправил я.

— Прутков? — спросил он, выпрямляясь и будто вспоминая, но ничуть не смутившись. — Что-то помнится вроде Стрючков... Говорит: «Смотри в корень!» И правильно говорит. Поли-итика! — Он потряс пальцем над головой. — Не нами придумано, не нам и отдумывать назад. Сводка есть сводка, и форма есть форма. Никто не позволит, чтобы над установкой высших организаций...

— Ну, пошел, поше-ел! — проговорил кто-то в сенях из темноты. — Теперь удержу не будет: вожжа под хвост попала — телега пропала!

Болтушок покосился в сторону сеней, покачал головой.

— Темнота и есть темнота! Слышь, что Федора Карповна сказала? Одно слово — темнота! — Он махнул рукой, поправил картуз и снова уселся в угол.

Заседание правления собиралось не быстро. Те, что пришли раньше, занимали себя по-разному. Счетовод развернул газету и углубился в чтение. Три молодых парня склонились над шахматной доской, решая задачу. Один из них, подпоясанный ремнем поверх телогрейки и с кнутом в руках, Петя-ездовой, настойчиво и спокойно советовал:

— Слоном надо! Только слоном.

— Куда? — спрашивал второй.

— На дэ-семь.

— Точно... А теперь... теперь...

— Ферзем: а-четыре, — говорил все тот же Петя.

— Ничего не получается! — воскликнул третий. — Черные на эф-шесть, шах королю, и по-ошла вольнка!

И снова все втроем продолжали искать решение задачи. Не утерпел и я, подсел и включился четвертым.

Вдруг за спиной раздался трескучий голос Болтушка:

— Человек с натуральным образованием, а такими пу-стяками занимается.

— Люблю, — ответил я, оборачиваясь.

Болтушок, ухмыляясь, сдвинул картуз на висок. Реденькие белесые волосы торчали пучком сбоку головы.

— Для этой игры ум требуется, — отозвался счетовод, не отрываясь от газеты.

— Это у Петьки-то ум! — вдруг воскликнул Болтушок, тыча пальцем в спину парня.

А тот, не отрывая глаз от шахматной доски, будто невзначай, тихо проговорил:

— погоди, вот на этом заседании тебе пропишут ум, — и в задумчивой нерешительности взялся за головку ферзя. Болтушок для него в этот миг уже перестал существовать.

У Пети — завитки черных волос из-под кепки, широкие черные брови, загорелое румяное лицо с чуть-чуть выдающимися скулами, тихая уверенность во взгляде и недюжинная силенка. Он окончил семилетку и учится заочно в сельскохозяйственной школе. Через три года будет специалистом. И что ему сейчас Болтушок, когда «белые начинают и выигрывают»!

Из сеней вошли сразу несколько человек, и среди них Евсеич. Все были возбуждены и улыбались, а конюх Данила Васильевич Головков — широкий, грузный, с украинскими усами и густыми бровями, нависшими над глазами, в жилетке нараспашку и с уздой в руках — басил:

— Ну и Евсеич! Уморил, ей-богу, уморил!

Вошедшие шумно расселись: кто на лавках, а кто просто на корточках, прислонясь к стене спиной.

Евсеичу пришлось вскоре уйти на свой пост: и хочется побыть на заседании, но и на охрану пора.

Данила Васильевич осмотрелся кругом и сказал:

— Кажись, все налицо. Можно за Кузьмичом посылать. Коля! — обратился он к мальчику, стоявшему у стены. — Иди кличь Петра Кузьмича.

Вскоре вошел председатель колхоза Петр Кузьмич Шу-

ров, на ходу поздоровался со всеми сразу и, не останавливаясь, прошел за стол, накрытый красной материей. Счетовод немедля присел сбоку стола с листом бумаги в руках. Болтушок уселся на переднюю скамейку.

Заседание началось. Председатель, вполголоса посоветовавшись со счетоводом, встал и объявил:

— На повестке дня два вопроса: первый — о животноводстве и второй — о колхозниках, не выработавших минимума трудодней.

По первому вопросу говорил сам Петр Кузьмич. Председателем он работает в «Новой жизни» всего лишь месяцев шесть: краткость его речей, четкость указаний, настойчивость, непримиримость к лодырям и любовь к своему делу выгодно отличают его от многочисленных предшественников. Колхозники его уважают, но бездельникам житья не стало, он безжалостно вытаскивает их напоказ всему колхозу. А посмотреть — человек с виду так себе: росту невысокого, худощав, пиджачок немудрящий, галстучек... Особого виду нет. Правда, лоб у него высокий, русые волосы, выются, но по комплекции не вышел. И ни тебе брюшка, ни синих галифе, в которые иной председатель при желании поместил бы ползакрома пшеницы, — ничего такого нету, обыкновенный человек! Глаза у него карие, открытые и добрые. А уж если сердится, не разберешь: то ли карие, то ли еще какие, прищурит их и одними зрачками простреливает насквозь, как бы говоря взглядом: «Врешь, прощупаю!» Большие нелады пошли у него с рвачами и лодырями, нет им развороту никакого. Сколько жалоб посыпалось на него в район, в область и даже в Москву! Но об этом после: мы еще не раз встретимся с Петром Кузьмичом и познакомимся с ним поближе.

В своем выступлении председатель сказал так:

— Чтобы выполнить план развития животноводства, нам надо законтрактовать у колхозников двадцать голов телят. И тогда вопрос животноводства будет разрешен. Кормов у нас достаточно. Сейчас необходимо установить цену, по которой будем контрактовать. У кого какие имеются предложения?

И все. Вопрос казался простым и ясным.

Данила Васильевич подал голос:

— Давайте платить, как и в прошлом году: центнер хлеба и сто рублей за теленка.

По всему было видно, что это предложение не встречает возражений. Но не тут-то было!

— Еще какие предложения есть? Кто желает? — спросил председатель.

Немедленно поднялся Болтушок.

— Давайте скажу я.

— Ну, поехал теперь! — сказал кто-то из заднего ряда.

Болтушок уничтожил взглядом подавшего реплику, укоризненно обернулся к председателю, будто говоря, дисциплина, мол, падает, распустил. Затем провел ладонью ото лба к затылку, отчего образовался хохолок реденьких волос, сдвинул морщины вниз, подбросил подбородок вверх и сразу стал похож на полинялого задиристого петушка с расклеванным гребешком.

— Так, товарищи! Мы сегодня собрались... — он вздохнул, сделал паузу, — на заседание правления... Да. Собрались подвести итоги животноводства прошедшего прошлого года, товарищи, и наметить их на будущий год... и вступить в них с новой силой, как и полагается, и так и далее. А что мы видим, дорогие товарищи? Ни-чего не видим. Мы даже не обсуждаем. Да.

— Короче! — отрезал председатель.

Болтушок обернулся к нему, улыбнулся снисходительно и продолжал:

— Я скажу. Больной скот есть? Есть, товарищи! Где наши витинары? За что мы им деньги платим? Где они, эти спецы, товарищи? Куда смотрит правление: корова сдохла! А? А вы молчите! — Его голос забирал все выше и выше. — От кого начинает вонять, товарищи? Ясно: от головы. Нету дисциплины ни у спецов, ни у колхозников. Куда мы идем, товарищи: корова сдохла!

— Да хватит тебе! — не вытерпел председатель. — Есть же акт ветеринарного врача. Давай о деле!

— А-а! А это не дело? Критику и самокритику глушишь! А я без критики и самокритики жить не могу, как политически развитой актив населенного пункта... — Он снова сделал паузу. — Что есть больной скот? С больным скотом мы должны бороться, чтобы его не было. Это надо понимать и присокупить к повседневным дням работы.

Данила Васильевич наклонился к Коле и вполголоса, но так, чтобы всем было слышно, сказал:

— Иди к Игнатичу в шорную и скажи: мол, довязывай хомут! Болтушок говорит. А как кончит — скажем, тогда придет. Успеет хомут доделать.

Болтушок, уже войдя в роль обличителя, выкрикивал:

— Это одно! Одно, товарищи! — И тыкал пальцем вверх. — А другое — куриный вопрос. — И палец тыкался вниз.

Председатель уныло махнул рукой. Счетовод положил карандаш и взялся за газету. Данила Васильевич выпнул шило и приступил к починке узды, зажав ремень между коленями.

— А другое — куриный вопрос! — кричал Болтушок. — Очень жгучий куриный вопрос! Курица — она тоже животная, и ее надо кормить. Кормить, товарищи! Пришел я на курятник, а она — курица старая — сидит в окошечке и на меня страшным голосом: ко-о-о! Ясно, есть хочет! А почему есть хочет? Не кормю-ют! Не кормют, товарищи! Все равно животная: что курица, что корова.

— Не все равно! — громко сказал Петя-ездовой. — Это два разных класса: класс птиц и класс млекопитающих.

— Сам ты млекопитающий! — вспыхнул Болтушок. — Еще молоко на губах не обсохло, а в разговор лезешь. Товарищ председатель! Веди заседание по форме! Что же это у нас получается? Ишь ты! Классы придумал!.. Итак, товарищи! Возьмем свиной.

Все дружно и безнадежно вздохнули.

— Возьмем свиной, товарищи! Можем ли мы так хозяйевать? Нет, дорогие товарищи, не можем. Спим, товарищи! Разбудировать нас надо. Надо перестроить корень. Свиныя, она животная... — Он покосился на Петю и продолжал: — Она животная приятная. Свиныя должна быть правильной свиной, а не тенью антихриста. Это — впервых. А Пегашка хворала две недели, насилу вылечили: худая — вот и тень антихриста.

Все знали, что Пегашка хворала, что от нее не отходили дежурные круглосуточно, но Болтушок все азартнее напирал на «свиной вопрос», «будировал», «дебатировал», «перестраивал корень». Его слова уже не доходили до сознания слушателей: в ушах отдавались лишь какие-то глухие, неясные звуки.

— Следующий вопрос: о колхозниках, не выработавших минимума трудодней! — громко объявил председатель.

Это было так неожиданно, что все встrepенулись. Новый и четкий голос сразу дошел до сознания: Пока Болтушок недоумевал, разводя руками, председатель завершил:

— Проголосуем по первому вопросу: кто за предложение Головкова Данилы Васильевича, прошу поднять руки!.. Единогласно. Запишем: сто килограммов зерна и сто рублей денег за теленка.

— Ка-ак? — взвизгнул Болтушок. — Зажим критики!

Кто позволит? Писать в райком буду! Завтра буду писать... В область напишу! Мы еще посмотрим. Я дойду. И спеццов дойду и тебя дойду! Глушить актив! Кто позволит?

— Следующий вопрос—о минимуме,— не обращал внимания председатель.— Три человека не выработали минимума без уважительных причин, первый из них — Пяткин Никифор: у него только шестьдесят трудодней. У нас в колхозе дети имеют по сотне трудодней, ученики школы. А Пяткин... Да что там говорить! Вот он — смотрите и решайте!

Что сделалось с Болтушкой! Он то смотрел на председателя, то оборачивался к сидящим, морщины на лбу играли и замирали и, наконец, поднялись вверх в полном удивлении да так и остались; он провел рукой по голове от затылка ко лбу, отчего хохолок исчез, а петушиного вида как не было.

— Житья от него не стало! — говорила Федора Карповна. В накинутой на плечи клетчатой шали, высокая, крепкая, загорелая, она подошла к столу и продолжала: — Я как член правления заявляю: житья не стало! Самый разгар полки был, а он придет и два часа речь держит. А после него у Аринки голова болит: как он приходит, она аж дрожит, бедняга. Другому человеку — наплевать. Брешет и брешет! А другому невтерпех слушать. Факт, нормы не вырабатываем, как он «агитировать» приходит. Ну, пускай, ладно, пускай бы уж говорил, а ведь и работать надо... Шесть-де-сят трудодней! Срам-то какой! Аль закону на него нету?.. Я кончила.

— Закон есть, — заговорил Петя.— Что держать его в колхозе?

Лицо Болтушка вдруг резко изменилось: он шмыгнул острым носиком, глазки забегали и заблестели; озлобленный, как хорек, он выкрикнул, подняв высоко руку:

— Я в активе хожу, а вы меня компитировать! Не-ет! Не позволю! Я по займу два года работал, а...

— Вот тебе «а»! — вдруг рыкнул басом Данила Васильевич.— По за-айму! А сам не уплатил за заем и в этом году. Бессовестные глаза! Мне семьдесят лет, а у меня четверста трудодней, а тебе сорока небось нету. Помело чертovo! Тьфу! — Данила Васильевич потрясал уздой, гремя удилами, и его бас рокотал в комнате, как в большой бочке. Он плюнул и сел.— Я свое сказал... Колька! Иди к Игнатьичу, скажи: мол, Болтушок высказался. Пущай хомут бросает, если не кончил: в «разных» о сбруе поговорим... Ишь ты, актив! — рывкнул он напоследок.

— Ну что ж, будем голосовать? — спросил у всех сразу председатель. — Возражений нет. Кто за то, чтобы предупредить Пяткина в последний раз?.. Единогласно!

Данила Васильевич, держа ширококую ладонь над головой, успокоительно произнес:

— Болячка. Прижигать надо.

Болтушок сидел неподвижно, опустив голову и свесив ладони меж коленей. Лица его не было видно. Понял ли он, что произошло, и спрятал лицо от колхозников или обдумывал новую жалобу в область — кто его знает! Но было в нем что-то жалкое.

...С собрания я шел медленно. Ночь была теплая и тихая. Большая, глазастая луна обливала серебром деревья и траву. Невдалеке заиграла гармошка и сразу замолкла. Несколько раз подряд кувыкнул сыч и затих. Вот вспыхнул огонек у Данилы Васильевича — пришел домой. Вот еще свет в открытом окне, а оттуда женский голос:

— Что с тобой, Никифор? Аль пьян?

«Да ведь это ж хата Болтушка!» — подумал я и невольно остановился в двух-трех метрах от окна.

Болтушок сидел у стола, ничего не отвечая жене.

Против колхозного амбара окликнул меня Евсеич:

— Акимыч!

— Я.

— По походке узнал... — Он подошел, перекинул через плечо ружье, набил трубку и спросил: — Ну, как там с Болтушкой решили?

— Предупредили: исключат из колхоза, если еще что...

— Ну, а он как?

— Сидит вон дома за столом сам не свой.

— Пробрало, значит. Може, дошло... Хоть бы дошло! — Он вздохнул, потянул трубку и добавил: — На недельку притихнет, ясно дело... А Петр Кузьмич опять один сидит в правлении. Вишь, огонек? Пишет...

Тишина.

За селом по обе стороны урчали два трактора. Они не нарушали привычной тишины ночи, они всегда урчат, и звука мотора никто не замечает, но если заглохнет, все услышат. Так стенные часы, остановившись, напоминают о себе... Вот она какая — тишина в деревне!..

— До свидания, Евсеич!

Гришка Хват

Вспашка зяби закончена.

Кому как, а мне эти три слова нравятся до невозможности. Значит, сделано все: убрано, обмолочено, сложена солома, все взлущено и вспахано — все, все! И совсем не хуже стало от этого в поле, оно не потеряло своей красоты, но оделось в новый наряд.

В самом деле, как хорошо в поле в ясный и тихий осенний денек! Ласковая ярко-зеленая озимь, черная, как вороново крыло, зябь, золото лесных полос, и надо всем — просторная, бесконечная голубизна неба. И немного как будто красок, но какие они сильные, чистые, свежие! А дорога, накатанная до блеска, чистая, без пыли, уже не скрыта от взора густыми колосьями и видна далеко-далеко вперед...

Выйдешь в воскресенье таким осенним деньком, помотришь вокруг, вдохнешь всей грудью воздух — и пошел на весь день! А если за плечами ружье да рядом собачка, тогда — будь уверен! — домой вернешься только к вечеру.

В субботу к концу дня мне уже не сиделось. «Пойдука, — думаю, — к Евсеичу, да ахнем завтра на охоту по зайцам!»

Во дворе меня встретила гончая собака Найда, села передо мной и подала по старому знакомству лапу. Еще из сеней услышал я залиvistый смех хозяина и заразительный хохот Пети, того самого Пети-ездового, что учится на агронома. Он Евсеичу внуком доводится.

— Что у вас тут творится? — осведомился я.

Хозяин занят набивкой охотничьих патронов. Очки у него — на кончике носа, в глазах — смех.

— Патроны заряжаем.

— А что ж тут смешного?

— Да вот вспомнили, как... порты соскочили, — смеясь, сообщил Евсеич, а Петя снова громко расхохотался, утирая рукавом рубахи слезы.

— У кого соскочили?

— У Гришки Хвата. Садись, Акимыч, расскажу!

Евсеич подождал, пока Петя успокоится, и, отложив в сторону патроны, набил трубку.

Я присел на диванчик, маленький и удобный. Напротив меня, над столом, у которого сидят дед и внук, — портрет Ленина, а по обе стороны его — фотографии двух сыновей Евсеича, погибших в Отечественную войну; одна из них — отца Пети. Над этажерочкой с аккуратно поставленными книгами — портрет Гоголя, в углу — снопик пшеницы, а на полочке, рядом со снопиком, — огромная картофелина, с человеческую голову. Все это уже давно мне знакомо, но уютная простота убранства комнаты всегда располагает в этой хате к душевному спокойствию.

— А мы, — сообщает Евсеич, — бабку и мамку проводили в город на базар на колхозной машине, а сами, значит, с Петрухой дым коромыслом разводим... Так вот! — Он снял очки, погладил горстью острую бородку и, ухмыляясь, начал: — Весной дело было. Он ведь, Гришка-то, работает в колхозе только весной, когда сеют, да осенью, когда хлеб на токах. Ясно дело, живет так, — Евсеич сделал выразительный жест — сгреб ладонью воздух, сжал кулак и сунул в карман. — Вот как он живет, этот Гришка Хват: урвать себе, а там хоть трын-трава.

— Ну, а при чем здесь порты?

— Вот и стряслось с ним. Назначили его, значит, на тракторную саялку вторым севаком — семена засыпать, диски чистить, маркер поднимать. Никогда Гришка не упустит, чтобы не халнуть, и тут, ясно дело, не утерпел — насыпал пшеницы в кулек, килограмма полтора, и привязал пояском под ватные порты, сбоку. Да... Дело к вечеру было, последний ход ехали. Подъехали к табору, а Гришка-то — прыг с саялки! Путовка — лоп! — и оторвись. Да случись тут кусок пласта торчком под ногами, он споткнулся. Брык! — голым задом к табору. А кулек сбоку мотается! Мамушки мои, срамота-то какая! Бабы накинулись гуртом: «Снимай порты! Что у тебя там привязано?» А он задрал нос, одной рукой штаны держит, а другой кулаком трясет: «Я вам покажу, как над больным человеком насмехаться. Грызь, говорит, у меня табаком обвязана». А и никакой грызи у него сроду и не было... Вот и смеются меж собой теперь колхозники: «А грызь-то у Гришки пшенишная!» Вот мы с Петей и вспомнили. Дела, право слово! — Евсеич помолчал немного и продолжал уже серьезно: — А попробуй скажи в глаза ему об этом. Куда там! За грудки и с кулаками лезет. Да еще и подхалимом обзовет. Невозможный человек! — заключил он.

— Значит, ворует?

Евсеич помолчал, подумал. Петя уложил патроны в

патронташ и посмотрел сначала на меня, а потом на девушку и сказал:

— Ворует.

— А ловить невозможно, — добавил Евсеич.

— Зачем и ловить? Выгнать из колхоза — и все.

— Выгнать-то выгнать, да толку что? — возразил Пете старик. — Ты скажи ему, Гришке-то: «Укради мешок!» Не станет. А бутылкой перетаскает больше. Он в законах и лавирует.

— Как это бутылкой? — спросил я.

— А так. Идет на сев — литровую бутылку молока берет. Выпил молоко, пшеницы насыпал. Баба принесла завтрак, пустую бутылку дает ему, а с пшеницей возьмет. В обед — то же. Вечером — то же. Четыре-пять литров зерна за день — пустяк утащить, а в них, почитай, четыре килограмма пшеницы. Поймай! Брали ее один раз, но и милицию провела: дескать, россыпь подобрала, говорит.

Петя добавил:

— А в уборку валенками ворует. Едет в поле в валенках, а домой идет — валенки под мышкой и засунуты друг в дружку. Мы, комсомольцы, раз изловить его хотели. Переняли и говорим: «Разними валенки». А он кулак к носу тычет: «А этого не видал? Вором считаете, сопляки? Завтра, говорит, напишу за оскорбление личности в суд, статья такая имеется», — и пошел дальше. Потом нырнул в лесополосу, а метров через тридцать вынырнул и остановился. Мы опять к нему: «До дому пойдем с тобой, а не отступим». — «Пошли, говорит, к правлению!» Приходим, председателя нет, один счетовод сидит. «Мы, говорим, видели, как он из зерновоза пшеницу насыпал в валенки». Тут он разнимает валенки и показывает их. Пустые! «Я, говорит, найду на вас управу! Я, говорит, по сто шестьдесят первой статье за клевету подам». И вышел. А мы сами же, своими глазами видели!

— Во! Статьи он все знает, которые ему надобны, — поддержал Евсеич. — А пшеницу вытряхнул в лесополосе, факт. Вот и улови! Рвет, подлец, с колхоза кусочками. Убытки тут не ахти какие, а народу обидно. Другой колхозник трудится, потому живет хорошо, а этот не трудится, а живет тоже хорошо. В том и вред от него, что рвет-то он ото всех. Да горлом берет, ясно дело.

— Надо, — посоветовал я, — с председателем насчет него потолковать.

— Да про него сейчас в каждой хате будут толко-

вать, а весна придет — забудут. Не до него в трудах-то.

Поговорили мы так, потом я проверил заочную контрольную работу Пети, а на прощание Евсеич сказал:

— Завтра, значит, берем подряд на очистку поля от зайцев.

В воскресенье утром, с ружьями за плечами, мы втроем шагали от села вдоль лесной полосы. Ночью был легкий морозец, — иней на озими таял и серебрился от восходящего солнца. Листья желтым ковром устлали землю меж деревьев. Оттого, что ветви были почти совсем обнажены, лесная полоса казалась реже, чем летом, а стволы — выше. Уже семнадцать лет этой полосе! Многое можно вспомнить из того, что прошло за эти годы, о многих погибших товарищах пожалеть, многому порадоваться, но эти деревья, которые памятливы мне с перволетов, я просто люблю. Люблю за ласковый шум во время лепкого ветерка; за силу, с которой они, содрогаясь, отражают налеты страшного когда-то юго-восточного суховея; за то, что они приютили новых лесных птиц; за прохладу в июльский зной; люблю и за то, что в них большой кусок и моей жизни, и жизни Евсеича, и вся целиком жизнь Пети, который шагает вразвалку рядом со мною.

— Хорошо! — улыбаясь, сказал Евсеич. Он сдвинул кепку с пуповкой на самый затылок и поднял взгляд к вершинам деревьев. — А ведь какие маленькие были, ну прямо проволоочки.

— А я и не помню, как их сажали, — сказал Петя.

Евсеич ласково положил ему руку на плечо.

— Тебе и было всего не то год, не то два. Папашка твой сажал, лесоводом был в колхозе. Понял?

— Знаю, — ответил Петя.

— И ты сажай, Петруша! Сажай больше! Долго люди помнят тех, кто сажает деревья. Кто не любит дерева, тот не любит и человека. Ясно дело.

— А комсомольскую полосу дубков мы-то и посадили.

— Еще больше сажай!

Мы пошли дальше. Петя вдруг остановился.

— Дедушка, смотри: сук надломлен! Зимой снегом отломит.

— А ты приметь дерево да потом и привяжи сучок к стволу. Он весной и срастется. Буря была недавно, вот и надломился.

— Обязательно привяжу, — сказал Петя.

И я знаю: он хозяин, обязательно привяжет.

Немного прошли молча, а у первой просеки остановились.

— Начнем,— весело сказал Евсеич и стал снимать ружье с плеча.

Найда до сих пор спокойно плелась на шворке за хозяином, а тут начала визжать, рваться, вставала передними лапами на грудь Пети, тянулась к лицу, стараясь лизнуть.

— Ну, ну! Целоваться полезла! — шутил Евсеич. Он снял ошейник, ласково похлопал ее по боку. — Не подкачай, Найда!

Черно-красным пятном Найда заюлила по зяби, нырнула в лесополосу, снова показывалась на чистом поле и, наконец, скрылась в соседней полосе. Евсеич распределил места:

— Ты, Акимыч, оставайся тут! Ты, Петя, давай к дубовой-гнездовой! А я — к яру, в приовражную. Тут, брат ты мой, заяц обязательно этим кругом ходит. Сперва вдоль полосы, потом — в просеку, потом — к дубам, а вдоль них — к яру. Это у них дорога такая. Ясно дело, заяц тоже к лесным полосам приспособился. Теперь и охота в поле иная — и лесная и полевая. Сноровка другая должна быть... А ты, Петя, главное дело, не шевелись, когда он попрет на тебя, замри! Дубки — по пояс, а если мертво будешь стоять, то он выше дубка не увидит, у него глаз глухой...

Петя трусцой, вприпрыжку побежал к дубкам. Евсеич спокойно, не спеша направился к яру, а я, осмотревшись, выбрал местечко и стал за куст так, чтобы можно было стрелять и вдоль полосы и по просеке. Мешала ветка впереди меня. В большом лесу я ее обязательно срезал бы, а здесь нельзя, пусть растет. Справа от меня, за пригорком, видны верхушки лесополосы, посаженной в год начала Великой Отечественной войны; слева, метрах в трехстах, — «Комсомольская», этой всего только семь лет; а дальше по полю видны квадраты лесных полос; они, как дети в многодетной семье, растут лесенкой; каждый год прибавлялось по одной полосе, а набралось уже до сотни гектаров.

От яркого солнца и густой зелени озимых рябило в глазах. Застрекотала сорока, увидев меня; пробежали через просеку хохлатые подорожнички; деловито простучал невдалеке дятел; тихонько захохотала синица, выпрыгнула из чащи, прилепилась к ветке в трех метрах от меня и уставилась черными бусинками в глаза. «И что это делает здесь неподвижный человек?» — казалось, спрашивала она,

потом вспорхнула и, будто прощаясь, прощепетала: «Чиви! Чиви!» Очень похоже: «Живи! Живи!» «Ну и ты живи!» — подумал я.

Вдруг: «Гав!...» Немного погодя еще: «Гав-гав!» И потом ритмично, размеренно: «Гав-ав-ав-ав!» То Найда подняла русака. Только охотник поймет, какая дрожь пробегает по телу при первом лае гончей! Мир сужается до предела: охотник, ружье и, еще невидимые, собака и заяц или лисица. А лай все ближе, все ближе. Дрожь ушла уже внутрь, но руки спокойны и уверенны. И вот, как из-под земли, вываливается сам «косой». Он идет прямо на меня «ниткой», смешно закидывая задние ноги вперед, будто на костылях. Выстрел! Заяц перевернулся через голову, высоко подбросив вверх задние лапы... Подвалила Найда, хвостом приветствуя удачный выстрел, полезла целоваться, а через некоторое время снова заюлила, повизгивая, закружилась, засопела и потянула дальше. Вскоре она скрылась из виду и снова погнала голосом, спокойно, ровно, не спеша. В лесных полосах быстроногая собака не годится: из-под нее заяц летит пулей, сбивает с круга и несетя, как сумасшедший, куда глаза глядят. Но Найду Евсеич приучил так, что она и «взрячую» гонит тихо: «сноровка другая».

Петя выстрелил дублетом. Собака замолкла, значит, попал. Потом, как из пушки, ахнул Евсеич. По одному зайцу я «расписался» впустую; он проскочил к Пете, тот тоже промахнулся, и только около Евсеича Найда замолчала.

К середине дня все вместе мы убили пять зайцев. Несколько раз перебежали с места на место, перехватывая «круг» сообразно направлению лая Найды, и наконец, порядком умаявшись, стали собираться закусить.

Евсеич прищурил глаза, почесал висок, сдвинул набок кепку и чуть-чуть шмыгнул носом. Я-то уже знаю, что все это предшествует веселому сочинению.

— Садись, Акимыч, отдыхай! Петька, вон он маячит. Подождем его, а я тебе расскажу заячью историю.

Петя действительно маячил в километре от нас, уже на той стороне яра. Мы уселись на засохший бурьян, Евсеич закурил трубку и начал:

— Зайцев было: миллион с тыщами! А один был смелый-пресмелый зайчишка. Так. Хоть и знают косые, что в магазине Союза охотников не бывает к сезону ни пороху, ни дробы, а посылают этого зайчишку в город: все-таки проверь, дескать! Поковылял, значит. Ясно дело,

зайцу по городу трудно пройти. Ну, задворками, бульварами пробрался к магазину. Стучит легонько лапкой в окно, машет продавцу: выйди, дескать, на минутку! Выходит: «Что вам, гражданин зайчик?» А тот спрашивает тихонько так: «Порох есть?» — «Нет», — отвечает. «А дробь есть?» — «Нет». — «Тогда передайте, — говорит, — товарищу Медведкину (председателю Союза охотников), что мы, зайцы, плевать на него хотели». — «Как так плевать?» — «А так: орешками, орешками!» Подпрыгнул зайчишка, оставил пару орешков да и был таков... Вот они дела-то какие случаются смехотворные!

Евсейч рассказывает без смеха, но глаза его смеются. так и сыплют искорками, так и сыплют! Счастлив человек, у которого к старости сохранятся такие глаза!

Вдали показался Петя. Он вразвалку идет к нам вдоль лесополосы, изредка останавливаясь и поглядывая хозяйским глазом на деревья.

Вдруг лицо Евсейча сразу стало серьезным, он даже приподнялся.

— Гляди, Акимыч! Петька бегом к нам побежал... Что за оказия?

Действительно, Петя торопливо бежит, придерживая одной рукой зайца. Вот он уже близко и на бегу кричит:

— Дедушка! Владимир Акимович! Там... там два дерева... срублены... большие!

Мы заспешили за Петей.

— Тут недалеко... И ветки очищены на месте... Большие, — тяжело дыша и чуть не плача, говорил Петя. Картуз сбился у него козырьком на ухо. Прядь волос упала на угол лба.

Два пенька рядом сиротливо белели в середине полосы. Потянул легкий ветерок, слегка зашуршали ветви, будто жалуясь... Мы понуро стояли над пнями. Евсейч то мял кепку в руках, то набрасывал ее на голову, то снова снимал и теребил за пуговку; в волнении руки не давали покоя и клинышку бородки; он пробовал зажечь спичкой трубку, забыв набить табаком, и снова совал ее в карман.

Потом сжал кулак и с озлоблением потряс им в воздухе.

— Сук-кин сын! Подлец! Гришка Хват, больше никому!

— Он, — мрачно подтвердил Петя.

Охотиться уже не хотелось. Найда поплелась за Евсейчем. Я смотрел ему в спину, и мне казалось, что он стор-

бился и постарел.. Мы шли молча. Некоторое время спустя Евсеич сказал, ни к кому не обращаясь:

— Дня три-четыре как срублены — зарубы обветрило: теперь уже не найдешь... Каналья!

Утром следующего дня Евсеич зашел за мной, и мы направились к председателю колхоза Петру Кузьмичу Шурову. Он сидел в своем кабинете, рассматривая какую-то бумагу, делал пометки то красным, то черным карандашом.

Мы поздоровались.

— Знаю, с чем пришли, — заговорил Шуров. — Петя успел сообщить, уже и заметку в стенгазету потащил. Садитесь, подумаем вместе! — Он положил перед нами ведомость трудодней. — Поинтересуйтесь, а потом о деревьях поговорим!

Против фамилий колхозников — цифры трудодней. Пятьсот и выше — в красном кружочке, это, понятно, передовики. Шестьдесят — в черном колечке, тоже понятно — болтуны и лодыри, но таких только три. Но вот пятьдесят два — в красном, а сто пятьдесят, — в черном: это не сразу поймешь, и я вопросительно поднял глаза на Петра Кузьмича, указывая на эти цифры.

— То-то вот и оно, что не сразу понять. А разберись — дело простое. Пятьдесят два — это лучшая колхозница, но она больна, надо помочь ей и направить в санаторий. А сто пятьдесят...

Но я уже вслух прочитал:

— Хватов Григорий Егорович — сто пятьдесят.

— Во! Гришка Хват, — подтвердил Евсеич, подняв палец вверх.

— Минимум выработал: все в порядке, все законно, — продолжал Петр Кузьмич, — работает — шатай-валяй, а живет — сыр в масле. Все понятно, но... с какой стороны его взять? Вот вопрос.

Он задумался. Взгляд его направлен на чернильницу, но, казалось, он видит перед собой Хватова и мысленно всматривается в него, прощупывает.

Евсеич покачал головой.

— Во всяком чинú. — по сукину сынú. Ясно дело.

Петр Кузьмич оживился, пристукнул ладонью о край стола и решительно встал. Видно было, что его осенила новая мысль, и он ее высказал:

— Брать его надо всего целиком... Выдернуть его и по-

казать всем, а сначала сам пусть на себя посмотрит. И до-мой к нему надо сходить, посмотреть, раскусить хоро-шенько. Говорят, мой предшественник — бывший предсе-датель колхоза Прохор Палыч Самоваров — только у Хватова и угощал начальников разных и сам там уго-щался.

— Там, там, Кузьмич, только там, — подтвердил Евсе-ич, — туда и баранинку, туда и яички, все туда, а самогон-ку-то Гришка и сам мастер гнать.

— Сходим, Владимир Акимыч? — обратился ко мне Петр Кузьмич.

— Пошли хоть сейчас!

— Вы там в сарай загляните, в сарай! — напутствовал нас Евсеич. — Да кусок хлеба возьмите! Кобель у него как тигра.

Краюшку хлеба председатель и в самом деле сунул в карман, зайдя в кладовую.

Вскоре мы подходили к усадьбе Хватова. Аккуратная, чисто выбеленная, с новыми наличниками на окнах, по-хо-зяйски крытая камышом «под гребенку» хата стояла на отшибе, небольшой ярлок отделял ее от улицы, будто она откололась от села. Двор огорожен высоким, почти но-вым плетнем, на котором сверху в одну нитку протянута колючая проволока. Ворота забраны тонкими досками с клеймами железной дороги: видно, какие-то ящики упот-реблены на это дело. И ни одного дерева, ни одного цвет-ка, не говоря уже о клумбе.

Калитка оказалась запертой изнутри, и мы постучали щекоткой. Залаяла собака, захлебываясь и надрываясь, кто-то цыкнул на нее во дворе, потом загрел засов, и калитка открылась. Перед нами стоял Хватов — Гришка Хват. Он, казалось, был в некотором недоумении и мол-чал, переводя взгляд с одного из нас на другого.

Небольшого роста, широкоплечий, кряжистый, с креп-ко расставленными короткими ногами, в клетчатой ков-бойке, из-под которой торчала нижняя рубаша; красноро-жий, рыжие волосы коротко острижены «под бокс» — по-модному; глаза большие, равнодушные; жирные губы вы-гнулись полумесяцем; кончик большого и мясистого носа приподнят кверху задиристо и вызывающе. Ему не более сорока лет.

— Милости просим! — наконец проговорил он, пропу-ская нас вперед.

От калитки к крыльцу, выходящему во двор, пройти можно, но в середину двора нельзя: огромный пес, такой

же рыжий, как и сам хозяин, оскалив пасть, бегал вдоль протянутой поперек двора проволоки, на которой ката-лось взад-вперед рыскало цепи.

— Уйми ты его, Хватов! — попросил Петр Кузьмич.

— Заходите в хату! — сказал хозяин так же равнодушно.

— В хату потом, — возразил Петр Кузьмич. — Зашли посмотреть, как живет богатый колхозник, а у тебя... «тигра». Плохо гостей принимаешь.

Гришка понял это по-своему.

— Литровочка есть, и закус найдем.

— Это тоже потом. — С этими словами Петр Кузьмич решительно подошел к собаке совсем близко, но так, что она не могла его достать с цепи, остановился и молча посмотрел на нее в упор, засунув руки в карманы пиджака. И удивительное дело — пес уже не рвался с цепи, не надрылся, он лаял как бы по обязанности. Когда же Петр Кузьмич бросил краюшку хлеба, он мирно поплелся в конуру, недоверчиво оглядываясь на хозяина и погромыхивая колечком рыскала.

Во дворе стало тихо. Хватов, заложив руки за спину, смотрел на председателя без какого-либо выражения гостеприимства и проговорил с ноткой недовольства:

— В укрощатели годитесь, товарищ председатель.

— Ну, как живешь, Хватов? — спросил Петр Кузьмич, будто не обратив внимания на его слова, и уселся на грядущки ручной тележки.

— Да как... Ничего живем, налог уплатил, с займом рассчитался, минимум выработал. Закон есть закон. Все по уставу.

— Все правильно, — подтвердил Петр Кузьмич не без иронии.

Хватов стоял сбоку, опершись ногой о тележку, грядущки которой были новыми и совсем еще сырыми, а колеса — с конных плугов.

— Новые наделки, — заметил я.

Хозяин будто не слышал моих слов, а Петр Кузьмич прищурился и в упор спросил, постукивая пальцем о тележку:

— Ясенки-то в лесной полосе срубил? Смотри — свежий ясенек, как с корня.

У Хватова не было заметно ни тени страха, ни тени волнения. Он почему-то обратился ко мне:

— А вы видали, как я рубил? Купил на базаре.

— А колеса с плужков? — спросил Петр Кузьмич.

— Видать, с плужков,— ответил Хватов с притворным вздохом.

— Когда снял?

— Купил за двадцать восемь рублей и пятьдесят копеек.

— Где?

— На базаре.

— У кого?

— У чужого дядьки,— мирно ответил Хватов и вдруг перешел в наступление: — Евсеича слушаете! Клеветой руководиться негоже, не по-советски! Сто шестьдесят первая статья на это имеется, можем написать — люди грамотные и ходы знаем, куда подать и к кому обратиться,

Петр Кузьмич пристально смотрел на него не отрываясь, сжав зубы. Краска бросилась ему в лицо, но он тряхнул головой, сдерживая себя, закурил папиросу и уже спокойно сказал совершенно неожиданно, казалось, не к месту:

— Во время войны где был?

— Служил.

— Где?

— А что? — не изменяя позы и наглого выражения лица, спросил Гришка Хват.— Следствие, что ли, хотите наводить?

— Ну вот ты уже и обиделся! — возразил Петр Кузьмич.— С тобой по-хорошему, а ты...

— Что я?

— Значит, не был на фронте? Ну тогда — где работал в тылу? Тыл — это тоже очень важно. И в тылу много героев. Что делал?

— Служил.

— Где?

Гришка не выдержал словесной перестрелки и сдался:

— В милиции.

— Кем?

— Конюхом.

— Ну так бы и говорил! Хорошая должность — конюх, и у нас в колхозе почетная. Вот теперь и понятно.

— Что понятно?

Петр Кузьмич не ответил на его вопрос, а спросил сам:

— А знаешь, что у Евсеича два сына погибли на фронте?

Гришка молчал. Петр Кузьмич барабанил по грядущке пальцем и потихоньку насвистывал, выжидая. Будто не-

нароком я прошелся по двору взад-вперед. Квохтали куры, в хлеву похрюкивали свиньи; в углу, между сараем и плетнем, — штабель толстых дубовых дров, хватает года на два; старые колеса от тарантаса, рама от старой конной сеялки, две доски с брички и деревянная ось свалены за сараем в кучу. Запасливый хозяин тащил все, что плохо лежит и за что никто не может привлечь к ответственности. На стене сарая висел большой моток толстой проволоки, две старые покрышки от автомашины и перерезанный гуж от хомута; штабель кизяков — такой огромный, что на две хаты хватит топить полную зиму.

— А навоз для кизяков тоже купил на базаре? — спросил я.

Гришка не удостоил меня ответом, а Петр Кузьмич ответил за него:

— Зимой на поле вывозил: воз — на поле, а воз — домой. Рассказывают, так было. Этак гектарчика на два удобрений и хапанул. Правда, Хватов?

Но тот не ответил.

— Вы по какому делу пришли?

— Да вот ходим с агрономом, знакомимся, как наши колхозники живут, — невозмутимо сказал председатель.

— С обыском, что ли?

— Ой, какой ты, Хватов, законник!

— Законы знаем.

И вдруг неожиданный вопрос Петра Кузьмича:

— Корма корове хватает?

— Занимать не будем.

— А продавать будем?

— Там видно будет.

— Ты же на сенокосе не был, процентов не заработал, как же это получается?

— Покупается, — тоном превосходства ответил Хватов.

Петр Кузьмич решительно встал и открыл дверь сарая. Гришка не выдержал и заскочил вперед. Лицо его стало озлобленным, но говорил он спокойно:

— Отойди, товарищ председатель! Добром говорю! За самовольный обыск тоже статья имеется...

— Да ты никак испугался, Григорий Егорович? — засмеялся Петр Кузьмич. — А мы в сарай не пойдем. Разве можно не по закону? Посмотрю, хватит ли корма. Должны же мы заботиться и о скоте колхозников? Ясно?

— Может, и ясно, — приостановился Гришка, поняв, что не выдержал своей линии.

— А ты не бойся, — продолжал Петр Кузьмич. — Если

купил, то все законно и никакой статьи не потребуется. Купил, говоришь?

— Купил.

— Почему же люцерновое сено?

— Двести рублей воз, — не моргнув глазом, ответил хозяин.

— Прошлогоднее?

— Должно быть.

— У кого?

— У чужого мужика. Базар велик.

Я вспомнил, что прошлым летом на семенниках люцерны во время цветения появлялись в середине массива выкошенные пятна, и подумал: «Вот они и пятна».

На крыльцо вышла жена хозяина и поздоровалась так, что слово «здравствуйте» прозвучало как «уходите». Одеята она по-городскому. Ни широкой, просторной, с каймой, юбки, ни яркой кофточки с пухленькими и такими симпатичными «фонариками», на рукавах, ни плотно уложенных на макушке волос — ничего этого не было. Короткая, до колен, юбка обтягивала зад, как огромный футбольный мяч; толстые, как гигантские кегли, икры — в тонких чулках; в тесной кофточке с трудом умещалась грудь; громадная брошь в виде плюшки с начинкой посередине: вот какая, дескать, культурная! А лицо! Какое лицо! Жирный подбородок, пухлые щеки с двумя круглыми пятнами румян, маленький нос с полуоткрытыми ноздрями приподнят кверху, белобрысая, а брови намалеваны черные, как осенняя ночь. И рыжий «бокс» на голове мужа, и его клетчатая ковбойка с торчащей из-под нее грязной нижней рубашкой — все это как нельзя более подходило к облику его супруги.

— Чего ж в хату не зовешь начальников?

Оттого ли, что она заметила мой пристальный взгляд, оттого ли, что Петр Кузьмич на ее «здравствуйте-уходите» ответил вежливым приветствием, или, подслушав наш разговор, она поняла, что обострять дело не следует и надо нас отвлечь от люцерны, — не знаю почему, но голос ее стал немного приветливее.

— Чего ж не зовешь? — повторила она. — Небось в хате и поговорить лучше. Заходите!

Мы обменялись с Петром Кузьмичом взглядами и вошли на крыльцо.

Я совсем не ожидал, что жена Хватова будет знакомиться с нами, так сказать, официально, но она подала прямо вытянутую ладонь, как толстую длинную вчерашнюю оладью, и произнесла мужским тенором:

— Матильда Сидоровна.

Настоящее ее человеческое имя — Матрена, но сказано ясно — «Матильда». Петр Кузьмич сначала не удержался от улыбки, а потом все-таки прыснул и зажал рот платком, как бы утирая губы. «Ошибочный жест, Кузьмич! Ой, ошибочный!» — подумал я. И правильно подумал: Матильда поняла так, что, утирая губы, председатель просит выпить. Молча, одними взглядами, которые, впрочем, не так уж трудно заметить со стороны, они с мужем согласовали этот вопрос, и Хватов распорядился:

— Собери закусь!

Матильда вышла в сени, а муж «на минутку» выскочил за ней.

— Ну? — спросил я тихонько, когда мы остались вдвоем.

— Подождем, что дальше будет, — шепнул председатель. — Не бойся! По стопам Прохора Палыча в бутылку не загляну. У меня — план.

Возвратился Гришка совсем другой, щеки его вздулись двумя просвирками: он улыбался. Но глаза так и остались мутными и равнодушными, глаза не улыбались. Матильда внесла колечко колбасы и тарелку огурцов и... тоже улыбалась. Ах, как она улыбалась! Накрашенные половинки губ узкими полосами окаймляли рот, а ненакрашенные вылупились из середины. Тяжело ступая и сотрясая телеса, она засуетилась:

— Заведи пока патефон, Григорий Егорович. Выбери какую покультурней!

Хозяин завозился с патефоном, меняя иголку, а мы осмотрели комнату. Тут и громадный плакат-реклама с гигантским куском мыла «Тэжэ» и надписью: «Это мыло высоко ценится, это мыло прекрасно пенится»; и еще противопожарный плакат «Не позволяйте детям играть с огнем»; большие портреты обоих супругов, увеличенные с пятиминуток и разретушированные проходящим фотографом до полной неузнаваемости; ленты из цветной бумаги на стенах, на окнах — и широкие и узкие — ленты, ленты, как на карусели.

Захрипел патефон, будто на плите убежало молоко, а затем мы услышали пластинку двадцатилетней давности — романс в исполнении Леонида Утесова:

Лу-уч луны-ы упал на ваш портре-е-ет,
Ми-лый друг-уг давно забытых ле-е-ет,
И во-о мгле... где, где, где, где, где, где, где...

Игла запала в одной строке пластинки, и патефон хрипел: гле, гле, гле, гле, гле... Это была самая высокая нота в романсе, казалось, что исполнителю очень трудно повторять ее.

Матильда стукнула по мембране деревянной ложкой, и игла проскочила дальше. Оттого, что пластинка была очень старой, голос Утесова стал совсем хриплым, натужным, как при ангине. Гришка Хват упер руку в бок, закинул, стоя, ногу за ногу и серьезно, как в церкви, смотрел в потолок, как бы вслушиваясь в звуки патефона.

Патефон отхрипел. На столе — колбаса, огурцы и крупные ломти пшеничного хлеба, такие крупные, что надо открыть рот во всю ширину, чтобы ухитриться откусить. Хозяин нагнулся, достал из-под кровати литровую посудину, заткнутую кукурузным початком, поставил на стол и сел сам с нами, пододвинув к себе стакан. По всем неписанным правилам таких хватов процедура выпивки с началом совершается медленно, не спеша.

Петр Кузьмич взял бутылку и, понюхав горлышко, сказал:

— Самогон. Купил?

— Ну, да эти дела, как бы сказать, не покупаются, — ответил хозяин почти радушно.

— Своего, значит, изделия?

Гришка кивнул головой в знак согласия.

— Крепкий? — спросил председатель.

— Хорошо! — улыбнулся деревянной улыбкой Хватов.

— С выпивкой — потом. Сейчас давай, Григорий Егорович, договорим о деле и... поставим точку. — Петр Кузьмич поставил точку ручкой вилки на столе.

— Да мы ж еще ни о каком деле не говорили, — возразил хозяин.

— И стоит вам о пустяках разговаривать! — вмешалась Матильда. — Мы вечные труженики, а на него всякую мараль наводят. Пустяк какой-нибудь — в бутылку рассыпанной пшеницы подберешь на дороге, а шуму на весь район. Да что это такое за мараль на нас такая! И всем колхозом, всем колхозом донимают! При старом председателе, при Прохор Пальче, еще туда-сюда, а вас обвели всякие подхалимы, наклеветали на нас, и получается один гольный прынцип друг на дружку. — Она вошла в азарт и зачастила совсем без передыхи: — Мы только одни тут и культурные, а то все темнота. Машка, кладовщица, со старым председателем путалась, Федорка за второго мужа вышла, Аниська сама сумасшедшая и дочь сумасшед-

шая, Акулька Культяпкина молоко с фермы таскает, а на нас — мараль да прынцып, мараль да прынцып...

И пошла, и пошла!

— Я ему сколько раз говорила, — указала она на мужа, — сколько раз говорила: законы знаешь? Чего ты пугаешь статьями зря, без толку? Напиши в суд! В милиции у тебя знакомые есть: чего терпишь? Чего ты терпишь?

Наконец Петр Кузьмич не выдержал и перебил ее:

— Послушайте, хозяйка! Дайте нам о деле поговорить!

Она в недоумении посмотрела на него и обидчиво продолжала, поправив плюшку-брошь и не сбавляя прыти:

— Вот вы все такие, все так: «Женщине — свободу, женщине — свободу», а как женщина в дело, так вы слова не даете сказать. Извиняюсь! Женщина может сказать, что захочет и где захочет. Что? Только одной Федорке и говорить везде можно? Скажи, пожалуйста! — развела она руками. — Член правления, актив!

— Нельзя же только одной вам и говорить, — не стерпел я. — Вот вы высказались, а теперь наша очередь: так и будем по порядку — по-культурному.

Последнее слово, кажется, ее убедило. Скрестив руки, она прислонилась к припечку и замолчала.

— Итак, о деле, Григорий Егорович, — заторопился Петр Кузьмич, — о деле...

— О каком таком деле? — недоверчиво спросил Гришка.

И тут председатель словно из ушата холодной водой окатил:

— Вот о каком: первое — люцерну привези в колхозный двор!

Гришка встал.

— Ай! — взвизгнула Матильда.

— Цыц! — обернулся к ней муж и задал вопрос Петру Кузьмичу: — Еще что?

— Колеса с плужков и грядущки с тележки принеси в мастерскую, — спокойно продолжал тот.

— Еще что? — с озлоблением прохрипел Хватов.

Петр Кузьмич взял обеими руками литровку:

— А вот это возьмем с собой. Придется ответить!

Прошло несколько минут в молчании. Гришка вышел из-за стола, давая понять, что выпивки не будет. Лицо его приняло прежнее, внешне спокойное выражение, — он удивительно умел влезать в личину, как улитка, — и только чуть-чуть вздрагивала бровь.

— Ну так как же? — спросил с усмешкой Петр Кузьмич.

— Ничего такого не будет: не повезу. А бутылку возьмете — грабеж... Вас угощают, а вы... Эх, вы! — Он махнул рукой и прислонился спиной к рекламе «Тэжэ». — Люцерну — не докажете, тележку — не докажете, не пойманный — не вор. Купил — и все! Докажите!

— Хорошо, — вмешался я. — Люцерну докажем очень просто. Только в одном нашем колхозе желтая люцерна, «Степная», а в районах вокруг нас нет ни одного гектара этого нового сорта. Как агроном могу составить акт.

Гришка вздрогнул. Да, вздрогнул, а не ошибся! Будто невидимой стрелой пронзило его лицо, оно передернулось, и тень страха пробежала во взгляде.

— Понятно? — спросил Петр Кузьмич и, не дожидаясь ответа, добавил: — А колесико с плуга, одно колесико, номерок имеет, а номерок тот сходится с корпусом. Видишь, оно какое дело, Григорий Егорович!

Я понимал, что никаких номерков на колесах плуга нет, а Петр Кузьмич знал, что такой же сорт люцерны есть и в райсхозе, и в совхозе, и в ряде других колхозов, но, разгадав план председателя, я помогал ему — он прощупывал Гришку, исследовал по косточкам, изучал. Тот стоял у стены, опустив голову, не пытаясь возражать, и смотрел на носки своих сапог, будто они очень и очень для него интересны. Матильда в удивлении и испуге прислонилась задом к рогачам.

А Петр Кузьмич уже добавил:

— Да ты пойми, Хватов! За самогонку — не меньше года, хоть и без цели сбыта, за люцерну — тоже... А? Жалко мне тебя, Григорий Егорович! Ей-право, жалко, а то не пришел бы.

В последних словах я уловил нотки искренности и теплоты и никак не мог поверить, что слова эти обращены к Хватову — к Гришке Хвату. До сих пор Петр Кузьмич изучал, какое действие оказывает прямота руководителя, знание законов, каков Хватов в страхе и как докопаться до страха, а последними словами он докапывался уже до самого человека — до Григория Егоровича Хватова. А тот поднял глаза на председателя — уголок губ дергался, глаза часто моргали, брови поднялись, чувство растерянности овладело им, и он уже не мог этого скрыть, он стоял перед нами уже без скорлупы, с голой, обнаженной душой.

Петр Кузьмич методично оттирал все остатки его личины.

— Привык ты, Григорий Егорович, не тем заниматься, чем следует, а остановить было некому... Оторвался от народа, ушел в сторону и стал единоличником внутри колхоза... Может быть, хочешь остаться единоличником по-настоящему? Так мы можем это сделать, и есть к тому все основания. Как, а?

И Хватов хрипло проговорил, уже беспомощно и жалобно:

— Исключить, значит... Ну... убивайте! — и, неуверенно сделав несколько шагов, сел на лавку.

Это оказалось самым страшным для него словом, и он сам произнес, рубанул самого себя наотмашь, обмяк, согнулся и уже больше ни разу не взглянул на нас прямо. Ни разу!

— Позора боишься? — спросил Петр Кузьмич. — Не надо до этого допускать.

— Вы... меня теперь все равно... — Хватов не договорил и махнул безнадежно рукой.

Петр Кузьмич подошел к нему, сел рядом, закурил и, пуская дымок вверх, примирительно сказал:

— Ну хватит нам ругаться... Пиши заявление!

— Куда? — спросил Хватов не глядя.

— В правление, куда же больше.

— Тюрьму, что ли, себе написать? — угрюмо бросил Хватов, не оставляя своего метода — отбиваться вопросами.

— Зачем в тюрьму? Колхозную честь соблюсти. Напиши, что просишь принять излишки сена... Ну и... — Председатель немного подумал. — Ну и напиши, что хочешь в кузницу молотобойцем. По ремонту инвентаря будешь работать: руки у тебя золотые, силенка есть... А плужки пусть на твоей совести останутся.

— Через все село везти сено! У всех на глазах! — неожиданно закричал Хватов. — Не повезу!

— Тогда... обижайся сам на себя. Я сказал все. — И Петр Кузьмич встал, будто собираясь уходить. — Значит, не напишешь? — Он заткнул литровку тем же кукурузным початком и поставил ее на окно.

В хате наступила тишина. Лениво жужжала на стекле запоздалая осенняя муха. Тикали ходики. Шумно вздохнула Матильда и приложила к глазам фартук. Кукарекнул во дворе петух... Колбаса, огурцы и хлеб лежали нетронутыми.

Хватов произнес неуверенно:

— Подумаю.

— Ну подумай! Хорошенько подумай, Григорий Егорович! Мы к тебе с добром приходили... Хорошенько подумай! — повторил Петр Кузьмич и обратился к хозяйке с нарочито подчеркнутой вежливостью: — До свидания, Матильда Сидоровна!

Попрощался и я. Мы вышли. Рыжий пес попробовал залаять, но сразу раздумал, вильнул хвостом в сторону, опустил его снова и поплелся в конуру.

...Через несколько дней председатель зачитал на заседании правления в «разных» заявление:

*Председателю колхоза тов. Шурову П. К.
от рядового колхозника Хватова Г. Е.*

З а я в л е н и е

Как я имею излишний корм и как в колхозе от засухи кормов внавяз имеется, то прошу принять с одной стороны от меня лишок сена. Точка, желаю жить в общем и целом а также прошу назначить меня молотобойцем в кузницу как я имею понятие по ремонту и тому подобно.

Прошу тов. председатель попросить правление в просьбе моей не отказать а работать буду по всей форме и так далее.

К сему роспись поставил: Хватов».

Все присутствующие знали, что это за сено и как оно попало в колхоз, и все глядели на Хватова с презрением, смешанным с сожалением. Он же что-то рассматривал то на потолке, то на кончике сапога и избегал смотреть прямо на сидящих.

Никаких возражений заявление не встретило: Петр Кузьмич заранее договорился с членами правления, Никишки Болтушка здесь не было, и просьбу «удовлетворили» без прений. Только Евсеич напоследок сказал:

— Ясно дело, Гришка! Должон понять, ультиматум тебе поставили. Только думаю — хитришь ты. А?

Хватов ничего не ответил и не возразил. Он переминался с ноги на ногу и мял в руках фуражку.

...Как-то там теперь Матильда Сидоровна?

Игнат с балалайкой

В один из предуборочных дней я работал на апробации посевов пшеницы: набирал снопы для определения сортовой чистоты, учета болезней и вредителей; сделаешь шагов тридцать—сорок, путаясь в густых хлебах, заберешь в горсть пучок стеблей, выдернешь их с корнем — и дальше, а через такой же промежуток — еще пучок. И так до тех пор, пока не составишь средний образец с участка, апробационный сноп, в котором после, уже в агрокабинете, анализируется каждый колосок.

Время перевалило за полдень. Пальцы начинали неметь, стебли в них скользили — не сразу выдернешь: чувствовалась усталость, хотелось отдохнуть, закусить, попить родниковой водички. Игнат понес очередной сноп к подводе, а я остановился, вытер лицо уже влажным платком и осмотрелся вокруг.

Тишина такая, что даже ости колосьев не шевелятся, но вдали хлеба, казалось, волнами уходят в небо, сливаясь с синевой, тают, исчезая в дрожащем мареве, и никак не поймешь, где кончается пшеница и где начинается небо. Так обманчива июльская марь в тихий день, что глаз перестает отличать дальние предметы от ближних; они плывут, дрожат, меняют очертания и будто стоят в воде: марь отрывает их от земли. Вдали на разных участках несколько комбайнов, уже готовых к уборке, расставлены по своим местам; они тоже дрожат, то опускаясь, то поднимаясь вверх выше пшеницы, и кажутся воздушными кораблями: вот-вот тронутся и поплывут над полем! По шляху проскочило несколько автомашин с горючим для уборки, за ними вытянулся огромный хвост пыли. Он долго стоит, подрагивая в общем потоке маревых волн. И вдруг... Гудит, рокочет где-то самолет. Звук то слышится прямо над пшеницей, то совсем пропадает — и вдруг снова близко, отчетливо. Да где же он? Как ни вглядывайся в небо, приложив ладонь к козырьку, не найдешь! Самолет совсем недалеко, километрах в трех, на бреющем полете обрабатывает с воздуха посевы люцерны от вредителей, а кажется, что наполнены шумом и небо и земля и что звучит марево.

Солнце печет. Невидимый жаворонок звенит то в двух-трех метрах от уха, то невообразимо далеко, у самого солнца: будто подвешен колокольчик на громадной нитке и медленно раскачивается с серебряным перезвоном.

В тихий, жаркий предуборочный день в поле есть своя особенная прелесть. Агроному не хочется уходить отсюда: он прощается с колосьями до будущего года, ему становится даже немножко грустно, но грусть эта перемешивается с радостью и надеждами; грусть эта — глубоко человеческая, такая же, наверно, как у инженера, который строил корабль и провожает его взглядом в море, провожает кусочек своей жизни и своего труда.

Честное слово, я так и сказал вслух: «Прощайте, прощайте! До будущего года!» — и пошел к подводе, на отдых, туда, где скрылся Игнат. Шел и думал: и поле уже не то, что было когда-то, лет двадцать назад, когда я был молодым человеком, и люди стали не те, какими были, даже «лодырь теперь не тот пошел», как говаривал уже знакомый нам Евсеич. С такими мыслями я и подошел к Игнату.

Игнат Прокофьевич Ушкин, которого на селе все зовут просто Игнатом, прикреплен ко мне на несколько дней для апробации. Он следует за мной по полям неотлучно, принимает от меня снопы, аккуратно доставляет на руках до подводы, укладывает их так, чтобы не помять и не обмолотить. Сноп он всегда берет осторожно, поднимает над головой обеими руками и несет как какой-нибудь сосуд с жидкостью, будто боясь расплескать. На Игната пожаловаться никак нельзя: работает он аккуратно. Но очень уж медленно все делает!

— Ох, и печет же сегодня!

— Печет, — равнодушно, в полудремоте, согласился Игнат.

Он лежал на траве вверх животом, подложив обе ладони под затылок и накрыв лицо фуражкой от солнца. Лошадь в упряжи, хотя и с отпущенным чересседельником, паслась по краю лощины.

— Отпрягай! Обедать будем. Отдохнем.

— А чего ее отпрягать? — сонно отозвался он, не пошевелившись.

Жара разморила его, он, видимо, тоже устал путаться ногами в густой пшенице, клонило в сон.

— Лошади неудобно так пастись.

— Трава хорошая: и так закусит, — возразил Игнат,

не меня положения и все таким же сонным, с хрипотцой, голосом.

— Ну и лентяй же ты! — говорю.

Он поднялся. Посидел немного, почесал живот, посмотрел на лошадь, на меня, глянул вверх мимо солнца и произнес:

— Печет. — Немного подумал и добавил: — Июль... Почему «лентяй»? — спросил он и тут же ответил: — Никакой не лентяй. Сейчас отпрягу.

Видно, он не обиделся на меня, пошел, насвистывая, не спеша. Он подвел лошадь, распряг ее и стреножил. Мы спустились вниз, в лошину, к роднику, напильсь, обмыли лица.

Игнат присел против меня.

— До того нажарило голову, аж в сон бросило. Говорю, а сам сплю. Кажись, сутки так и пролежал бы.

Полуденную дремоту с него согнало, а лицо, омытое ключевой водой, повеселело. Взгляд у него открытый, без прищура, серые глаза окаймлены светлыми густыми ресницами, ему около тридцати лет, но с виду он моложе: круглолицый, с розовыми щеками. Движения у Игната медлительны, но уверенны, всегда спокойны; говорит он тоже медленно, но выразительно, меняя интонацию и жестикую руками и даже головой.

— Вот говорят про меня: «Игнатка — лентяй», «Игнат — бездельник», «Игнат дисциплины не понимает». — Он медленно развел руки, будто удивившись, поднял маленькие бровки и вдруг ударил ладонями по коленям. — И вы тоже на меня — «лентяй»? А почему говорят? Это дело глу-убо-оное! — погрозил он кому-то пальцем. — Ты мне дай работу по вкусу! Дай, а тогда говори!

— Кому это ты речь держишь?

— Известно кому — бригадиру, Алешке Пшеничкину. — Голос у Игната очистился от сонной хрипоты и стал довольно чистым тенорком; продолжал он уже энергичнее: — «Ты, — говорит, — меня замучил! Ты, — говорит, — летун, а не колхозник! Я, — говорит, — на тебя докладную подам!» (Игнат написал в воздухе «докладную»). Это я-то его замучил? Нашел дурака. Игнат да Игнат! Да что я им дался?

— Ты это напрасно: Пшеничкин — бригадир очень хороший.

— А я и не сказал, что он плохой. Нет, пушай он даст мне постоянную, чтобы я при деле был. У меня тоже нервов нету, я тоже был на войне, а теперь и работу себе не

выбери по вкусу. Я, брат, им покажу. Игнат, думаешь, так себе? Не-ет! Я по облигации пять тысяч выиграл: возьми вот и уеду в санаторию. Почему другим можно, а Игнату нельзя? — спрашивал он не то самого себя, не то обращаясь все к тому же Пшеничкину. — Можно и мне. Можно или не можно? — Игнат посмотрел на меня.

— Можно, конечно, но только в работе скакать с места на место — это плохо. Дисциплину понимать надо, — повторил я его же слова.

Игнат молча посмотрел на меня еще раз, вытер рукавом губы после еды и махнул рукой, будто хотел сказать: «А ну вас всех к лешему!» Встал и пошел к лошади — отогнать ее от посева.

Все остальное время дня он о чем-то думал, изредка грозил молча кому-то пальцем. Иногда дремал и клевал носом в передок брички.

А вечером на наряде он заявил бригадире решительно: — На апробацию завтра не поеду: пропекло голову, и... работа тяжелая — от солнца до солнца.

Белокурый и голубоглазый бригадир Пшеничкин — тот, что ездит всегда верхом на белом меринке, — воскликнул:

— Ну что с тобой делать? Что ни день, то фокус, что ни день, то опять! Ты ж все работы в колхозе перебрал, и все не по тебе. На ферме был, на волах ездил, прицепщиком был, около цыплят был, в кирпичных сараях был, на свекле был, и все тебе — не та работа.

— На апробацию не поеду, — еще раз сказал Игнат, будто вся речь Пшеничкина его не касалась, и он сообщал это бригадире как окончательно решенное и не подлежащее обсуждению.

— Тогда никакой работы не дам! — вспылил Пшеничкин и сжал в кулаке свою фуражку. — Иди до дому! Предупреждение у тебя есть, выговор есть, штраф на три трудодня тоже есть: что тебе еще надо? Что по уставу осталось? Подать докладную, чтобы исключили? Так, что ли?

— Поддай, — равнодушно ответил Игнат. — Поддай! А я им там скажу.

— Скажешь — «воевал»? Знаю... Я тоже скажу, что в роте Игнату Ушкину попадало за нарушение дисциплины.

— Что там со мной было в роте — не твое дело, Алеша, а орден-то за что-нибудь дали Игнату: их зазря не дают.

— Но зато мое дело — где тебе сейчас быть. Понял?

Ну, Игнат, — убеждал Пшеничкин, протягивая ему обе руки, — ты подумай только, что ты за человек!

— Не! Не поеду. Давай другую работу!

— Нет тебе никакой работы. Иди! — горячился бригадир. — Доложу председателю.

— Ну доложи, доложи, а я пойду в район жаловаться, — все так же невозмутимо говорил Игнат.

— Иди!

— И пойду.

— Ну и иди!

— А что ж, не пойду, думаешь? — не меняя тона, спрашивал Игнат.

Жаловаться он, конечно, никуда не пошел, да и сроду ни на кого не жаловался.

На следующий день, еще не ведая о вечернем разговоре с бригадиром, я зашел спозаранку к Игнату, чтобы поторопить с отъездом в поле. Хата его, в отличие от соседних, была неприглядна: глина кусками отвалилась от стен, крыша оползла и осела верблюжьим горбом; навоз навален около хлева так, что можно, как по горке, взойти на самый хлев; лопата с поломанной ручкой валялась у стены.

Солнце еще не взошло, но в хате уже слышалась легкая перебранка. Говорила жена Игната:

— Что ж ты ни за что дома не берешься? Крыша течет, хлев худой, полы надо перемостить, печь переложить, а ты...

— А я гармонию новую куплю, буду учиться играть, — отговаривался Игнат незлобиво, и нельзя было понять — шутит он или нет. — Кордион куплю.

Я вошел, поздоровался.

У Игната ворот рубахи расстегнут, босые ноги висят с кровати и чешут одна другую; волосы похожи на мятый, перепутанный лен: видно, что проснулся недавно. Жена, Домна Васильевна, стоит у печки, уже готовая идти на работу; в хате подметено, стол вымыт. Ростом она выше мужа, полногрудая, чернобровая. Мальчик лет трех сидит на скамейке и играет, гремя коробкой с пуговицами.

— О чем спор?

Игнат ответил не сразу.

— Обвиняет меня супружница в неправильном подходе к личному хозяйству. А я ей говорю, что личное хозяйство теперь — тьфу! При коммунизме не надо будет ни хаты, ни коровы: надо молока — на, бери! — Он сложил пальцы так, будто держал литровую банку и уже кому-то

ее подавал. — Надо тебе квартиру — на, бери! Надо, скажем, тебе гитару тальянскую о двенадцати струнах — на гитару, бери, только играй, пожалуйста.

— Да тебя до тех пор потолком завалит! — Домна Васильевна подняла беспokoйные глаза вверх и указала на пятна. — Хочет с раскрытой крышей до коммунизма дожить. Кто тебя туда пустит с такой хатой? Горе ты мое!

— Пуговку вынь! — спокойно сказал Игнат.

— Что?

— Пуговку Ленька заглотнул: вынь!

— Да что ж ты сам не мог вынуть? — Домна Васильевна кинулась к ребенку.

— Твое дело за ребенком смотреть.

— А если проглотил бы? — спросила она с сердцем и, нажав на щеки мальчика, вынула пуговицу пальцем.

— Ничего ему не подается. Телок на ферме целый пояс заглотнул, ничего не сотворилось — жив и по сей день! — сказал Игнат, не меняя позы, но было в его тоне что-то тонкое, насмешливое, чего, может быть, не понимала и жена.

— Ну, хватит балясы точить! — почти мирно заговорила Домна Васильевна. — Давай на работу, а я Леньку в ясли занесу.

Игнат посмотрел на меня и сказал, будто отвечая жене:

— Не думал сегодня на работу.

— Да ты что? С ума сошел? — крикнула она. — У меня, у женщины, триста трудодней, а у тебя сто сорок! Ты что, хочешь меня осрамить? Куда ни пойдешь, все — «летун» да «шатай-валяй»... А ну-ка, одевайся! — Она решительно подошла и без труда сдернула его с кровати. — А ну, иди запрягай!

— От чертова баба! — сказал Игнат и, видимо ничуть не обидевшись, стал обуваться, затем умылся, и вскоре мы вышли с ним вместе.

Три дня промучился со мной Игнат на апробации, но — что интересно! — исполнял все точно и аккуратно. А бригадир и председатель продолжали обсуждать, что делать с Игнатом.

На любой работе он дольше недели не выдерживал и просил другую: на вывозке навоза у него «рука развилась», на сенокосе — «нога отнялась», на тракторном прицепе — «дых сперло от пыли», даже на апробации — «голову напекло» и «нервы не держат». «Нервы, — говорит, —

нужны крепкие. А ну-ка сноп обмолотится или развяжется — вот и беспокойство целый день. Мне нужна работа покойная».

Собственно говоря, он ежедневно на работе и вполне понимает, что — по уставу — его исключить не могут, но зарботки его слабые, половинные: полтрудодня ежедневно вкруговую не выходит. «И кому какое дело,— говорит он,— сколько я зарабатываю! А может, мне и этого за глаза хватает».

Вывести Игната из терпения совершенно невозможно, его, как говорится, «ни гром, ни райком» не растревожат. Он иногда поет под балалайку песни грустные или веселые, смотря по настроению. О музыке поговорить любит и иногда скажет:

— Гармонь у меня «трехтонка» и «грамматика» с замным басом.

— Что она у тебя — автомашина или книжка? — удивился я как-то.

— В музыке тоже понятие надо иметь, — объясняет Игнат, — «трехтонка» — это в три тона играет, а «грамматика» — это такой лад, грамматический называется.

— Хроматический.

— Вряд ли! — сомневается он. — Все настоящие гармонисты так говорят.

Переубедить его нет никакой возможности: он не спорит, но и не соглашается, оставаясь при своем мнении. Еще в школе, малышом, он сказал учительнице: «Без тебя знаю». А все оттого, что рос единственным сынком, всегда только и слышал, что «умница», да «молодец», да «не тронь топор», «не хватай молоток», «поставь ведро! Сами воды принесем», и ничего ему не приходилось делать: «Сами сделаем. Играй, Игнатка!» Так и привык. Люди стали комбайнерами, бригадирами, трактористами, агрономами, а Игнат — с балалайкой. Так и пошла по колхозу по словица: «Работает, как Игнат с балалайкой».

Ну, это все дело прошлое: год от году Игнат все-таки работает лучше, все-таки мичимум стал вырабатывать, хоть и с натяжкой. Однако уважения колхозников все равно нет. Да и какое может быть уважение к человеку, который дальше минимума не идет! А между прочим, Игнат обладает довольно трезвым рассудком и шутку отколоть любит такую; что запомнится всем надолго; шутит он чаще всего загадками, так, что спервоначалу и не поймешь, и при этом не ждите от него улыбки: лицо не изменится ничуть, останется таким же спокойным, как и всегда, а

улыбнется он только после, иногда даже через несколько дней.

Вот, например, какой получился у него случай с плотником Ефимычем, с которым у Игната были всегда хорошие отношения.

Убило громом свинью у Ефимыча. Конечно, в доме — горе. Собрались и соседи и дальние односельчане, набились во дворе, ахают, сожалеют, сочувствуют:

— Эх, какая свинья-то хорошая была!

— Ай-яй-яй! Еще бы две недельки — и колоть можно!

— Убытки-то, убытки-то какие, Ефимыч!

Сам Ефимыч в горестном виде в сотый раз пересказывает, как он стоял около свиньи, как «оно ахнуло, треснуло, разорвалось» около него, как он сперва оглох и что-то «долго пищало в ушах, а потом отлегло». А Игнат слушал, слушал да и говорит:

— Плясать надо, а не плакать.

— Что ты — с ума сошел? — рассердился Ефимыч.

Старуха Ефимыча плачет.

— Бессовестный! У тебя соображение есть или нету? У нас горе, а ты «плясать».

— Иди со двора! — зыкнул могучим басом Ефимыч. — Сам в четверть силы работаешь, да хочешь, чтобы и у других живности не было.

Игнат ушел.

Так расстроенный Ефимыч и не сообразил, что ведь могло ж убить его, а не свинью, что стоял-то он рядом с нею! С тех пор старик остался в обиде на Игната и никогда с ним не разговаривал.

Друзей у Игната совсем не стало, к тому же жена пилит и пилит ежедневно. И решил он уходить в город, но неожиданно, будто бригадир Пшеничкин следил за его мыслями, вызвали Игната в правление. С первого зова он, конечно, не пошел, а сказал посыльному:

— Сперва пусть скажут, по какому делу.

Посыльный вернулся и сообщил:

— На постоянную назначают.

— Пушай скажут, на какую, а я тогда подумаю: идти или нет.

Но все-таки со второго зова Игнат в правление пошел — уступил. Как уж они там решали, не знаю, но только Игнат встретился мне сияющий.

— Назначили, — говорит, — на пожарку! А что ж! Лошадь, бочка воды, насос: больше ничего! Семьдесят пять соток ежедневно: чего Игнату больше надо? Ничего Игна-

ту больше не надо! Дал слово: до конца уборочной дежурить.

Пожарный сарай стоял в десяти — пятнадцати метрах от агрокабинета. С Игнатом мы теперь виделись часто.

Однажды в открытое окно я увидел Игната. Он сидел на пожарной бочке в холодке с балалайкой в руках и изредка отмахивался от мух. Все дни он был веселым, а сейчас что-то загрустил, тихонько потренькивая струнами. Потом, склонив голову набок, Игнат запел:

*Ах, где вы сокрылись,
Ах, карие глаз...*

— Нет, не так, — оборвал он на полуслове и запел снова, встряхивая головой при ударе пальцев по струнам:

Ах, где вы сокрылись...

— Нет, не так! — снова воскликнул он. Ловко почесав спину углом балалайки, схватил горстью муху на коленке, взял ее двумя пальцами, рассмотрел, бросил в бочку и некоторое время наблюдал: вероятно, муха кружилась на воде, и он любовался рябью. Потом, встрепенувшись, опять запел.

Он повторил куплет раз десять и неожиданно умолк. Поставил балалайку между коленями, оперся подбородком о гриф и задумался.

Ко мне в кабинет вошел Пшеничкин.

— Завтра можно начинать, — сказал он, присаживаясь на стул.

Мы договорились выехать вместе на третий участок к комбайну завтра к десяти часам утра: рано там делать нечего, так как хлеб только-только «подошел» и поутру будет сыроват для уборки.

Пшеничкин собрался уже уходить, но я указал ему на окно. Игнат сидел задумавшись, в том же положении, только ноги чуть разъехались на бочке.

— Во! Сидит... И хлопот же с ним! — сказал бригадир сердито.

— Уйдет?

— А кто его знает! Ведь и малый он не плохой, а по-ди ж ты, никакого подходу не придумашь. Мне от председателя, Петра Кузьмича, уже чуть-чуть попало.

— А тебе за что?

— «Ваша, говорит, ошибка как бригадира: ответст-

венности ему не предъявляли в работе, потачку давали. Этого, говорит, штрафом не возьмешь: ответственно-стью ему в лоб!» Пожалуй, моя ошибка есть, — согласился Пшеничкин.

— Ну, и как же решили?

— Сдали ему пожарный инвентарь, лошадь, сбрую по акту и в полной исправности — на шесть тысяч рублей: уйди, попробуй! Мало того, вдруг пожар: не выедет — судить могут. Все это ему втолковали вчера, а в первый день только акт сдачи подписали.

Так вот о чем задумался Игнат, вот откуда тоскливые «карие глазки»! Уходя, Алеша сказал:

— Кузьмич вцепился — не оторвешь: придется Игнату перестроиться.

...А председатель уже звонил в город начальнику пожарной команды и просил прислать специалиста: проинструктировать вновь выделенного пожарника Игната Прокофьевича Ушкина.

Вскоре приехал инструктор и два дня провел с Игнатом. Сначала учил, как обращаться с насосом, как складывать в ящик шланг; потом позвали шорника и переоборудовали сбрую так, чтобы лошадь можно было запрячь в течение двух минут. По сигналу инструктора Игнат подскакивал к лошади, заводил в оглобли и запрягал, но приезжему все казалось, что медленно, и он повторял тренировку до тех пор, пока не нашел работу Игната удовлетворительной. Игнат тоже был доволен: так быстро запрячь ни один человек в колхозе не может! Сам Пшеничкин не может! А Игнат Ушкин может, Игнат знает точные движения!

Затем инструктор ходил с Игнатом в конюшни, на фермы, ездил по полям и говорил:

— Учти! Огнетушителей всего восемнадцать штук — следи за исправностью, прочищай отверстия! Так. У комбайнов имеется шесть огнетушителей: проверяй налетом, как коршун! Комбайнеры недооценивают значение огнетушителя. Так. Токи и скирды опахать: мертвую полосу сделать кругом них, чтоб огонь не подобрался. Так. Зернохранилище обсадить деревьями: защита со временем будет. Все это на твоих руках. Твоя первая заповедь: «Ни одного пожара за лето!»; от тебя зависит — будет хлеб цел или нет. Когда хата или скирда сгорит, то золу и дурак затушит, а наше главное дело — не допустить пожара. Насчет добровольной дружины думай: поставь на правлении вопрос ребром!

Все рассказал пожарник и уехал.

В первый день после отъезда инструктора Игнат пел полным голосом:

*Эх! Как у наших у ворот
Да комар песенку ведет...*

— Э-эх! Э-эх! — Он притопывал ногой, давал дробь пальцами по балалайке, передергивал плечами. Видно было по всему, что дела пошли веселые.

В тот же день вечером пришел он в правление. Заседания при Петре Кузьмиче кончались рано, ночных мучений, как при Прохоре Пальче, уже не было, и Игнат попал к «разным».

— У меня есть вопрос ребром, — сказал он, когда счел это нужным.

«Так и есть, — подумали присутствующие, — отказываться пришел. Ну и Игнат!»

Алеша Пшеничкин даже подпрыгнул на стуле.

— Ну что с тобой остается делать? — воскликнул он.

— Я скажу, — ответил Игнат. — Главное дело — не торопись! Чего испугался? Выразаться, сам знаешь, не буду.

— Говори! — улыбаясь, поддержал Игната Петр Кузьмич.

— Товарищи! — начал Игнат и обвел всех взглядом. — У меня на руках на шесть тысяч разного имущества. Задаю вопрос и отвечаю: кто сейчас на пожарке? Никого. Где Игнат? В правлении. А если пожар случится в настоящий вечерний момент, то кто выедет с пожарным агрегатом на тушение такового? Никто. Игната там нету. Что же вы думаете по этому вопросу? Игнат пятеро суток живет на бочке — и день и ночь. Если меня назначили лежать и спать, то буду лежать и спать. Я кончил, а вы решайте!

— Ничего пока не понимаю, — сказал Петр Кузьмич.

— Отказываешься? — спросил Пшеничкин.

— Тогда добавлю. Может человек круглые сутки не спать или не может? — спросил Игнат и тут же авторитетно ответил: — Не может, товарищи, обыкновенный человек жить не спавши, не может. Не знаю, как вы, а я бы на вашем месте догадался: одного подменного на пожарку поставить надо обязательно, чтобы двое, один — на ночь, другой — на день. Догадались?

— Догадались, — ответил Петр Кузьмич вполне серьезно. — Удовлетворим.

Игнат повеселел, речь пошла смелее, а Алеша Пшеничкин облегченно вздохнул.

— Не все! — продолжал Игнат. — Случаем — пожар, то как? Двое только и тушить будем? А все прочие — анархия да «Караул!», «Батюшки!»? Нет, товарищи, нельзя! Нельзя. У Петуховых хата горела, то что тогда случилось? Один полез на лестницу да испугался — и назад, а снизу двое сразу вверх лезут: столкнулись и грохнули наземь все втроем вместе с лестницей. Было ж такое дело? Было, никто не отрицает. Никита печенки отбил где? На пожаре — с лестницы упал... А хата все равно сгорела дотла.

— Разгадал! — воскликнул Петр Кузьмич. — Дружину добровольную надо организовать. Так?

— Точно, — подтвердил Игнат.

После короткого обсуждения решили вопрос и насчет дружины, но Игнат не унимался.

— Не все еще. Что лучше: тушить пожар или не допустить пожара? Каждому ясно, товарищи, что лучше делать так, чтобы пожара не было совсем. Ставлю вопрос ребром, — он поставил ладонь ребром, посмотрел на нее и продолжал: — Опахать токи, обсадить зернохранилище, следить за исправностью огнетушителей, — тут он рубанул ладонью воздух. — Ребятишкам спичек в сельпо не продавать ни под каким видом, и табаку — тоже. Когда это безобразие кончится? Сам с цигарку, а дымит, как паровоз! Так. И еще добавлю: на фермах — под метелку, ни соринки, ни соломинки, чтобы огонь не подобрался. Какая первая заповедь — спрашиваю я вас, товарищи? Какая? Отвечаю: ни одного пожара за лето!

Петр Кузьмич заплодировал, и все его поддержали.

В тот же вечер Игната отозвал в сторону бригадир Платонов — тот, что ездит только на дрожках, — и сказал так:

— Хорошо действуешь, Игнат Прокофьевич, хорошо. — Тут Платонов сделал таинственное лицо, осмотрелся по сторонам, хотя они стояли в дальнем углу комнаты, и по секрету зашептал: — Люди могут сказать: мол, за пожарами следит, а своя хата антипожарная. Чуешь? Конек прикрой и глиной залей, обмажь хату, побели!

— То — личное, тыфу! — так же тихо прошептал Игнат и даже плюнул тихонько.

— Другие-то хаты личные, а ты же их охраняешь. Тут пример должен быть. Чуешь?

Игнат задумался.

Несколько дней подряд он ходил с палкой в руках по токам, к комбайнам, бывал на фермах, ходил в самую жару, и головы ему не напекло, как на апробации, хотя дни стояли еще более жаркие, чем тогда.

Пришел Игнат в бригаду Алеши Пшеничкина на ток и говорит:

— Опахать! На правлении решили, и инструкция гласит: опахать на двенадцать метров кругом.

— Сейчас не могу, — возражает Алеша, — все лошади заняты.

— А после пожара можешь? — задает вопрос Игнат.

— Но! Прилепился! — неосторожно сказал Пшеничкин.

— Как, как? Ты меня ставил на должность?

— Я.

— Почему тогда не выполняешь инструкцию? Если так, давай другую работу!

— Ну завтра, понимаешь, завтра!

— А я завтра иди к тебе, проверяй? Их четырнадцать токов в колхозе: если все — завтра, то двадцать восемь дней потребуется. Инструкция гласит: ток готов — опашите!

Алеша начинал волноваться.

— Тебе надо, чтобы я лежал? — обратился Игнат к бригадиру. — Буду лежать. — И он, правда, вытянулся среди тока и подложил ладонь под голову. — Лежу, пока ток не опашешь. Я все сказал, Алексей Антонович. Хоть три дня буду лежать, я могу. — Он помолчал и уверенно заключил: — Опашешь! Скирдой меня закладывать не будешь!

Пшеничкин даже плюнул с досады.

— Сергей Васильевич, — крикнул он, — выпрягай из брички! Давай опашем ток... Плуг там, в сарае.

После того как опахали ток, Игнат направился к комбайну. На ходу взошел на штурвальный мостик, вытащил из держателя огнетушитель, постучал по нему щелчком, сошел снова вниз, забежал вперед и поднял руку. Комбайнер — молодой, широкоплечий паренек, покрытый пылью и полой так, что и не поймешь, то ли брюнет, то ли блондин, — замахал ему рукой и закричал:

— Сойди, говорю!

Тракторист грозил Игнату кулаком из дверцы кабины и жестом показывал, как он раздавит его в лепешку, но тот стоял невозмутимо. Стал и весь агрегат. Все подбежали к Игнату: тракторист, комбайнер, штурвальный, двое соломокопильщиков. А Игнат вдруг сел на землю, видимо опасаясь, что его просто столкнут с дороги. Ком-

байнер совал ему громадный гаечный ключ к носу и кричал:

— Остановить агрегат — преступление! У меня — норма, у меня — сроки! Ты понимаешь — хлеб!

Игнат сказал:

— Садитесь!

Никто, конечно, не сел, и все дружно плюнули, а тракторист вскочил в кабину и включил скорость. Залязгали гусеницы трактора, загрел комбайн. Но Игнат лег, опершись на локоть, и ковырял соломинкой в зубах. Гусеницы остановились в двух метрах от него: поверни тракторист вправо — хлеб помнешь, поверни влево — зарежешь хедером Игната. А тот поманил пальцем комбайнера: дескать, придешь все равно, через человека не поедешь! Комбайнер подошел, ударил фуражкой оземь и начал выражаться разными словами, а Игнат спросил:

— Огнетушитель для чего? — И, не дожидаясь ответа, сообщил: — Для безопасности от огня. Заряди!

— Да заряду вечером, на заправке! Не могу допустить простой! В райком пожалуюсь!

— Никакого простоя не будет: вода есть, заряды есть, пятнадцать минут — и готово!

— Вечером, говорю! — кричал комбайнер. — Ты человеческое слово понимаешь или нет? Ве-че-ром!

— Человеческое понимаю, а вот как ты выражаешься, не понимаю, — отозвался спокойно Игнат, глядя вверх на облачко, будто ничего и не случилось.

Комбайнер устыдился и уже тише сказал:

— Ну, слышь: вечером!

— Ничего не вечером. А я, дежурный пожарной охраны, должен к тебе вечером идти проверять? Нет, вечером не могу. Сейчас делай! Инструкция гласит как? А так: без огнетушителя не смей косить! Без огнетушителя — ни шагу вперед! Затем он и придался к сложному агрегату, который тебе доверили. — Тут Игнат ударил кулаком о землю. — Сам секретарь райкома, Иван Иванович, сейчас был и говорит: «А сходи-ка, Игнат Прокофьевич, проверь огнетушители на комбайнах!» — Игнат решительно встал, отряхнул колени и зад ладонью. — Давай ведро, воду, заряды! Заряжать умеешь?

— Учили... Знаю, — буркнул комбайнер и вскоре загремел ведром.

Делали все быстро: в ведре воды растворили пакеты щелочи, залили раствор в камеры огнетушителя, вставили два стеклянных закупоренных баллончика куда следо-

вало, подвязали кусочек картона под ударник; вся процедура заняла не более пятнадцати — двадцати минут. Когда огнетушитель, уже заряженный, вставили в гнездо, Игнат подал проволочный крючок комбайнеру и сказал:

— Привяжи к аппарату, будешь ежедневно прочищать выходное отверстие! — Не оглядываясь, он пошел к следующему комбайну.

Короче говоря, Игнат Прокофьевич навел полный противопожарный порядок в поле и принялся за фермы. Там он заявлял:

— Говоришь: «некогда», «молоко прокиснет»? А после пожара не прокиснет? Уберите сухой навоз, подметите! Тогда уйду. Вот сижу на молочном баке и буду сидеть хоть трое суток — я могу! — а вам молоко лить некуда.

Сладу с ним никакого не было. Его жена Домна Васильевна, работавшая на ферме дояркой, высказалась так:

— Бабоньки, ничего не поделаешь! Я его знаю: если втемяшится, то паровозом не сдвинешь. Давайте очищать! Он у меня целый месяц уже не обедает дома, а вечером как доткнется до кровати, так замертво и засыпает.

А Игнат, сидя на баке, выбивал на нем всеми десятью пальцами «комара» и объяснял жене:

— Должна понимать, сколько на мне колхозного добра лежит: пожарный инвентарь, пять комбайнов, четырнадцать токов, четыре фермы... А триста хат колхозников? Они хоть и личные, но гореть им пока еще не надо. «Не обедает до-ома!» — передразнил он шутливо. — Так, думаешь, и не обедаю? Сейчас в любом месте в поле можно пообедать — только ешь, пожалуйста! Примерно, пришел Игнат на ток, а ему: «Игнат Прокофьевич, садись за компанию!» — Он снял фуражку, поклонился и продолжал: — Игнат — к комбайну, а ему говорят: «Товарищ Ушкин, отобедать не угодно?» — Он отвел руку с фуражкой в сторону и еще раз поклонился. — У вас вот только и спорить приходится, как с несознательными элементами, а другие сразу инструкцию выполняют.

Конечно, фермы очищались, подметались, Игнату в заключение подносили двухлитровую посудину молока, и все, в конечном счете, были довольны. Даже колхозники не стали возражать, когда он, делая обход, выговаривал:

— Когда трубу чистила? Сто лет назад, в царствование дома Романовых. Инструкция, в примечании, гласит: «За нечистку трубы штраф двадцать пять рублей». Подвергаешь опасности населенный пункт и социалистическое имущество. Завтра проверю.

И все стали аккуратно чистить трубы. Однако когда Игнат зашел к плотнику Ефимычу, чтобы проверить трубу, тот схватил увесистый дубовый метр и, не выслушав контролера, молча погнался к двору.

Игнат не обижался, Игнат работал с песнями и припевом, хотя и не спеша. А бригадир Платонов, глядя на Игната, толковал Алеше Пшеничкину:

— Знаешь, Алеша, ему бы коня под седлом да «тулку» за плечи: ой и объездчик был бы мировой! Сам пылинки чужой не возьмет и рвачу не даст.

— Если только новый фокус не выкинет. Боюсь пока за него. Вряд ли он в пожарке-то усидит на одном месте, а не то что в объездчики, — сомневался Пшеничкин.

Но и зимой, на удивление всему колхозу, Игнат остался на пожарке и еще, кроме того, взялся по совместительству вязать сорговые веники для продажи, а когда сдавал их в кладовую готовыми, то говорил:

— На каждом венике вензель выжжен — «Н. Ж. И.». Повыше — «Н. Ж.», а «И.» — чуть ниже. Это значит, — объяснял он, — колхоз «Новая жизнь», а вязал веник Игнат. Таким веником хоть Красную площадь подметай — не стыдно!

Кто ж его знает, этого Игната! Может быть, он и вправду мечтал, что веники попадут в Москву и кто-то будет подметать ими Красную площадь.

Всю зиму увлекался он вениками и наконец стал их делать прямо-таки художественно: вплетал лычки, хитро перевивая на рукоятке, весь веник подбирал по одной стеблинке, а у основания рукоятки приделывал бантик из тонкого белого прутика. Правда, изготовлял он веников в половину меньше прочих мастеров-колхозников, но лучше никто не вязал.

...К весне ближе, когда пригрело солнышко и набухла речка, когда с бестолковым перекликом полетели гуси да засвистели в сумерках крыльями утки, Игнат заскучал.

Он подолгу прислушивался к скворцу, всплескивал руками и восхищался, когда тот то ворковал голубем, то свистел по-мальчишьи или хохотал по-сорочьи.

— От музыкант так музыкант! — восклицал Игнат. — От скворец — молодец, а ворона — дура!

Иногда часами просиживал около пожарного сарая, встречая и провожая стаи гусей, и тихо говорил:

— Эх вы, гуськи, гуськи! Молодцы гуськи!

Часто заходил, по соседству, ко мне в агрокабинет, си-

дел молча, читая газету, и никогда не мешал работать, разве только скажет:

— Все пишешь, Акимыч.

— Надо. Требуют, чтобы аккуратно и вовремя все делалось, по плану.

— Летом — днями в поле, зимой — все пишешь... Трудная работа!

— Нет, — говорю, — хорошая, Игнат Прокофьевич, работа.

— Требуют, говоришь? — спросил он, глядя в пол.

— А как же!

— Эх-эх-хе! — вздохнет он. — А с меня никто не требует: вроде так и должно быть.

— Вот подойдет лето, снова будешь хлопотать, добиваться противопожарного порядка: оно и веселее будет.

— Да они теперь, двадцать километров недоезжая, позаряжают огнетушители, а на фермах — привыкли... Чего я буду делать? Нечего Игнату делать! Бочка воды, насос и лошадь: сиди, Игнат, жди пожара! Разве это работа?! — После этих слов махнет безнадежно рукой и выйдет.

Заскучал Игнат и, потренькивая на балалайке, тихонько пел у пожарного сарая:

Эх! Летят утки...

Летят утки и два гуся...

Он долго тянул последнюю ноту, потом вдруг резко встряхивал головой, вскрикивал: «Э-эх!», делал паузу и, медленно поникая головой, заунывно продолжал:

Эх! Чего жду я... Чего жду я,

Не дожду-у-уся-а-а...

Чего ждал Игнат — неизвестно, но недаром же он переделал куплет на свой лад: «кого люблю» заменил «чего жду я». Пел он тихо, плавно и вдруг давал дробь пальцами по балалайке, высыпая прибаутку:

Бабка сеет вику, дедка — чучавику!

Чучавику с викою, да вику с чучавикою!

— Э, будь ты, Игнат, неладен!

А потом снова:

Летят утки, летят утки...

Перепуталось настроение у Игната, совсем перепуталось! И делать, как видно, он ничего не хотел, даже и ходить стал как-то еще медленнее, нехотя, будто отяжелел.

Дежурство своему подменному он сдавал перед вечером, около шести часов, уходил на берег речки и подолгу смотрел на воду.

Вот там-то, на реке, и произошел случай, запомнившийся всем в колхозе надолго, случай, о котором часто рассказывают сейчас и будут, может быть, рассказывать внукам.

В ночь тронулся лед, а к утру остановился. На хуторе Веселом этого не знали, и трое ребяташек пришли в школу по льдинам. Учительница, увидев их, перепугалась и домой не отпустила, но Сережке Верхушкину, десятилетнему мальчугану, не то чтобы не хотелось оставаться в селе ночевать, а, наоборот, захотелось во что бы то ни стало перейти еще раз речку. Он и пошел. Дошел до середины реки, а тут где-то захрустело, загремело, вода хлынула к краям. Он побежал к тому берегу, а там разлило по краю так, что в пору вплавь бросаться; подумал да бегом назад. Подбегает обратно к селу, а тут еще шире, от льдин до берега — метров двадцать. Не выдержал Сережка, закричал.

Берег в том месте довольно крутой, хотя и не обрывистый, множество тропинок спускается к реке. Люди бежали на крик, собралось уже человек пятнадцать, все кричали с берега:

— Перемычку смотри!

— Сережка-а! Беги влево-о! До перемычки-и!

Влево, метров за двести, действительно образовалась перемычка: в узком месте реки несколько льдин отползло к берегу, и по ним можно бы и пройти, но Сережке внизу не было видно этой самой перемычки, а сверху кричали, махали руками, грохот льда все приближался, лед под ногами вздрагивал, вода бурлила в просветах между льдинами. Мальчик растерялся и уже не кричал, а тихонько плакал, не двигаясь с места. Кто-то пытался добросить ему веревку, но куда там: воды уже больше тридцати метров, а глубина теперь выше человеческого роста! Трое мужчин во главе с Ефимычем тащили лодку. Все сбежали вниз, советовали, кричали; вдруг что-то хрустнуло, огромная льдина на середине реки стала торчком, затем со скрежетом грохнулась о соседнюю, расколола ее, и лед зашевелился. Все ахнули.

В этот момент и показался на берегу Игнат. Он спо-

койно смотрел в течение нескольких секунд на все происходящее и бросился стремглав под гору, к реке.

— А ну, посторонись, у кого ума нету! — бросил он на берегу, и все расступились, так как он бежал быстро, не похоже на Игната.

— Не дури! — озлился Платонов. — Не видишь — беда!

А Игнат, не слушая, сорвал с себя пиджак, снял сапоги, бултыхнулся в ледяную воду и поплыл к Сerezжке.

— Ах-х! — выдохнули все разом.

Перемахнул Игнат воду, вцепился руками в край льдины, пробует взобраться, а никак.

— Пропал Игнат! — сказал кто-то с дрожью в голосе.

Но Сerezжка — откуда и прыть взялась! — подскочил к краю, снял с себя пиджак, взял его за рукав, а другой подбросил Игнату; тот схватился одной рукой за пиджак, а мальчик, напрягаясь изо всех сил, помог, и наконец Игнат выбрался на лёд. Он взял Сerezжку за руку и побежал к перемычке. Лёд тихонько пошел... Игнат бежал с Сerezжкой зигзагами, обегая польньи, навстречу ходу льдин, бежал, не выпуская руки мальчика, к тому месту, где река уже и льдины шли плотно к берегу. И люди бежали по берегу вровень с Игнатом и что-то кричали, махали руками, шапками. Вдруг рокочущий бас покрыл все крики и шум льда.

— Дава-а-ай сюда-а-а! Игнат! Сюда-а! — кричал Ефимыч, заметивший у берега затор льдин. Это было ближе, чем перемычка, да и цела ли она теперь там, никто не видел — на горе никого не было.

Игнат повернул на зов Ефимыча и две минуты спустя был уже на берегу. В этот момент прибежал и председатель колхоза и многие другие: народу все прибавлялось и прибавлялось.

Кто-то надел на Игната его пиджак, кто-то подал сапоги, принесенные с того места, где разулся Игнат... С горы приволокли тулуп и сразу набросили на героя, а Ефимыч нахлобучил ему свою громадную баранью шапку. Вручили и сухие ватные брюки. Игнат же спокойно, как всегда, сказал:

— Бабочки, повернитесь передом на запад, а задом на восток и перекреститесь пока в таком положении... А я портчонки сменю на сухие.

На лицах у всех появились улыбки. Кто-то сказал:

— Ну и Игнат!

А он посмотрел на гору как-то печально, вздохнул, взялся за голову рукой, закрыл глаза и повалился. Упасть

ему, конечно, не дали, подхватили на руки, захопотали, заахали:

-- Ах! Ах! Сердце зашло у бедняги!

.. Фельдшера надо!

— Понесли на руках! — скомандовал подбежавший Алеша Пшеничкин.

Из двух весел и из пальто моментально соорудили носилки, положили на них Игната в тулупе и понесли на гору: впереди — Пшеничкин и Ефимыч, позади — сам Петр Кузьмич и Платонов. Игнат был человеком негрузным, и четвером они быстро вынесли его наверх.

Как только носилки очутились на горе, Игнат открыл глаза и сказал:

— Хватит. По ровному сам дойду, — и встал как ни в чем не бывало.

— Да ты что? — воскликнул Пшеничкин.

Все недоумевали.

— Э-ва! — сказал им Игнат. — Гора-то во какая высокая! Чего на нее без дела лезть? — и побежал трусцой, а обернувшись к оставшимся и запахнув полы тулупа, добавил: — Я ж застудиться могу, если лежать до самого дома! А то бы лежал...

Нет, они не просто недоумевали, а буквально опешили и ничего не успели ему сказать на это. Наконец Ефимыч бросил оземь весло, плюнул и сказал:

— А черт его знает, что он за человек!

— Да-а! — протянул Петр Кузьмич.

Ефимыч негодовал:

— Леня ему, вишь, на гору вылезть! Несите его! Знает, чучело, что понесут!

— Да-а! — еще раз сказал председатель. — Подшутил он над нами! Уж не загадку ли он снова загадал нам? Бегают, мол, по берегу, как куры на пожаре, а мальчишка — на льду. Натя вам за это, тащите, дураки, на гору!

— А леший его знает, что он там загадал! — все еще сердился Ефимыч и, обернувшись к Алеше Пшеничкину, уже спокойнее попросил: — Там у меня, под верстаком, четвертинка водки. Дойди быстренько, отнеси ему. Вода ледяная — пропасть может Игнатка. Ему водки сейчас — обязательно: и в нутро принять и снаружи протереть надо. Сходи, Алексей Антоныч, а я.. к нему не пойду, — заключил он решительно, попробовал было нахлобучить по привычке шапку, но ее не оказалось. Ефимыч плюнул и добавил: — И за шапкой не пойду!

Я пришел на берег одним из последних. Петр Кузьмич как раз говорил:

— Напрасно, напрасно, Ефимыч! Наоборот, надо тебе сейчас пойти к нему и, пожалуй, даже и выпить с ним по стопочке...

А когда мы втроем пришли к голубой, вновь покрытой хате Игната, то хозяин к тому времени уже успел принять две четвертинки благодарственных приношений и спал как убитый, тихо, без храпа.

— То ничего,— успокоительно сказал Ефимыч.— Через поллитру никакая простуда переступить не может.

Проход семнадцатый, король жестянщиков

Спрашивается: какое отношение к запискам агронома имеет король, да еще семнадцатый?

Вношу ясность.

Проход семнадцатый — это и есть тот самый Проход Палыч Самоваров, который еще до Петра Кузьмича Шурова был председателем колхоза; что же касается королевского титула, то это люди ему прилепили такое — беру только готовое.

Общий вид Прохода Палыча, конечно, резко выделяет его среди всего населения колхоза. С этого и начну.

Комплекция плотная, рост выше среднего, животик изрядно толст, ноги поставлены довольно широко и прочно; голова большая, лоб узковат, но не так уж узок; нос узловатый, широкий и тупой, слегка приплюснутый, с синим отливом; нижняя губа приблизительно в два с половиной раза толще верхней, но не так уж толста, чтобы мешала; две глубокие морщины — просто жировые складки, а не то чтобы следы когтей жизни; глаза на таком лице надо бы ожидать большими, а они, наоборот, получились маленькие, сидят глубоко, как глазок картофелины, и цвета неопределенного, будто подернуты не то пылью, не то марью. Проход Палыч не брюнет, не блондин, но, однако, и не полный шатен.

Одевается он с явным подражанием работникам районного масштаба: темная суконная гимнастерка с широким воротом — зимой и летом, широкий кожаный желтый пояс, ярко начищенные хромовые высокие сапоги и широкие синие галифе. Голову на плотной шее Проход Палыч держит прямо и, проходя, ни на кого не смотрит (если поблизости нет кого-нибудь из работников района).

Вот он какой представительный!

Знакомы мы с ним уже порядочное время, довольно хорошо знаем друг друга, давно я хочу о нем написать, но все-таки каждый раз, как возьмешь перо, думаешь: что о нем писать?

Писать о том, что у него огромный клетчатый носовой

платок, в который свободно можно завернуть хорошего петуха и в который он сморкается трубным звуком так, что телята шарахаются во все стороны, — это же неинтересно.

Сказать о нем, что он блудлив, нельзя, так как у него было только три жены: первая после развода вскоре умерла, вторая живет с двумя детьми где-то не то во Владивостоке, не то во Владимире, а с третьей он живет и сейчас (пока еще не регистрировался и, наверно, не думает).

Ну что еще? Сказать, чтобы он не делал ошибок, тоже нельзя. Ошибки он делает и всегда их признает рьяно, признает, даже если этих ошибок нет, а начальство подумало, что ошибки есть. Иной день ему в голову приходит даже такое: «А какую бы мне такую ошибку отмочить, чтобы и взыскания не было и весь район заговорил?» Но для признания своих ошибок он всегда оставляет, так сказать, резервы. Вот он, например, как мы уже заметили, не регистрируется с последней женой — это тоже резерв! А ну-ка да скажет высшее начальство: «разложение» или что-нибудь вроде того? Тогда можно признать свою ошибку и скрепя сердце вернуться к прежней жене; так что в конце концов получается — жена у него одна-единственная, а эта теперешняя — так, ошибка.

Или, скажем, написать, что он много водки пьет, — клевета, оскорбление личности! Ничего подобного! Он никогда больше пол-литра в один присест не выпивает. А разве, спрошу я вас, нет людей, которые выпивают больше? Есть. И здесь Прохор Палыч прав, говоря, что он норму знает. Ну, не без этого, конечно, праздник там большой или свадьба в колхозе случится, тогда выпьет вдвое больше или около того; в таком случае в конце процедуры у него появляется непонятное головокружение, душевные переживания всякие, даже тоска какая-то, и он плачет. Прохор Палыч прав, говоря, что когда он пьян, то становится смирным настолько, что и курицу не обидит.

Еще о чем же? Разве о характере? Можно. Характер у него таков: с одной стороны прямой и твердый, а с другой — мягкий и податливый, как воск. Внутри же ничего не видно; тонкое дело — заглянуть внутрь человека! Может быть, со временем и выяснится, что там, внутри, а пока буду писать о том, что видимо как факт и что подтверждает сам Прохор Палыч.

Например, что значит: «прямой и твердый с одной стороны»? Это значит: если он что-либо надумал, а кто-то из

людей ниже его по должности перечит, то Прохор Палыч найдет способ доказать твердость характера и прямоту. Быками не своротить — найдет! Собственно, прямота проявляется чаще всего под конец собеседования, и он не моргнет глазом сказать возражающему: «К черту! Не выйдет по-твоему!»

Теперь: «с другой стороны — мягкий». Тут надо примером. Допустим, заехал из района в колхоз председатель райисполкома, или заведующий райзо, или кто-либо — упаси боже! — выше, тогда Прохор Палыч, заходя в кладовую, делает следующее: сначала складывает колечком большой и указательный пальцы и произносит мягко, обращаясь к кладовщику: «Ко-ко — двадцать» (яиц, значит, двадцать). Затем покрутит пальцами около лба, завивая рожки, и говорит еще ласковее, со вздохом: «Бе-бе — четыре» (это означает — четыре килограмма баранины). Таким же шифром он передает мед (жужжит), ветчину («хрю-хрю») и, наконец, щелчком слегка бьет себя по горлу сбоку, подняв шею, и изрекает: «Эх-эх-хе! Маленькие мы люди. Ничего не попишешь: сама жизнь того требует».

В общем, о своем характере он так и говорит: «Я если залезу на точку зрения и оттуда убеждаюсь, тогда я человек твердый и прямой, как штык; а если руководителя уважить или угостить, то я человек мягкий и податливый: не могу, говорит, покойно видеть начальника, если он не ест и не пьет, аж самому тошно... А тут... — и он легонько постучит кулаком по груди. — Тут! Эх, товарищи, товарищи!» Просто даже интересно становится: а что же все-таки у него внутри? Я не говорю там о кишках, о печенках, о ложечке, под которой у него болит после выпивки, о катаре, который, по словам Прохора Палыча, есть в желудке каждого человека и который, собственно, и урчит-то всегда, — это все вещи известные и местоположение их ясно, — я говорю о характере: снаружи — человек как человек, а вот внутри — загадка.

И тем более, уж если бы он не читал, совсем ничего, тогда можно было бы подумать о плесени, о наслоениях прошлого, о пережитках капитализма внутри и тому подобном... Но он же все-таки читает! Ежедневно, каждое утро читает отрывной календарь. Иногда чтение вызывает у него неожиданные эмоции: сидит на кровати, еще не обувшись, оторвет листок календаря, прочтает о восходе, заходе солнца и долготе дня, прочтает о восходе луны, подумает, подумает и скажет: «Эх, вы, календарщики,

календарщики! Знали бы вы нашу нагрузку! Не тем занимаетесь, товарищи!» Но какие предложения конкретно он вносит, остается неясным. Думаю, что речь идет об изменении долготы дня, а неопределенность замечания в адрес календарщиков объясняется, надо полагать, тем, что у него все-таки возникают сомнения: зависит ли это мероприятие от них? Прохор Палыч, конечно, не дурак!..

Правда, насчет астрономии у него в голове довольно большая туманность, что объясняется очень сильной нагрузкой; по этой же причине и сведения о химии pochodят на колбу с бесцветным газом: а черт же ее знает, есть там что, в этой колбе, или нет! Может быть, там и действительно ничего нет, а один обман природы! Недаром же Прохор Палыч говорит про всех землеустроителей: «Знаю я этих астрономов! Мошенники!» И об агрономах отзывается презрительным языком: «Ох, уж эти мне химики: то не так, это не так! Вот они мне где! — И постучит ладошкой по заливку. — Спрашивается: за что зарплату получают? Нет, пусть бы он сел у меня в правлении да писал или диаграммы какие-нибудь чертил, а я бы посмотрел, чем он занимается, а то уйдет в поле на весь день — и до свидания! Химики!»

И тут, конечно, Прохор Палыч прав, когда говорит, что насчет теории ему требуется только вспомнить кое-что, но пока сильно некогда.

Больше того. Он определенно имеет склонность к философскому мышлению. Право, редкому человеку удастся из одного-единственного слова построить длинное предложение с глубокой мыслью, а он может, да еще как может! Как-то вытащили его чуть не за шиворот в кружок заниматься. Там-то он и сказал такое умное, что облетело весь район. Когда у него спросили, как он усвоил материал и что думает по этому вопросу, он сказал: «План — это, товарищи, план. План до тех пор план, пока он план, но как только он перестает быть планом, он уже не план. Да. А наши планы были планы, есть планы и будут планы. Точнее, не может быть плана, если он не план...» Но тут его вежливо перебил руководитель кружка и, вытирая со лба пот, выступивший как-то сразу, сказал: «Мне теперь все ясно. Садитесь!»

Видите! Даже руководителю ясно стало все, так умеет сказать Прохор Палыч.

Нет, Прохор Палыч положительно интересный человек! Во всякий вопрос вносит он свое. Взять, к примеру, оценку своих знакомых. Он разделяет их на четыре груп-

пы: на беспартийных, кандидатов партии, членов партии и... кандидатов из партии. При этом он иногда скажет: «Вперед не забегай, сзади не отставай и в середине не толпись!» Но тут-то Прохор Палыч и допустил большую ошибку: не туда причислил себя и думал совсем не так, как оно получилось. Правда, у него всего только три выговора с предупреждением (или четыре? Нет, три; четвертый — это не выговор, а одно только предупреждение в развернутом решении), но чистосердечное раскаяние всегда и у всех вызывало сочувствие. И это сочувствие заливало туманом его светлый разум, не дало возможности разобраться в том, куда везет его кривая. Он даже иногда, бывало, скажет: «О! Наш председатель райисполкома — человек! С этим не пропадешь!» Но... ошибся. Ой, как ошибся! Ошибся потому, что не учел, что и районные работники сменяются.

И уж если нечего писать о Прохоре Палыче, как сказано выше, то я думал: «А дай-ка напишу насчет этой самой роковой ошибки жизни!» Однако ясно, что человек приходит к ошибке не сразу, хотя он ее и признает, поэтому и написать коротко, одним скоком, не удастся, тем более, мы еще совсем не знаем, что у него там внутри.

План моих записок таков:

А. Какими кривыми путями привела кривая Прохора Палыча до председателя колхоза? и насколько кривы были кривые пути его.

Б. Как он руководил колхозом, и что из того получилось, и получилось ли вообще что-нибудь.

1

Когда-то давно Прохор Палыч работал в мотороремонтной мастерской. Работал хорошо, старательно, заработки были хорошие. За старательность и силу его уважали. Линия жизни у него была прямая, а сам Прохор Палыч был тогда совсем не таким: и нос не такой, и синевы на лице не было, так как норма подпития была совсем другая, не та, что сейчас.

Но случилось однажды так. Вызвали его и говорят: «Работник ты хороший. Пора к руководству привыкать: пойдешь заведующим складом «Утильсырья». Никак не подберем туда кандидатуру». Прохор Палыч возражал, очень сильно возражал, но он многого тогда еще не знал о товарище Недошлепкине. А товарищ Недошлепкин был

тогда председателем райисполкома. Если он, Недошлепкин, сказал: «Я думаю», то это все должны понимать: «Так будет»; если он сказал: «Я полагаю», то это значило: «Будет только так»; если же сказал: «Мне кажется», то надо было понимать: «Так должно быть, так и будет». Только много спустя Прохор Палыч приспособился к такой манере руководителя района изъясняться, а тогда еще не понимал ее по неопытности и простоте своей. Товарищ Недошлепкин не дослушал возражений и сказал:

— Я, Недошлепкин, думаю, полагаю, и мне кажется, что ты, Самоваров, пойдешь в «Утильсырьё».

Ах, если бы вдумался тогда Прохор Палыч в эти слова! Да где там вдуматься, когда председатель повторил твердо, с пристуком ладонью по столу:

— Я высказался. Принимай работу!

Не понял тогда Прохор Палыч, что было сказано. Через несколько лет Прохор Палыч с улыбкой вспоминал: «Какой же я был тогда дурак! Не понимал самых простых вещей. Вот что значит неопытность в руководстве!» По-немногу он перенял тон и приемы Недошлепкина, появилась смелость, уверенность в своих силах и так далее, но это много после, а в то время он принял склад «Утильсырьё» и приступил к работе.

И пошло!

Трое его подручных были люди опытные, деловые, вороватые. Делали все чисто. Сначала сверх зарплаты Прохор Палыч почему-то получал немного денег, а потом — больше. Поработал год. Вдруг откуда-то, не то из области, не то из центра, следствие; в тюках шерстяного тряпья, в середине, заложены отходы мешков, пакли, кострики, а вместо цветного металла где-то кому-то всучили какой-то черный. Кто туда положил не такое тряпье, Прохор Палыч не знал, но сколько денег он положил себе в карман, он все же знал — всучили-таки, жулики! — и сознавал свою ошибку. И только хотел было изучить утильдело, как его сняли.

И снова он у Недошлепкина. Тот сказал: «Я думаю...» Прохор Палыч понял его уже с одного слова и мигом очутился на складе «Заготзерна». Дело новое, надо подучиться, расспросить, вникнуть в теорию: все-таки хлеб, а не утиль. Но Прохор Палыч был уже куда смелее и в первый же день, по совету Недошлепкина, проверил лабораторию. Походил, походил по ней, посмотрел в зерновую пурку одним глазом, как в микроскоп, потрогал влагомер, нада-

вил пальцем на технические весы (отчего лаборантка даже вскрикнула, испугавшись за их целость) и сказал:

— Работу перестрой!

По личному горькому опыту на утильскладе он знал, что с подчиненными надо строже, иначе влипнешь, что подчиненный — не совсем полноценный человек (убеждения приходили постепенно, но довольно прочно). Кладовщиков он собрал под навесом. Сам сел на ящик, а им велел стоять и сказал:

— Я, Самоваров, много не говорю. Коротко: если замечу, что кто-нибудь насыплет ржи в пшеницу или овса в кукурузу, — прощайся с родными: тюрьма! Мне так кажется.

Помнил Прохор Палыч, как подкузьмили его подчиненные на утильскладе, и предупреждал ошибку. Опыт расширялся и углублялся медленно, но все-таки расширялся.

Проработал он год.

И кто же знает, откуда беде взяться! Недостаток обнаружился в девяносто тонн зерна. Какого зерна — толком сразу и не поймешь, но только недостаток обнаружился. Кто брал зерно, когда брали, куда девали — Прохор Палыч, истинное слово, не знал. Он, правда, знал, что конюх привозил ему откуда-то муку-первач, но ведь не девяносто же тонн! Еще вспомнил, что в какой-то не то ведомости, не то отдельном списке он расписывался в получении денег и что бухгалтер говорил насчет этого списка: «Мы его со временем чик-чик — и нету!» А черт же его знал, как это «чик-чик»! Но только следствие было, кое-кого судили, а Прохора Палыча защитил Недошлепкин. Написал отличную характеристику, напомнил, что Самоваров только начинает руководить, что имеет мало опыта, что жулики его обвели вокруг пальца, — много написал Недошлепкин, много беседовал с прокурором, звонил куда-то, хлопотал, и все сошло.

Но ведь и оставить после этого у руководства нельзя. Сняли. Походил, походил Прохор Палыч вокруг районных организаций и учреждений и пошел к своему покровителю. Приходит. Спрашивает его Недошлепкин:

— Ну как?

— Да так, — ответил Самоваров неопределенно.

— А все-таки?

— Так себе!

— Значит, ничего?

— Да как сказать...

Недошлепкин, как видно, изучал собеседника и мыслил про себя: «Не ошибся ли я в нем?»

— А точнее?

— Обыкновенно! — вздохнул Прохор Палыч, ожидая слов «я думаю» или, что еще лучше, «мне кажется».

— Как так — обыкновенно? — недоумевал председатель.

А Прохор Палыч видит, что тот в недоумении, и осмелел.

— Убил бы!

— Кого? — Недошлепкин привстал в полном испуге, так как был не очень храбр.

— Эх! — замотал головой по-бычьей Прохор Палыч. — Убил бы!

— Кого? — уже шепотом произнес председатель и стал за спинку кресла.

Прохор Палыч молча понурил голову. Начальник продолжал испуганно смотреть на него и не мог, конечно, в таком случае сказать ни «я думаю», ни «я полагаю», ни тем более «мне кажется». Так получилось, что Прохор Палыч ушел в себя, а Недошлепкин, наоборот, вышел из себя.

И третий раз спросил глава района, еле выдавив из себя:

— Кого?

Прохор Палыч поднял голову, еще раз покрутил ею, ударил себя в грудь (тихонько, слегка!) и, наконец, с надрывом выкрикнул:

— Себя! Ошибку допустил!

И сразу после этого все вошло в норму: Прохор Палыч вышел из себя, а Недошлепкин ушел в себя — сел в кресло, поднял острый носик вверх, поправил громадные роговые очки и нахмурил брови. Покатая лысина заблестела матово-желтым цветом. Он застучал пальцем по столу, продолжая дальше изучать Самоварова. Глаза у Недошлепкина были настолько узкими, к тому же заплывшими, что создавалось впечатление, будто он ничего не видит даже около своего носа. Но он видел, изучал, задавал наводящие вопросы:

— Ну так как же?

— Да так.

— А все-таки?

— Да как сказать...

— Значит, признаешь?

— Признаю.

- Каешься?
- Каюсь!
- Ну так что же ты скажешь?

Прохор Палыч совсем осмелел и выпалил, жестоко бия себя в грудь:

— Ошибка моя вот тут! — и сделал совсем жалобное лицо.

Недошлепкин расчувствовался — высморкался, плюнул тихонько и так же тихо произнес:

— Вот черт возьми!

Прохор Палыч тоже высморкался, но трубно, громко.

Конечно, начальник уже был готов произнести чарующие фразы, которые начинаются с буквы «я», но Прохорто Палыч еще не понимал, что тот готов. Лишь позже он научился догадываться о течении мыслей начальства, но тогда еще многого не понимал.

И вот наконец Недошлепкин говорит:

— Что же тебе сказать?

А Прохор Палыч изрекает, уже оправившись от сморкания:

— Я думал, товарищ Недошлепкин, что вы полагаете и вам кажется.

— Да, братец ты мой! — восхищенно воскликнул тот. — Таких проницательных людей я в первый раз встречаю. Вот это — да! Самородок! Кусок народной мысли, как говорит какой-то писатель или историк. Да ты знаешь, какая перед тобой линия открывается? Да ты сам не понимаешь, кем ты можешь быть! — И пошел, и пошел! Хвалил, хвалил, а напоследок напутствовал: — Держись за меня! Со мной кривая вывезет. Помогу, поддержу, научу.

И стал после этой беседы Прохор Палыч торговать керосином в магазине райпотребсоюза. Но не это важно, а важно то, что Прохор Палыч уже понял — точно понял! — что такое признание ошибок, как их признавать, когда признавать и перед кем признавать; важно еще, что после этой беседы он понял себя: кто он есть и кем он может быть, то есть оценил себя так же высоко, как оценил его Недошлепкин. И пошел после этого расти и расти! Вот он уже пробует произносить речи — его поддерживают, выдвигают по рекомендации Недошлепкина. Вот он уже критикует небольших начальников, от которых ему ни жарко, ни холодно, критикует громко, смело, со всей прямоотой своего нового характера. Пошел человек в гору!..

На керосине он, правда, прогорел (не то не достача, не то излишек, но больше года и здесь не работал), однако стал директором райтопа и числился уже в районном активе.

Наконец к переменам должностей и профессий он так привык, что считал это вполне нормальным для актива, считал, что настоящий-то актив и перебрасывается «для укрепления»: укрепил в одном месте — крой на следующее, укрепляй еще; не укрепил — признавай ошибку, плачь, сморкайся и валяй дальше — укрепляй в другом месте! Для вытирания носа он завел большой, темного окраса клетчатый платок, о котором мы уже заметили, что он якобы интереса не представляет. Но это только кажется. Действительно, большой платок неинтересен, когда он есть, а вот когда его нет... Попробуйте с полным чувством признать четырнадцатый раз двенадцатую ошибку без платка. Не получится!

На каких только должностях не был Прохор Палыч! И в «Сельхозснабе», и на кирпичном заводе, и в лесничестве, и в «Конволосе», и по дорожному делу, и по заготовкам сена и соломы, и по яично-птичным делам, и завхозом в МТС. Накопил громадный опыт! Наконец после двух выговоров с предупреждением в его послужном списке значилось: «Председатель артели жестянщиков». А Прохору Палычу перевалило за сорок пять.

И до этого ему учиться совсем не надо было в связи с частой переменой мест, а тут — каждый поймет — жестянщики: кружки, ведра, половники... Чепуха! Опыт руководства большой — Прохор Палыч принялся смело укреплять отстающую артель. Это было по счету шестнадцатое место за пятнадцать лет руководящей работы в районе. С таким багажом укрепить артель — раз плюнуть!

И он приступил.

2

Первым делом он обнаружил полное отсутствие кабинета для председателя артели и задал вопрос:

— Как же вы могли так работать, товарищи? Это же полный развал! Мне кажется, работу надо перестроить.

Счетовод, маленький, шупленький старичок с пушком на лысой голове, осмелился спросить вежливо:

— А какой же кабинет в такой маленькой комнатке, как наша контора?

Прохор Палыч ответил:

— Я думаю, что так необдуманно думать нельзя.

Все было ясно.

В артели было двенадцать мастеров разного возраста, тринадцатый — счетовод, четырнадцатый — председатель. Делала артель большей частью кружки, которые иногда протекали. Требовалось укрепить артель, чтобы кружки были полноценными. Задача Прохора Палыча, собственно говоря, и заключалась в том, чтобы кружки не протекали, но он уже имел размах, умел вникать, он уже думал, полагал, ему казалось.

Целый месяц половина членов артели во главе со счетоводом работали на «стройкабе», а половина — на кружках. (Объясню новое слово в русском языке — Прохор Палыч их сотворил немало: стройкаб — стройка кабинета.) Конечно, кружек сразу стало недостаточно, и домохозяйки начали протестовать: дескать, и так протекают, да еще и недохват. Прохор Палыч, чтобы успокоить всех, вывесил объявление: «Происходит преобразование производства на новые технические рельсы увеличенного плана». Успокоились, стали ждать.

Тем временем кабинет закончили: он занял две трети маленькой комнатки, а одна треть осталась счетоводу со всеми членами артели, которым уже ни покурить, ни газетку почитать стало негде. Но не в этом дело. Какой кабинет выстроили! Блестящий кабинет! Блестящий потому, что стены и потолок обшили белой жстью, на письменный стол, сверху, положили белую жсть; над креслом Прохора Палыча, чуть выше головы, соорудили полку во всю длину стены, обшили ее латунию и поставили в один ряд предметы производства артели настоящего времени и будущего, причем экспонаты были вдвое больше нормального размера: кружка, ведро, половник, таз умывальный, таз стиральный, умывальник, две ложки совершенно различной конструкции, зерновой совок, керосиновая лейка и... чего-чего только не было на этой полке! Любому смертному, вошедшему в кабинет, становилось ясно, что Прохор Палыч уже вник в сущность производства и освоил детали такового достаточно глубоко.

Вторым шагом по прошествии двух месяцев со дня вступления было ознакомление с массой. Вызывал Прохор Палыч по одному человеку, толпиться в передней запретил, курить велел по норме, обсуждать что-либо шепотом, чтобы не мешать работе. И начал прием. Вопросы он задавал каждому примерно одни и те же:

— Фамилия?
— Мехов.
— Лет?
— Сорок девять.
— Как?
— Точно так.
— Молодец! Отвечаешь правильно... Та-ак. Воруешь?
— Да что вы, Прохор Палыч! Дети у меня есть взрослые, а вы... такое... У нас и красть-то нечего: ну украду я кружку — куда ее денешь?

— Во-первых, я тебе не Прохор Палыч, а товарищ Самоваров. Во-вторых, не притворяйся: знаю я вас — все вору! Развалили артель, сукины дети, а теперь... Ишь ты! Мехов попятился к двери, разводя руками.

— Перестроишься?

— Да чего перестраиваться-то? Давайте материал, делать будем. А то вот два месяца сидим без дела, а у нас семьи... Я за эти месяца и полставки не выработал.

— Во-во-во! Я и хотел сказать: лодыри, бездельники!

— Да я же не про то!

— Хватит! Я думаю, я полагаю, что ты перестроишься! Следующий!

За перегородкой все было слышно, и артельщики очень быстренько смекнули, что к чему. Особенно быстро сообразил Вася-слесарь, мальчишка лет семнадцати, молодой, а ушлый.

— Давайте, — говорит, — отвечать одно и то же, а я пойду последним!

Переглянулись жестянщики: так и так. И в кабинете началось! Почти все, как один, повторяли одно и то же с небольшими отступлениями по ходу дела. Прохор Палыч к концу дня устал, вспотел и, развалившись в кресле, задавал вопросы уже нехотя, подумывая о том, не перенести ли ознакомление с массой на следующий четверг. Но вот вошел Вася-слесарь, юркий узколицый парень с прищуренными, смеющимися глазами, и объявил:

— Я последний.

— Фамилия?

— Щелчков! — отчеканил Вася так, что жечь на стенах отозвалась зловещим звяком.

— Щелчков! Ну, брат, и фамилия! Лет?

— Семнадцать.

— Ишь ты, молодой! Ну, ты-то не воруешь.

— Вору, товарищ Самоваров!

— Как, как? О! Самокритика молодежи! Ну, молодец!
— Воруя, говорю! — выкрикивал Вася, как молодой петушок.

— Что воруешь?

— Жесть ворую, латунь ворую.

— От брешет, свистун, так брешет! Этот не пропадет, нет! С кем же ты воруешь?

— С вами, товарищ Самоваров! — ответил Вася так же громко и тем же тоном, как и начал.

— Что-о-о? — Прохор Палыч встал.

— С вами ворую, — повторил Вася и сел, проявив высшую степень невежливости. — Сто листов жести на кабинет из кладовой кто принес? Я, Щелчков. Кому? Вам, Самоварову. Латунь кто принес? Я. Кому? Вам. Куда списали жесть? На кружки. Где кружки? Нету. Квартальный план выполнили на двадцать процентов, значит, годовой план уже сорвали.

Прохор Палыч сел. Потом встал. Потом еще раз сел. И еще раз встал.

— Как ты смеешь, щенок! — Он схватил с полки умывальный таз и так стукнул им об стол, что весь кабинет занял жестяной жалостью. — Мы такое загнем, что два квартальных плана в два месяца выполним. Раз плюнуть! Не твоего ума дело! Я думаю, что...

Тут Вася прыснул со смеху, зажал фуражкой рот и нагнулся, содрогаясь от беззвучного хохота.

— Что тебе смешно? Что? Что, спрашиваю? (За перегородкой — сдержанный, но дружный смех.) Кто там мешает работать? — загремел Прохор Палыч и снова обратился к Васе: — Ты думаешь, кто я есть? Отвечай!

— Там, — смеялся Вася, — там написано! — И указал пальцем на дверь.

После этих слов за перегородкой затоптали и, давя друг друга, вывалились со смехом на улицу. Выскочил бомбой и Вася. Прохор Палыч поставил таз на место и, потный, в возбуждении, вышел медленно за дверь. Осмотрел стены, пронзил счетовода взглядом и ничего не увидел. Но вот он повернулся к двери кабинета, чтобы войти обратно, и... увидел! Трудно даже выразить словами состояние Прохора Палыча: это было сплошное переживание от пяток и до носа, ибо пятки сразу зачесались, а нос потребовал неотложного сморкания. И он высморкался дважды подряд и без передышки. А на новой табличке — «Председатель артели тов. Самоваров» — красовалось добавление: «король жестянщиков».

— Вот откуда и появился королевский титул у Прохора Палыча.

Сам я, правда, при этом не присутствовал, но мне так подробно все рассказывал Вася, так усердно дополняли его Мехов и другие, что я не могу не посочувствовать Прохору Палычу. Не буду описывать терзания его души, не буду останавливаться на том, как Прохор Палыч по ночам не спал двое суток подряд, не буду вдаваться в подробности колебаний психики и переливания тоски через край — это очень трудно. Но Недошлепкин настойчиво, очень настойчиво рекомендовал Прохору Палычу приступить к самокритике и ни под каким видом не наказывать Васю, а если возможно, прижать его впоследствии, чтобы понимал твердость характера. При этом он сделал для Прохора Палыча назидание жестом: ногтем большого пальца надавил на стол так, как (простите за натурализм!) давят некоторых насекомых, и добавил:

— Понимай — для самокритики момент наступил, а для того самого, — и он снова надавил пальцем, — еще нет. Подождать надо...

Э, да что там учить Прохора Палыча, когда он сам уже не меньше знает!

На общем собрании артели Прохор Палыч сказал:

— Критика ваша, товарищи, дошла до середины. Дошла! Всем нам надо перестроиться, углубить производство и расширить во все стороны. Все, как один, — в одну точку! Кто отступит — не позволю! Я признаю критику, но не допущу нарушения дисциплины. Переходим, товарищи, с кружки на ложку новой конструкции — модель «Л-2». Потребуется напряжение. Я полагаю, что трудовой подъем будет.

В городе заговорили: «Король жестянщиков разворачивается».

Так и прилепился к Прохору Палычу этот титул.

А тем временем в артели дела пошли по новым рельсам. Трое поехали в командировку за формовочной глиной, трое работали над ящиками-станками для отливки ложек, трое вели экспериментальные работы, имея под руками пять килограммов алюминия, и переливали алюминий из пустого в порожнее, а остальные трое переоборудовали горн и мехи. Сам Прохор Палыч выехал в Москву на поиски алюминия, пробыв там два месяца, прислал оттуда двадцать четыре телеграммы и получил двадцать девять. В артели вскоре уже была закончена перестройка, и все ждали председателя. Наконец прибыл Прохор Па-

лыч и привез только двадцать килограммов алюминия.

— Ну что ж,— сказал Прохор Палыч,— начнем, а там видно будет.

И начали. Сначала выходило плохо: ложки получались ломкие, с драными краями. Наконец все-таки наладили дело: ложка модели «Л-2» пошла в ход... Но... запас алюминия иссяк.

Кончался год. Ложки делать перестали из-за нехватки материала, а к кружкам не приспособлено производство, перестраивать надо. Так и не получилось в том году ни кружки, ни ложки.

Ну, а дальше что? Дальше Прохор Палыч пятнадцатый раз раскаялся, получил третий выговор и остался без работы. Секретарь райкома вызвал Недошлепкина и говорит:

— Кажется, Самоваров никудышный руководитель — неуч и зазнайка. Он стоит на пороге из партии, случайный человек.

Но нет! Недошлепкин — уже постаревший, облысевший, уже беззубый — защитил, не дал в обиду. Не исключили. Три месяца или, может быть, четыре Прохор Палыч был без работы. Несколько раз заходил к Недошлепкину, ожидал, как в прежние счастливые годы, волшебных слов, но тот указывал пальцем на райком и говорил шепотом:

— Не велит.

— Так, значит, как же? — спрашивал Прохор Палыч.

— Да так...

— А все-таки как?

— Так себе.

— Значит, ничего?

— Да как сказать...

— А что «как сказать»?

— Обыкновенно! — вздыхал начальник.

И каждый раз на этом кончалось. Казалось, попал в тупик Прохор Палыч.

Но внезапно что-то случилось с секретарем райкома по семейным обстоятельствам, и он уехал из района. Ведь и с ним все может случиться, как с любым человеком. Это ведь в романах только секретари райкомов не страдают, не любят, не хохочут, а только знай руководят. А в жизни они такие же люди, и с ними все может случиться: может и жена заболеть, и сам даже может заболеть, и даже — даю честное слово! — может и влюбиться. Конечно, мне скажут: «Не может быть, чтобы секретарь райкома да

влюбился! Не бывает!» Вот и поговори с ними!.. Бывает, товарищи, что там греха таить! Бывает и так: напихают полный роман либо железа, либо дров, либо машин всяких, а читатель ходит-бродит, бедняга, меж всего этого и ищет людей; не читатель, а искатель какой-то получается. Не спорю, иной читатель, конечно, с первого прочтения находит тропки, делает зарубки для приметы, чтобы не заблудиться обратным ходом; потом вернется назад, прочтает еще другой, третий раз — смотришь, разберется, что к чему.

А насчет секретарей райкомов повторяю: все с ними бывает, как с любым человеком, а не только так, как в романах.

Убедил я или не убедил — как хотите! — но только старый секретарь райкома уехал, а новый приехал. Был он такой: в коричневом костюме и при галстукe (обратите внимание: без черной гимнастерки и без желтого широкого пояса), росту обыкновенного, среднего, русский, круглолицый, веселый, любит в городки поиграть и в шахматки сыграть; ребятишки у него есть (двое), и мальчишка его забегает к нему прямо в райком, посмотрит, нет ли заседания, и сообщает: «Папа, мы чижа поймали».

Одним словом, Попов Иван Иванович приехал.

Недошлепкин — к нему. Так, мол, и так: в колхозе «Новая жизнь» шестнадцатый по счету председатель оказался не того, заменять надо. Для укрепления.

Поехал Иван Иванович туда раз, поехал два, посмотрел, посмотрел: правда, заменять надо. И говорит Недошлепкину:

— И ваша вина есть в том, что в колхозах такая свистопляска с председателями: что ни год, то новый председатель. Большая вина!

— Признаю, — соглашается Недошлепкин. — Каюсь! Ляпсус. Все силы брошу на исправление ошибки. Все, что от меня лично, приму... Действительно, ляпсус... Но без председателя колхоза не может быть колхоза, ибо колхоз до тех пор колхоз, пока он колхоз, но как только он перестает быть колхозом, он уже не колхоз. (Подобный способ мышления — явное влияние его ученика Прохора Палыча. Ясно.)

Задумался Иван Иванович: видно, не верит Недошлепкину. Но что поделать, если кадров района еще не знаешь, а требуется председатель колхоза! Конечно, придется обязательно советоваться пока с Недошлепкиным. А тот разгадал мысль секретаря и говорит:

— Моя ошибка тяжела... Но мы можем быстро выправить: есть у нас толковый, опытный товарищ, повезет! Правда, у него в артели жестианщиков — не того, но причина все же в неплановом снабжении артелей, и вопрос не нам решить — надо ставить гораздо выше, так как в районном масштабе алюминия нет, а ложка «Л-2» требует алюминия чистого, как слеза грудного младенца.

— Кто же это такой? — спрашивает Иван Иванович.

— Товарищ Самоваров, — сообщает Недошлепкин.

Так на первых порах Иван Иванович и допустил ошибку.

Вызывают Прохора Палыча в райком.

— Говорите честно, — обращается к нему Иван Иванович, — справитесь ли вы с работой председателя колхоза? Работа трудная и ответственная.

Прохор Палыч думает и сморкается: ждет, когда будут произнесены заветные слова, единственные, которые он сразу понимал. Нет этих слов! А вопрос висит в воздухе!

— Ну так как же? — повторяет секретарь.

И Прохор Палыч, руководствуясь чутьем, развитым многолетним опытом, продельвывает следующее: смотрит вниз и в сторону, глубоко-глубоко задумавшись, вздыхает, несмело поднимает глаза на секретаря и говорит тоже задумчиво:

— Товарищ секретарь райкома! Слишком мне тяжело сознавать, что я имею три выговора... (В этом месте он чуть-чуть взвыл.) Я понимаю, что четвертый выговор столкнет меня с кривой. Со всей ответственностью беру на себя колхоз, и, я думаю, выправлю его, и вправлю ему линию в передовые...

Иван Иванович, не ведая дипломатии, сказал:

— Мне кажется, что чистосердечное признание своего положения прибавит вам силы.

Все! Для Прохора Палыча было все-все понятно.

А Иван Иванович сомневался, что-то его скребло внутри.

Недошлепкин так разукрасил Прохора Палыча на общем собрании колхоза; так расхвалил, такие гимны пропел его талантам, а Никишка Болтушок такую речь закатил, что даже шапку потерял и ее растоптали в лепешку, — так они оба воспевали Прохора Палыча, что того и в колхоз приняли, а потом и председателем выбрали.

Так Прохор Палыч занял свой семнадцатый пост и

стал семнадцатым председателем в колхозе, а отсюда и полный титул пошел: «Прохор семнадцатый, король жестианщиков».

3

Теперь уж я видел Прохора Палыча почти ежедневно. Мы все ближе и ближе сходились с ним и наконец сошлись настолько близко, что он однажды мне сказал:

— Фу, ты! Обязательно ему надо культивировать пар за двенадцать — пятнадцать дней до сева! Небось и после закультивируем — денька за два-три.

Я возражал, горячился, целую лекцию об озимых ему прочитал, книгу академика Якушкина ему совал в руки.

— На, прочти!

— Лично я не видал твоего Якушкина. Я, Самоваров, думаю, — за два-три дня.

Я не сдавался.

— Не позволю! (Это я-то так позволил себе сказать Прохору Палычу. И откуда смелость взялась!)

— Что-о-о? — закричал он. — Пошел к черту, химик!

— Не скорбляйте!

А он отвечает:

— Характер у меня такой прямой. Как штык. Помогать — вас никого нету, а раздражать человека у руководства вы можете.

— Да я же и хочу помочь вам понять агротехнику!

— Пошел бы ты с такой помощью! У меня свиньидохнуть начали, а тебе вот выложи: за пятнадцать дней! Тьфу!

— Вы ж, — говорю, — не понимаете агротехники! Нельзя так!

Прохор Палыч отвернулся, не желая продолжать разговор, и куда-то в сторону буркнул:

— Столько, сколько ты знаешь, я давно забыл больше.

Что должен делать после этого агроном? Конечно, ехать в район.

Запрягли Ерша в линейку, приезжаю к Недошлепкину. Так, мол, и так, говорю, ничего не понимает, оскорбляет непотребными словами... Угробим осенний сев.

— А вы добейтесь своего, — отвечает Недошлепкин, — и закультивируйте, если действительно надо! Если же можно обождать дня два-три, то уступите по-человечески! У Самоварова мало опыта в руководстве колхозом, ему надо помогать. Правда, прямота у него в характере есть, за словом в карман не полезет. Постарайтесь поми-

ряться с ним, он человек сходчивый и самокритичный.

— Так он же меня слушать не хочет!

— Постарайтесь сделать так, будто между вами ничего не было: общее колхозное дело дороже личных отношений. Мы, безусловно, должны забывать все личное.

Ехал обратно тихонько, шажком и пробовал пробрать себя самокритикой до корней, но, как ни бился, даже Ерша останавливал несколько раз, ничего не получилось. Наверно, все-таки не освоил самокритику на всю глубину. Тут бы и надо мне Недошлепкину сказать: «Признаю ошибку!», потом приехать в колхоз и — к Прохору Палычу: «Признаю», и руку ему подать: «На! Держи! Навечно! Пошли мировую выпьем по двести!» А вот не умею. Но зря! Именно тогда бы меня подняли на щит и говорили бы: «С таким работать можно — сходчивый и самокритичный агрономишка».

Пар все-таки закультивировали: воровским путем, ночами.

А еще раньше, весной, получилось даже чище. Приезжаю в бригаду, а там сеют кормовую свеклу. Не там сеют, где намечено производственным планом, — не по глубокой зяби, а по весновспашке.

— Кто позволил? — спрашиваю я.

— Председатель приказал, — отвечает бригадир Пшеничкин. — Целый час спорил с ним. Тьфу!

Смотрим, Прохор Палыч мчится к нам: жеребец — в лентах, тарантас — в ветках. Подъезжает и сразу грозно:

— Почему простой механизма допущен?

— Я запретил, — говорю.

— Тебя убеждать надо или не надо?

— Говорите!

— Как ты думаешь, — снисходительным тоном начал он, — ходить женщинам полоть лучше за три километра от села или за полкилометра? Тут, — потопал он ногой по земле, — тут — полкилометра, а зябь — за три километра. В организации труда ты что-нибудь смыслишь или нет?

Я стараюсь объяснить ему поспокойней:

— По весновспашке свеклы не будет. Не бывает никогда хорошей свеклы по весновспашке нигде, а у нас, в засушливом районе, никакой свеклы на этом месте не будет. Не взойдет она, и полоть-то нечего будет.

Пробовал растолковать, как устроено семя свеклы, говорил, что всходы ее очень слабые, рассказал, сколько воды требуется для семени свеклы, но Прохор Палыч до конца не дослушал, подошел к трактористу и сказал:

— Я думаю, сеять будешь.

— Нет, — вмешался я, — сейчас надо ехать на зябь и посеять там.

— Ка-ак? — вскричал Прохор Палыч. — Подменять руководство? Кто позволит? Приказываю!.. А из тебя, — обратился он к трактористу, — щепки сделаю! А тебя, — повернулся он к бригадиру, — как бог черепаху! А... — и он круто повернулся ко мне во весь корпус.

— Меня, — говорю, — ни боже мой! Я химик!

— Хуже! — воскликнул он, ударив себя обеими руками по галифе. — Астроном! Мошенник!

Так я понял, что астрономы гораздо хуже химиков.

И зачем, собственно, я все это записываю? По плану обещал описать, как Прохор Палыч руководил колхозом, а пишу черт знает что! Хотя нет: постепенное сближение и содружество Прохора Палыча с агрономией тоже заслуживает внимания. В общем и агроном с бригадирами к нему приспособились: они просто обманывали его для пользы дела.

Меня спросят: «А свекла как же? Где посеяли?» Отвечаю: по зяби посеяли. И очень просто. Подхожу я к нему и говорю:

— Характер у вас сильный... Сказал — крышка!

— Я так: надумал — аминь! — и улыбается. Отошел, значит, нутром.

— Езжай, — говорю я трактористу, а бригадиру подмаргиваю, так как тот всем видом протестует против продолжения сева на этом месте.

Прохор Палыч благополучно отбывает и скрывается из виду, а мы... переезжаем на зябь.

Заметил он это не скоро, через месяц, и сказал:

— Ну и ловкач! Ну и мошенник! За этим смотри да смотри!

Так пришло к Прохору Палычу убеждение, что все агрономы — мошенники, все бригадиры — жулики, а он единственный руководит и ему никто не помогает. Трудно все-таки быть председателем колхоза!

Но все это произошло несколько спустя после начала руководства Самоварова колхозом. Это отступление сделано потому, что вопросы агрономии превыше всего, с ними надо начинать. Дальнейшее описание жизни Прохора Палыча в колхозе пойдет уже по порядку.

Еще в первые дни пребывания на посту председателя Прохор Палыч собрал бригадиров и изрек:

— По вечерам нарядов давать не буду.

— А как же нам быть? — спросили все сразу.

— Утром — наряд, вечерами и ночами — заседания. Что я, Самоваров, не знаю разве, как руководят районные работники? Не первый год! С кого пример брать? С вас, что ли?

Попервоначально стали возражать, перечить. да еще вздумали доказывать. Потом и бригадиры, конечно, вошли в понятие, а тогда, представьте себе, упирались. Прохор Палыч для доказательства твердости характера даже выражаться стал всякими черными словами, а в заключение обмяк и завершил:

— Соображение-то у вас есть или нет? Как можно с вечера давать наряд? А вдруг да умрет кто за ночь — допустим, тетка какая, — а на нее наряд дали: что это будет? Срыв, полная анархия. Я думаю и полагаю, что наряд давать будем только утром.

Когда же бригадиры разошлись, он говорит мне:

— Вот они, работнички! Видал? С первых шагов на подрыв пошли. Ну, я перестрою — выбью из них дурь. Не первый год на руководящей! С этими, верно, наруководишь... — Он будто задумался, а потом добавил: — Менять надо, всех менять! Вот маленько разберусь и поменяю. А эти, видать, жулики и воры. Видал? Тот, чубатый, все улыбается, а тот, седой, все волком смотрит.

Ну, раз уж сам Прохор Палыч заговорил на первых порах о бригадирах, то и нам следует с ними поближе познакомиться, иначе описание жизни председателя не будет ясным.

Бригадиров в колхозе трое: Пшеничкин Алексей Антонович, Катков Митрофан Андреевич и Платонов Яков Васильевич. Все они очень старательные, хозяйственные, хорошие руководители бригад, почти непьющие, но характеры у них разные. Пшеничкин живет так, будто радуется вечно и полон радужных надежд; Платонов — человек критического ума и иногда говорит: «Надо изживать недостатки, а не только говорить о хорошем»; Катков — это человек быстрый и в работе и в мыслях: он в уме может моментально такие цифры помножить, что диву даешься!

И возраста все трое разного: Пшеничкину — двадцать семь, Платонову — шестьдесят, а Каткову — сорок два.

Пшеничкин — белокурый, кудрявый, голубоглазый, фуражка — набок, чуб над виском, и всегда верхом в седле: с самого раннего утра и до позднего вечера, а в уборку — и ночью.

Платонов, несмотря на почтенный возраст, ни бороды,

ни усов не носит, всегда чисто выбрит, волосы совсем седые, зачесывает назад ездит только на дрожках.

У Каткова — лоб высокий, нос тонкий, лицо симпатичное, веселое, с шустрыми черными глазами. Этот никаких средств передвижения, кроме мотоцикла, не признает и признавать не желает.

И вот смотрите! Разные люди, совсем-совсем разные, во всем разные, а как они одинаково сильно любят свое дело, сколько работают! Летом по семнадцать-восемнадцать часов в сутки в труде.

Где-то вы теперь, мои дорогие друзья-бригадиры? Радостно мне было услышать ранним утром, перед восходом солнца, песню Алеши Пшеничкина; больно вспомнить, как он плакал над просом, которое побил град; приятно вспомнить, как его голубые глаза внимательно смотрели на меня на зимних занятиях по агротехнике! С благодарностью помню и наши беседы на отдыхе и мудрость Якова Васильевича Платонова. Вихрем бы помчался теперь с Митрофаном Андреевичем Катковым по шляху на его мотоцикле, а остановившись у комбайна, вместе помогли бы молодому комбайнеру пустить в ход машину. Все знает этот Катков! Умница!

Урчат ли тракторы, грохочут ли громады комбайны, мчит ли юркий самоходный С-4, слизывая на ходу пшеницу, ворочает ли плуг пласты чернозема, гремит ли молотилка, полют ли посевы, сеют ли, веют ли — везде, везде они, бригадиры. Мои верные соратники, с какой охотой написал бы я сейчас и о вас, но — что поделаешь! — пока приходится писать о Прохоре Палыче. Это очень-очень нужно!

А дни у Прохора Палыча пошли беспокойные.

Утром он встал, прочитал листок календаря, оделся и пошел в правление давать наряд.

— Все в сборе? — спрашивает он, чинно усаживаясь за стол.

— Все, — отвечают бригадиры хором.

— Та-ак. С чего начнем?

— Да у вас небось план имеется, — улыбается Катков.

— Имеется: все в поле, как одна душа! Кто нарушит трудовую дисциплину — дух вон!

— А мне надо подвезти корм лошадям: три подводы, — говорит Пшеничкин.

— Мне надо в лес за дубками для крытого тока: две подводы, — заявляет Платонов.

— У меня в поле сегодня пойдет только десять человек, а остальные — на огород, — подает голос Катков.

— Так. Я, Самоваров, выслушал и говорю: борьба за урожай — первое дело. Меня, Самоварова, избрали выправить, а не распылять. Все в поле!

И началось! Спорить, кричать, доказывать! Пшеничкин, красный, как вареный рак, кричал, что лошади подохнут, что он отвечать не будет, что лошадь — не мотоцикл и не автомобиль, в нее бензину не нальешь, что ей требуется не бензин, а рацион зоотехники и что он вообще не понимает, как понимать непонятное. Катков скороговоркой резал, что огород — это деньги колхоза, что все надо делать по плану.

Платонов молчал и думал.

Прохор Палыч слушал, слушал все это да как-как стукнет кулаком по столу:

— Всем в поле! Во всех справочниках и календарях написано — борьба за урожай, борьба за хлеб и тому подобно. А вы с капустой, с дубками, с лошадьми своими лезете! На подрыв пошли! Не позволю!

Платонов молчал и думал. Потом все трое сразу вышли. Алеша Пшеничкин с досады настигивал себя по сапогу плетью. Катков выскочил пробкой и стукнул дверью, а Платонов вышел спокойно, будто ничего особенного не произошло.

Время шло. Уже одиннадцатый час дня, а народ слонялся по двору вокруг правления, многие сели на травку, закурили и балагурили; волы и лошади стояли запряженными, ездовые сидели, свесив ноги и греясь на солнышке, как заправские лентяи. Никогда такого не было в колхозе «Новая жизнь», а тут получилось... Вот вышли бригадиры из правления, а народ — к ним: что ж, мол, это такое? Какой наряд?

— Не знаю, — сказал Пшеничкин.

— Черт его знает! — сказал Катков.

— Все в поле! — сказал Платонов, увидев выходящего Прохора Палыча.

Раздались возгласы:

— А чего всей бригаде делать в поле? Капуста пропадет.

— Убирать скоро, а в нашей бригаде крытый ток не закончен. В лес надо.

Прохор Палыч все это слышал. Он сразу понял, откуда ветер дует, и сказал бригадирам:

— Вот полюбуйтесь на вашу дисциплину! Двенадцать

тый час, а у вас люди лодырничают. Развалили колхоз, проходимцы вы этакие! Да еще и массу подстроили на меня, слова-то говорят ваши! Слышь: о капусточке да о дубочках. Эт-то мы учтем!

Тем временем, пока народ волновался, Платонов сказал двум другим бригадирам:

— Зайдемте-ка в конюшню да посмотрим, что там сделать: пора, наверно, мазать ее.

Прохор Палыч упер руки в бока, расставил галифе всю ширину и решил наблюдать, будет ли выполнен его наряд, а бригадиры вошли в конюшню. Там Платонов и говорит:

— Алеша, ты садись на меринка — и за село: встречай и направляй своих куда следует; а ты, Митрофан Андреевич, садись на мотоцикл — и на огород: встречай своих и моим скажешь, а я догоню помаленьку на дрожках. Но из села выходить всем только в поле. Понятно?

— Есть! — ответили оба и повеселели.

А Катков, проходя мимо председателя, успокоил его:

— Все будет исполнено в точности по вашему наряду!

Прохор Палыч был очень доволен, что он повернул руль руководства на полный оборот, и, возвратившись, сказал счетоводу:

— Ничего-о! Повернем еще круче! А тебе вот что скажу: ты мне приготовь сведения к вечеру.

— Какие сведения?

— Сколько коров, лошадей, свиней, птицы разной и прочих животных; и притом на малюсенькой бумажечке, чтоб на ладонь улеглась. Понял? Случаем, если доклад — все под рукой. — И Прохор Палыч накрыл ладонью воображаемую бумажку.

Счетовод был человек пожилой, лет пятидесяти пяти, в очках с тоненьким блестящим ободком, полный, но очень живой, подвижной и весьма сообразительный, как и все колхозные счетоводы. Зовут его Степан Петрович. Он пережил уже шестнадцать председателей и толк в них знал очень хорошо. Спорить с Прохором Палычем он не стал, а заверил:

— Будет исполнено в точности!

— Во! Это по-моему! Люблю!

Микроскопическими цифрами исписал Степан Петрович листок из блокнота и, передавая его Прохору Палычу, почему-то улыбался.

— Тоже, наверно, жук! Чего ухмыльнулся?

— Никак нет, не жук. Херувимов Степан Петрович.

— То-то, что Херувимов... М-м-да... Фамилия — того...

Один раз, правда, удалось Прохору Палычу отчитаться по животноводству с этой шпаргалкой, но потом засыпался: о чем ни скажет — всего, оказывается, на самом деле больше, а в бумажке, что под рукой — меньше. А дело в том, что свиньи поросились, коровы телелись, лошади жеребились — всего прибавлялось. Задумался он: как же наладить учет?

Степан Петрович советует искренне:

— Каждый раз надо брать у меня новые данные и проверять в натуре.

Хоть и поразительная фамилия у этого счетовода, но Прохор Палыч попробовал делать так. Все-таки счетовод, а не агроном какой-нибудь.

Однажды вызывают Прохора Палыча с докладом по животноводству. Выписал ему Степан Петрович все, как полагается, и пошел он проверять в натуре. Приходит на свинарник.

— Сколько свиней?

— Сто одна.

— Так. Правильно. А сколько поросят?

— Двести.

— Брешешь! У меня записано сто восемьдесят два.

— Так ночью две свиноматки опоросились.

— Фу, черт! И надо им пороситься тут, в самое это время, будь они неладны!

Пошел в телятник.

— Сколько телят?

— Семьдесят.

— Брешешь! У меня — семьдесят два. Почему, спрашиваю, меньше на два головодня? Зарезали телков, мошеники!

— Да нет же, нет, — взмолилась телятница. — Двух бычков-то сдали, а документа нет целую неделю, вот они и не списаны. Степан Петрович без документа не спишет. И списать невозможно: должны числиться, мы понимаем.

— Документ, документ! — перебил Прохор Палыч. — Я вам покажу документ! А ну, давай считать в натуре!

Накинули перегородку поперек телятника, как при ревизии, и стали выпускать во вторую половину по одному.

— Раз, — считает Прохор Палыч, — два, три... десять... пятнадцать... Кажись, один проскочил... Двадцать... Будь

ты неладно, в носу зачесалось. Не к добру... двадцать пять... Воздух-то тут — того. В носу свербит...

Он вынул платок и высморкался по своему обычаю: ка-ак ахнет во всю трубу! Что тут сотворилось! Телята шарахнулись, сбили перегородку, взревели испуганно, истощно — и все перемешались.

Теленок — животное нервное, хотя он и дитя коровы, теленок совершенно глуп и ровным счетом ничего не понимает насчет руководства, но Прохор Палыч обиделся и, плюнув, выразился так:

— Чтоб вы попередохли, губошлепы! Телятся, телятся без удержу, никакого стабилу нет, да еще и не сморкнись. Подумаешь! Дерьмо!

И ушел.

Но надо же вникнуть в животноводство, в самую глубину? Надо. Пришел он в правление, сел в кресло и задумался: «Обязательно им надо пороситься, жеребиться, телиться... куриться!» Тут что-то такое мельнуло в голове Прохора Палыча, какая-то не то мысль, не то блоха. «Что же такое у меня мелькнуло? — думает. — Вот мелькнуло и нет... Никогда в голове ничего такого не мелькало, а тут вдруг — на тебе! Уж не помрачнение ли у меня?... А мелькнуло все-таки... Ага! Догадался! Слово неудобное: куриться! — И дальше думает: — Как это куры: курятся или как? Оптичиваются? Нет. Петушатся? Не слышал. Этого слова при людях говорить не надо!»

В самом деле, черт их знает, как они — куры, когда Прохор Палыч сроду с ними не имел никакого дела! И вообще в сельском хозяйстве чепуха какая-то! Другое дело какой-нибудь завод или мастерская — там так: есть станок — есть, есть сто станков — есть. Крышка, эти уж отелиться не могут. Мысли, конечно, тяжелые, но правильные. Но как найти выход? Ужели ж самому за всем и следить, проверять, ходить по этим телятницам, поросятницам, курятницам?

Однако выход он нашел: при всяких отчетах и докладах просто прибавлял поголовье на несколько десятков: «Небось отелились! А не отелились, так отелятся, — эта чертова скотина, она такая». Так что с этим вопросом Прохор Палыч вышел из положения, как и подобает человеку, имеющему опыт руководства.

Но дни наступали все беспокойнее и беспокойнее. Что и говорить — это не у жестянщиков! Тому подпиши, тому выпиши, тот с заявлением лезет, этому усадьбу дай, тот аванс просит, а тот лезет: «Прими телка под контракта-

цию», будто своих мало. Там на свиней болезнь напала, там, говорят, какие-то суслики где-то что-то едят, тут трактористы донимают, агрономы не дают покоя, землеустроители... Все завертелось. Где там в поле попасть, когда тут пропадаешь! И Прохор Палыч уже подписывал на ходу, не глядя, что подписывает, совал заявления в карман и отвечал: «Сделаем — я сказал»; но заявления накапливались пачками. А тут — еще новости! — зоотехники навалились и давай и давай точить — то за свиней, то за овец! Дошло до того, что Прохор Палыч одной рукой обедает, а другой подписывает и все-таки ничего не успевает сделать, хотя руль повернул на полный оборот. Сказать, чтобы он растерялся, — нельзя: вид у него не такой. Трудно, очень трудно! Не будь водки — пропал бы человек ни за грош! Но он дает себе отдых: норму свою принимает, и все идет нормально и в полеводстве и в животноводстве, несмотря на большую нагрузку.

Зато есть у него точка опоры в руководстве. Есть! Четыре раза в неделю он созывает расширенные заседания правления, заслушивает отчеты о работе за прошедшие полтора дня и выносит развернутые решения. В этом он независим, и все нити руководства у него в руках.

Для примера возьмем одно заседание — очень важное заседание, если говорить без шуток.

Пять часов дня. Ближится вечер. Бригадиры бросили поле и прискакали в правление по срочному вызову через нарочного. Прохор Палыч дает распоряжение:

— Расширенное заседание назначаю в семь! Так и объявите! Чтоб все были ровно в девять! Немедленно сообщить всему руководству животноводства, строительства и подсобных предприятий: каждый с докладом. Все!

И пошли бригадиры по дворам уже пешим ходом.

В тот вечер я сидел у Евсеича на диванчике и почитывал. Сам Евсеич плел вентерь и подпевал тихонько, а Петя писал что-то за своим столом и не давал покоя старику:

— Как, говоришь, дедушка? «Богом данной мне властью» и...

— Вот пристал! Ну, «богом данной мне властью мы» — не я, а мы, — «мы, царь польской и князь финляндской и проча, и проча»...

— А вместо «проча» не писали «и тому подобное»? Терентий Петрович говорит, что можно «и тому подобное».

— Нет, не писали: писали «и проча». Да на что это

тебе потребовалось? И все ему надо. На кой ляд тебе, как цари писали?

— Для истории, дедушка! — отвечает Петя, и сам ухмыляется.

— Ну, для истории — валяй!

В это время вошел Платонов и объявил мне о заседании правления.

— Опять?

— Опять, — махнул он рукой. — Пропали не спавши! Аж кружение в голове... Одним сторожам только и покой ночью, не трогает пока.

Из хаты мы вышли вчетвером: Платонов и я — на заседание правления, Евсеич — на пост, сторожить, а Петя нырнул в калитку к прицепщику Терентию Петровичу (о котором речь впереди). Потом Петя появился в правлении, снова исчез и, наконец, смирененько уселся в уголке на полу. Когда мы шли на заседание, Платонов спросил Евсеича:

— Отнес?

— Сдал самому Ивану Иванычу и от себя добавил на словах.

Приходим в правление. Народ начинает помаленьку собираться. Усаживаются. Однако избегают садиться на скамейки, а больше — вдоль стен на полу и даже между скамейками. Это для того, чтобы удобно было во время заседания поспать, свернувшись калачиком или привалившись головой к соседу. Докладов намечено чуть ли не десять и, кроме того, разбор заявлений, которые лежали перед Прохором Палычем, как стопка вчерашних блинцов, с обтрепанными и завернутыми краями. На столе председателя стоял колокольчик, снятый с дуги: для наведения порядка. На свадьбы Самоваров, правда, продолжал его давать и сам охотно там присутствовал, но чтобы на следующий день колокол снова был на месте.

Колокол оглушительно прозвонил, кто-то тихонько сказал: «Поехали!», а Прохор Палыч объявил:

— Расширенное заседание совместно с руксоставом колхоза «Новая жизнь» считаю открытым. По первому вопросу ведения слово предоставляется мне лично. Товарищи! Сегодня мы, собравшись здесь, заслушаем весь руксостав, рассмотрим весь колхоз. Вопрос один: укрепление колхоза и путь в передовые. В разных, могущих быть возникнутыми, — разбор заявлений. Порядок докладов продуман: первый — бригадир полеводческой бригады товарищ Платонов.

— Подвезло тебе, Яков Васильевич, — вздохнул Катков, — отчитался — и на сон, под лавку.

Прохор Палыч брякнул колоколом и продолжал перечислять порядок докладов:

— Завкладовой, птичница, телятница, все конюха, затем остальные бригадиры. Слово для доклада даю товарищу Платонову. Вам час дается.

— Не надо мне час.

— А сколько?

— Нисколько.

— Как так?

— Очень просто. Нечего мне говорить — вчера докладывал. Вы должны знать и так, без доклада.

— Я без тебя знаю, что я должен знать. И знаю все. Но порядок такой: в докладе должен сообщить, и внутрь глянуть, и вывернуть все на самокритику. Давай!

— Все у меня благополучно.

— А я говорю, докладывай! Не мне докладывай — народу! Вот они!

И Платонов скрепя сердце, нудно, не похоже на самого себя стал отчитывать, как дьячок. И голос-то у него сделался какой-то унылый, и речь несвязная, а все-таки говорил. Стоит ли перечислять то, о чем он говорил, и так надоело!

Прохор Палыч заставлял говорить одного докладчика за другим и думал: «Я их раскачаю! Заговорят, как миленькие, разовьются!»

Катков шепнул Пшеничкину:

— Тебе, Алеша, дать, что ли, поспать сегодня? Твой доклад в самой середине, беда тебе не спавши!

— Дай, пожалуйста, Митрофан Андреевич! Умру без сна — четвертые сутки!

— Часа на два могу, а больше дару вряд ли хватит, Алеша.

— И на том спасибо! Мне больше и не надо. Я, может, до полночи еще прихвачу немного.

И около двенадцати часов ночи, когда Прохор Палыч выкликнул фамилию Пшеничкина, тот безмятежно спал, свернувшись калачиком в углу, а около него сидел и бодрствовал Катков. Когда он услышал слово «Пшеничкин», то встал и сказал:

— Мой доклад, Прохор Палыч, а не Пшеничкина, ошибочка произошла. И к тому же я приготовился.

Любил такие передовые выступления Прохор Палыч и поэтому сказал:

— А может, и ошибка, тут голова кругом пойдет. Давай!

И Митрофан Андреевич принялся «давать». Он рассказал о плане Волго-Дона, остановился на учении Вильямса, загнул о происхождении жизни на земле по двум гипотезам, коснулся трактора и описал все детали его по косточкам: лишь бы Алеша спал подольше. О работе своей бригады он почти ничего не говорил, но все, кто еще не успел заснуть, слушали его с удовольствием, а многие даже проснулись. Алеша спал сном праведника до двух часов ночи. Наконец Катков задремал:

— И так, на основе мичуринского учения, моя бригада и работает. Все!

— Весь высказался? — спросил Прохор Палыч.

— Могу и еще, но устал, — ответил докладчик и с сожалением посмотрел на кудри Алеши Пшеничкина, раскинувшиеся на полу.

— Следующий!

Уже перед рассветом, когда загорланили по всему селу третьи петухи, приступили к разбору заявлений. Прохор Палыч обратился к бодрствующим:

— Будите! Начинаем заявления.

— Да какие же заявления? Рассветает!

— Хоть десяток, а разберем. Будите!

Народ зашевелился, закашлял, закурил, раздалось сонное, но шуточные голоса:

— Вставай, Архип, петух охрип! Белый свет в окне, туши электричество!

— Аль кочета пропели? Скажи, пожалуйста, как ночь хорошо прошла! Можно привыкнуть спать вверх ногами.

— Завтра работаем, ребятки, просонья!

— Не завтра, а сегодня.

Рывкнул колокол. Прохор Палыч объявил:

— Первое заявление разберем от Матрены Чуркиной. Просит подводу — отвезти телушку в ветлечебницу. Читай подробно! — обратился он к счетоводу.

— Чего там читать! — сказал просонья Катков (он тоже чуть-чуть прикорнул перед светом). — Чего читать? Телушка месяц как скончалась.

— Как это так? — спросил председатель, синий от бессонницы.

— Да так — подохла. Покончилась — и все! Не дождалась.

— Как так скончалась? Заявление подала, а померла... То есть того... Зачем тогда и заявление подавать?

— Не Матрена, а телушка, — вмешался Пшеничкин.

Но Прохор Палыч смутно понял, что в результате ночных бдений у него вроде все перепуталось.

— Ясно, телушка, — продолжал он, поправляясь. — Товарищи! Телушка до тех пор телушка, пока она телушка, но как только она перестает быть телушкой — она уже не телушка, а прах, воспоминание. Товарищи! Поскольку телушка покончилась без намерения скоропостижной смертью, предлагаю выразить Матрене Чуркиной соболезнование в письменной форме: так и так — сочувствуем...

Алеша Пшеничкин не выдержал и крикнул:

— К чертям! Матрене телушку надо дать из колхоза: беда постигла, а коровы нет!

— Сочувствую! Поддерживаю, — ответил Прохор Палыч, — но без санкции товарища Недошлепкина не могу.

— Всегда так делали, всю жизнь помогали колхозникам в беде! — горячился Алеша. У него, и правда, почти вся жизнь прошла в колхозе. — Всегда так делали, а при вас — нельзя. Жаловаться будем в райком!

— Жаловаться в райком! — повторил Катков.

— Жаловаться в райком! — поддержал Платонов.

— Жаловаться в райком! — крикнули сразу все, сколько было.

Прохор Палыч громко зазвонил колоколом, восстановил порядок и спокойно сказал:

— Жалуйтесь! Попадет жалоба первым делом товарищу Недошлепкину, а я скажу ему: «Вашей санкции на телушку не имел». Все! Этим меня не возьмешь! Давай следующее заявление! Читай! — скомандовал он счетоводу.

Степан Петрович взял заявление из пачки, надел очки на кончик носа и приспособился было читать, но вдруг прыснул со смеху, как мальчишка, и сказал:

— Извиняюсь, нельзя читать! Невозможно, Прохор Палыч. Сначала сами прочитайте! Обязательно. Здесь для вас одного написано...

— Приказываю: ч и т а й!

И Прохор Палыч откинулся на спинку кресла, а от досады и на телушку, и на бригадиров, и на всех сидящих здесь решил про себя: «И слушать не буду: пусть сами разбирают! Посмотрим, как без руководства пойдет заседание: раскричатся да еще и передерутся. Не буду и слушать!» И правда, он сперва не вслушивался, а счетовод —

шестнадцать председателей пережил — не стал возражать и читал:

— «Ко всему колхозу!

Мы, Прохор семнадцатый, король жестянщиков, принц телячий, граф курячий, и прочая, и прочая, и прочая, богом данной мне властью растранижирили кладовую в следующем количестве: «ко-ко» — две тысячи, «бе-бе» — десять головодней, «хрю-хрю» — четыре свинорыла. И еще молимся, чтобы без крытого тока хлеб наш насущный погнотить! И призываю вас, акурат всех, помогать мне в моих делах на рукработе в руксоставе! Кто перечит — из того дух вон! И тому подобно, подобно, подобно...»

— Сто-о-ой! — возопил Прохор Палыч.

Колокол звонил.

Народ встал на ноги и надевал шапки в великом недоумении от королевского послания. Только Петя Федотов сидел в уголке смиренненько и, ничуть не улыбаясь, смотрел на происходящее.

— Что случилось? — спрашивали проснувшиеся.

— Где горит? — вскрикнул кто-то.

Прохор Палыч рванул бумажку из рук счетовода.

— Кто подписал? Дайте мне врага колхозного строя!

— Вы, вы... сами подписали! Ваша личная подпись стоит, — с напускным испугом говорил Степан Петрович. — Я же вам говорил, я предупреждал, я вас просил, но вы приказали. У вас же характер такой: сказал — крышка! Надумал — аминь!

Председатель остолбенел. Да и как было не остолбенеть? На послании «Ко всему колхозу» стояла его собственная подпись. Никто не мог бы скопировать извивающуюся змею вместо начального инициала «П», невозможно подделать семь колец буквы «С», а дальше — девять виньеток с двумя птичками и вокруг фамилии овал с прихвостьем ровно в тринадцать завитков. Ни один мошенник не может подделать подобной подписи или даже расшифровать ее — это невозможно! Подписал он где-то на ходу, не глядя. Но кто, кто мог подсунуть? Где этот — тот самый, которого надо раздавить? Прохор Палыч махнул рукой, чтобы все уходило.

...Деятельность Прохора Палыча в колхозе продолжалась четыре месяца. Заседание, описанное выше, было в начале пятого месяца.

В понедельник утром Прохор Палыч собрался ехать в район с крамольным посланием, доказать, что ветер дует от бригадиров, разъяснить, что ему никто не помогает, а все идут на подрыв, и снять после этого всех троих сразу. Но вспомнил: понедельник — день тяжелый, и отложил. Во вторник поехал — кошка перебежала дорогу.

«Чертова живность! Чтоб тебе пусто было! Еще попа недоставало... Этот если перешел дорогу — то все, вертайся назад! Не первый год, знаю...»

Кошка испортила все настроение, а оно и так в последние дни стояло на отвратительно низком уровне. Ехал он сумрачный, мыслей никаких не было, и в голове ничего не мелькало, кроме одной кошки.

И, странное дело, въехал Прохор Палыч в город, будто в чужой, а не в тот, что был много лет родным гнездом, где он укреплял многие организации и учреждения и где оставил по себе память на долгие годы.

Приехал и пошел прямо к Недошлепкину, чтобы с ним уже идти к секретарю райкома. И снова не повезло — чертова кошка! — Недошлепкина не было. Кабинет закрыт, а секретарь райисполкома говорит:

— Не знаю где. Второй день нету.

Не ехать же обратно, — пошел один. Входит он в кабинет секретаря райкома, Ивана Ивановича Попова. Тот его встречает:

— А-а!

А Прохор Палыч и не знает, как понимать это «а-а!». Никогда такого разговора не было. Вынул платок, высморгался. Этому я сам был свидетелем, сидел в кабинете рядом с Петром Кузьмичом Шуровым, с которым я читателя уже познакомил раньше. Но Прохор Палыч не знал Петра Кузьмича и думал: «Свистун какой-то, никакого руководящего виду».

Достает Прохор Палыч «послание» и кладет на стол. Иван Иванович берется читать и... как захочет. Хохочет, как мальчишка, снял пенсне и вытирает слезы, аж подпрыгнул в кресле и за живот хватается обеими руками. Прохору Палычу показалось, что секретарь рехнулся умом или, во всяком случае, тронулся мозгами. Не может же так смеяться действительный секретарь райкома! Настоящий секретарь обязан смеяться так: «ха!» и подумать, «ха!» и еще раз подумать. А этот заливается слезным хохотом.

— И подпись-то, подпись-то ваша, — почти умирая, хочет Иван Иванович.

И Петр Кузьмич хохочет. Закрыв глаза, одной рукой за русые волосы ухватился, а другой отмахивается, будто от мухи, и трясется весь от хохота.

«Бьет смех, как припадочного!» — подумал Прохор Палыч и ничего — абсолютно ничего, ну ни единого нуля! — не понял из происходящего.

Отсмеялись. Пьет воду Иван Иванович и передает стакан Петру Кузьмичу. Напились. Отошел Иван Иванович к окну и смотрит в сад, помрачнел как-то сразу и спрашивает, не глядя на Самоварова:

— С этим и пришел?

— Да. Один подрыв. Никто не помогает — один, как свечка, кругом. Все сам! Чего сам не сделаешь, того никто не сделает. Мошенники и жулики все, особенно бригады: снимать надо. Согласовать пришел.

А Иван Иванович будто и не слушает. Сел в кресло, смотрит в середину стола и говорит:

— Что мы наделали? Четыре месяца прошло!.. Ведь вы, Самоваров, что наворочали!.. Молокопоставки просто угробили, поставки шерсти сорвали, контрактацию молодняка проворонили. На носу уборка, а у вас в двух бригадах нет крытых токов, погноите хлеб! Людей с ферм разогнали. Замучили всех ночными заседаниями. Ведь это еще благо, что там золотые бригады, — хоть в поле-то все благополучно, в чем вы, кажется, неповинны... Эх! Нам колхозники доверяют, а мы? Кого поставили, кого рекомендовали!

Прохор Палыч по своему опыту понял, что наступил момент признавать.

— Признаю! Тяжко мне сознавать всю вину! Допустил ошибку, большую ошибку! И она — вот где у меня! — он стукнул трижды кулаком по груди, трижды высморкался, посопел, вытер сухие глаза и уже тихо произнес согласно надлежащему в этом случае правилу: — Признаю и каюсь!

А Иван Иванович говорит:

— Да не ваша ошибка, чучело вы этакое! Наша, моя лично!

Прохор Палыч встал и, расставив руки с растопыренными пальцами над галифе, попятился назад в полном недоумении.

— Что, не понимаете? — спрашивает секретарь.

Прохор Палыч мотает головой.

— Тогда и о вашей ошибке скажу. Вот у меня коллективное заявление бригадиров и многих колхозников, про-

сят немедленно созвать общее собрание, пишут о вашем самодурстве. Собрание проведем завтра.

Прохор Палыч снова сел и, кажется, начал кое-что понимать.

— Но это не все, — продолжал секретарь. — Вот акт о незаконном «ко-ко» и «бе-бе» на три тысячи рубликов, здесь и Недошлепкину начислили около тыщонки. Вы даже и акт отказались подписать, Самоваров... Такие-то дела!

Прохор Палыч действительно прогнал какого-то шуплого бухгалтеришку, который все совал ему какой-то акт, но что это за акт, ей-богу, не знает, и не помнит. А оно — вот что! И он сидел, тучный, широкий, но непонимающий, опустошенный внутри. Внутри ничего не было!

Иван Иванович продолжал:

— Будем рекомендовать товарища Шурова — агроном!

Прохор Палыч встрепнулся. Он будто опомнился, будто живая струя пророчилась внутрь.

— Как? Агроном — председатель? — И вся его фигура говорила: «Мошеника, химика и астронома — в председатели?»

— Да, — ответил секретарь, а Шуров улыбнулся. — О вас же, Самоваров, будем решать вопрос на бюро, что дальше делать. Хорошего не предвижу.

Так бесславно кончилась деятельность Прохора Палыча в колхозе. Не буду описывать, как проходило общее собрание. Каждый знает, как выгоняют колхозники негодных руководителей — наваливаются все сразу и без удержу отхлестывают и в хвост и в гриву, отхлестывают и приговаривают: «Не ходи куда не надо! Не ходи!»

Стал Прохор Палыч нелюдим и задумчив: что-то такое в нем зашевелилось внутри и ворочалось, ворочалось все больше. Удивлялись люди: смиренный стал, тихий.

Был суд.

Прохору Палычу дали год исправительно-трудовых работ.

Видел я его еще раз, незадолго до суда, в закуской. Он сидел за столом с Недошлепкиным, и оба были в среднем подпитии. Лицо Прохора Палыча осунулось, он похудел, глаза стали больше, нос — меньше; одет в простую синюю, в полоску сатиновую рубашку. Его собеседник был все в той же форме «руксостава» — в черной суконной гимнастерке с широким кожаным поясом, в тех

же огромных роговых очках, — такой же, как и был.

— Ну, тебя-то, — говорил Недошлепкин, — волей-неволей надо было снимать — с сельским хозяйством не знаком. Я это предвидел. А за что сняли меня? За что прогнали из партии? За что оклеветали?

Прохор Палыч медленно встал, смотря в одну точку. Глаза его были влажными и красными. Вдруг он сжал зубы, стукнул кулаком по столу, так, что задребезжали стаканы, и вскрикнул:

— Убил бы!

Недошлепкин отпрянул всем корпусом, будто от удара в лоб, очки спрыгнули на самый кончик носа, на лысине выступил каплями пот, губы что-то зажевали, он поднял ладонь над головой, будто защищаясь, и прохрипел:

— Кого?

— Себя! Ошибку в колхозе допустил: не туда руль повернул. Каюсь, — заныл он по привычке и склонил голову на грудь. Так Прохор Палыч постоял немного, затем извлек из кармана клетчатый носовой платок и выморкался.

Прицепщик Терентий Петрович

Если вы встретите Терентия Петровича, то на первый взгляд он покажется вам невзрачным человеком. Маленького роста, щуплый, с короткой русой бородкой, в большом, не по плечам, ватнике с подвернутыми рукавами, он посмотрит на вас спокойными прищуренными глазами из-под мохнатеньких бровок. Фуражка ему немного великовата, и козырек всегда чуть набок: мешает глазам. Вы подумаете: ничего, дескать, особенного в этом колхознике нет. Но это далеко не так. В человеке ошибиться легче всего.

Вот если бы вы посмотрели, как относятся к Терентию Петровичу в колхозе, как почтительно все здороваются с ним, то, конечно, призадумались бы, по какой причине такое ему уважение. Ведь даже бригадир Платонов Яков Васильевич наряде так и обращается к нему: «А вам, Терентий Петрович, самому известно, что надо завтра делать».

Терентий Петрович во время сева работает на сцепе двух тракторных сеялок сеяльщиком, во время прополки — на культиваторе, во время уборки — на комбайне у соломокопнителя, на сенокосе управляет агрегатом трех тракторных сенокосилок, при скирдовании — на стогометателе, при вспашке зяби регулирует плуг. В общем точная его профессия — прицепщик.

Замечу, что быть прицепщиком сложных сельскохозяйственных машин не так-то просто. Это не то что прицепил, сел и сиди смотри, как трактор тянет. Совсе не так! Тут надо знать немало, и знать как следует. Одна только тракторная сеялка имеет больше полутысячи деталей, а сколько есть еще других машин... Настоящий прицепщик, если говорить прямо, — такая фигура в колхозе, от которой во многом зависит урожай. Плохая вспашка или посев сразу отразится на трудодне колхозников. Но Терентий Петрович плохой работы не допустит. Во-первых, он уже дважды был на трехмесячных курсах прицепщиков и дело знает, во-вторых, он исключительной добросовестности человек.

Однажды был такой случай. Пришел Терентий Петро-

вич на дневную смену к тракторному плугу, осмотрел прицеп, дождался, пока тракторист Костя Клюев окончил заливку воды в радиатор, и сказал:

— Глуши трактор.

— По какому случаю? — спросил Костя, недоуменно подняв брови вверх и сдвинув замасленную шапку на затылок.

— По случаю утери лемешка предплужника у пятого корпуса.

— Ерунда-а! — протянул Костя, успокоившись, и поправил шапку. — Поехали!

По молодости и легкомыслию Костя не придавал особого значению такому пустяку, как крошечный лемешок.

— Не поедем. Глуши трактор и давай в отряд за лемешком, а я тем временем подлажу плуг.

— Дядя Терентий! Да как же так? Илья Семенович за ночную смену полторы нормы дал, а я буду в отряд бегать!

— Будешь бегать, — спокойно подтвердил Терентий Петрович.

— Лучше я попашу с полчаса, а ты сходи.

— Потому тебя и посылаю, что пахать нельзя без важной детали. А уйду — знаю, поедешь.

— Все равно поеду.

— Не поедешь!

— А что ты мне сделаешь? — спросил Костя, глядя на Терентия Петровича сверху вниз.

— Что сделаю? — переспросил Терентий Петрович и поднял глаза на высокого, широкоплечего парня. — Чистиком по заду огрею! — При этом он действительно поднял чистик — длинную палку с лопаточкой на конце — и воткнул в землю рядом с собой, будто для того, чтобы удобнее было при случае схватить.

Терентий Петрович медленно обошел вокруг трактора, затем вынул кисет и стал закуривать. А Костя, покосившись на чистик, у которого стал Терентий Петрович, оглянулся на ворчливо попыхивавший трактор и просительно произнес:

— Ну?

— Я тебе дам «ну!» — будто осердившись, сказал Терентий Петрович и взялся за чистик.

Конечно, ничего такого не могло быть, Терентий Петрович сроду никого не ударил, но большой Костя отошел от маленького Терентия Петровича, заглушил трактор, отчего сразу стало скучно обоим, и с обидой заговорил:

— Полторы нормы дал, а предплужник потерял! То же — передовик называется! А я теперь стой без толку полчаса...

— С этого и начинал бы, — отозвался Терентий Петрович. — Это ты — правильно. Доложу директору эмтээс лично. — Тут он немного подумал. — И председателю доложу. И ты доложи... А со мной плохо пахать не будешь. Понял?

— «Доложи, доложи», «понял, понял!» — волновался Костя. Он тоже обошел вокруг трактора и снова остановился перед Терентием Петровичем.

— Ты слышь, — спокойно тенорком заговорил тот. — Слушай меня, что скажу! — И нагнулся к предплужнику. — Он, лемешок, кладет стерню на дно борозды. Так. Стерня та перепреет, а наверху, значит, будет чистый плодородный слой. Агротехника — первое дело.

Косте это было известно не хуже Терентия Петровича. Но кому нравится молчащий трактор! И Костя горячился.

— Да знаю я это давно!

— То-то и оно! А раз знаешь, то нельзя, так, без соображения, говорить: «Все равно поеду». Как это так «поеду»? Ты меня везешь, а я качество делаю. Мы с тобой, Костюха, перед народом отвечаем. Понял? А не так, чтобы трактор ехал — и вся недолга. А что он везет за собой, как везет, что из этого получится на будущий год — будто нам с тобой никакого интереса нет... Глупости!

— Конечно, глупости, — повторил Костя и пошел в отряд за лемешком.

Все знают: там, где работает Терентий Петрович, качество будет отличное. Но почет Терентию Петровичу идет не только из-за его трудовых успехов. Есть и еще кое-что. Вот возьмем, к примеру, выпивку. Люди пьют по-разному, и настроение у них бывает после этого разное: одни становятся смирными, другие, наоборот, буйными, третьи даже плачут, иные пляшут, если случится лишний стакан хватить, — всяко бывает с людьми. Но с Терентием Петровичем ничего этого не бывает. Пьет он очень редко — раза два-три в год, но пьет как следует, крепко, по-настоящему, и случается это только в праздники. К середине такого праздничного дня ноги у него еще вполне подчиняются голове, но уже начинают отчасти с нею спорить. В это время он обязательно одет в черную суконную пару, обязательно при галстукe, ботинки начищены до блеска, — но все равно костюм ему чуть великоват и ботинки — тоже.

В колхозе «Новая жизнь» в такие дни не только наблюдают Терентия Петровича, но и группами сопровождают его, останавливаясь невдалеке, когда он останавливается. Больше того, иногда он даже обращается к собравшимся с короткой речью. А кто увидит в окно Терентия Петровича в таком состоянии, восклицает: «Петрович в обход пошел!», после чего выскакивает на улицу и присоединяется к сопровождающей его группе.

В тот день, о котором пойдет речь, Терентий Петрович, заложив руки за спину, сначала обратился к собравшимся:

— Товарищи! Не такой уж я хороший человек и не такой уж вовсе плохой. Точно. Но когда крепко выпью, то тогда...— он поднял палец вверх, покрутил им над головой,— только тогда, товарищи, у меня ясность мысли и трезвость ума. Точно говорю!

Язык у него не заплетался, даже наоборот — говорил Терентий Петрович четко, громче обычного, но речь складывалась совсем не такой, как всегда. Это был уже не тихий и скромный прицепщик: что-то смелое и сильное звучало в нем. Он повернулся лицом к хате, против которой остановился, и начал:

— Здесь живет Герасим Иванович Корешков. Слушай, Гараська!— Хотя около хаты никого не было, но Терентий Петрович обращался так, будто Корешков стоял перед ним.— Слушай, что я скажу! Тебе поручили резать корову на общественное питание. А куда ты дел голову и ноги? Унес! Ты думаешь, голова и ноги — пустяк? Три котла студня можно наварить для бригады, а ты слопал сам. Нет в тебе правды ни на грош! Точно говорю. Если ты понимаешь жизнь, ненасытная твоя утроба, то ты не должен тронуть ни единой колхозной соломинки, потому — там общее достояние. А ты весь студень спер, седогорлый лещий. Пожилой человек, а совести нет. Бессовестный!— заключил Терентий Петрович и пошел дальше, не обращая внимания на группу колхозников, следовавших за ним на отшибе.

Позади него послышался негромкий разговор:

— Бегал смотреть на Гараську?

— Смотрел. Стоит в сених, ругается потихоньку, а не вышел.

— Не поздоровится теперь Герасиму от студня.

— Коровьей ногой подавится.

И немного спустя опять спросил первый голос:

— Интересно, куда теперь пойдет Терентий Петрович?

В прошлом году у Киреевых останавливался...

Но Терентий Петрович прошел мимо дома Киреевых и неожиданно остановился у Порукиных. Егор Порукин никогда не был замечен в воровстве, минимум у него давно выработан, поэтому остановка здесь была для всех интересной. Кто бы и что в колхозе ни натворил, народ рано или поздно узнает, хотя виновному и кажется, что все шито-крыто. Однако если о студне разговор по селу был настойчивый, то о Порукине никто ничего не слышал, и нельзя было даже подумать о чем-либо плохом. А Терентий Петрович стал в позу оратора, засунул руки в карманы брюк и заговорил:

— Здесь живет Порукин Егор Макарыч. Давно я хотел до тебя дойти, Егор Порукин, да все недосуг. Слушай меня, что скажу!

Егор Макарыч вышел со двора на улицу и, не подозревая ничего плохого, подошел к группе колхозников.

— Здравóво! Чего это Терентий у меня стал?

— А кто ж его знает, — ответило несколько голосов сразу. — Выпил человек — спросу нет.

Терентий Петрович, конечно, видел, что Егор Макарыч вышел из дому, но не обернулся к нему, а стоял так же прямо против хаты и продолжал:

— Нет, ты слушай! У тебя, Егор, корова — симменталка, дает двенадцать кувшинов молока. Хоть ты и говоришь «пером не мажу, а лью под блин масло из чайника», но, промежду прочим, на твои двенадцать кувшинов плевать я хотел «с высоты востока, господи, слава тебе!», как поется у попа. — Тут Терентий Петрович передохнул маленько от такой речи и поправил картуз. — Та-ак! Ни у кого в колхозе такой нет: пять тыщ стоит твоя скотина! А спрошу-ка я: откуда у тебя взялась она? Где ты такую породу схапал?

Вдруг Егор Макарыч решительно зашагал к Терентию Петровичу и, остановившись перед ним, сказал решительно:

— Уйди! — Широкоплечий, в синей праздничной рубашке и хромовых сапогах, он нахмурил брови, прищурил один глаз и сердито повторил: — Уйди, говорю! Плохо будет!

Но тут из кружка молодежи вышел тракторист Костя Клюев. Он стал лицом к Порукину, а спиной к Терентию Петровичу, повел могучим плечом и сказал басовито:

— Не замай, Егор Макарыч. Выпил человек — спросу нет.

Порукин смерил взглядом Костю и, будто убедившись в своем бессилии, плюнул и ушел к себе во двор, хлопнув калиткой.

А Терентий Петрович сначала обратился к Косте:

— Правильно, Костя. Действуем дальше! — Затем продолжал начатую речь: — Нет, Егор Порукин, ты будешь слушать. Так. Три года назад ты взял из колхоза телушку-полуторницу, а отдал в обмен свою. Это точно: в колхоз — дохлятину, а себе — породу. Хоть и поздно об этом узнали, но слушай. Ты за что тринадцатого председателя поил коньячком «три свеколочки»? Ты и Прохору Палычу такой напиток вливаешь. Думаешь замазать? Затереть? Не-ет, Егорка, не пройдет! Ты понимаешь, что этим самым мы колхозную породу переведем? У нас и так недодой молока, а ты махинируешь. Мошенник ты после этого, Егор! Точно говорю, товарищи! — заключил он и пошел дальше.

Молодежь, всегда такая шумливая и неугомонная, во время «обхода» вела себя смирно и тихо. Слушали внимательно, изредка переговариваясь или смеясь негромко. Иногда и нельзя было не засмеяться. Вот, например, остановился Терентий Петрович против хаты санитарного фельдшера (фельдшеров в колхозе трое и один врач). Остановился и ухмыльнулся. На крыльце стоял сам фельдшер Семен Васильевич.

— Приветствую, Семен Васильевич! — поклонился Терентий Петрович.

— Здорово, Терентий Петрович.

— Живем-то как?

— Помаленьку. Ничего себе.

— Ну, как: мухам теперь — гроб?

— Гибель. Смерть мухам! — серьезно ответил Семен Васильевич, а сам нетерпеливо то засовывал пальцы за пояс, то вынимал их. Человек уже в годах, больше пятидесяти, с добрым животом, а беспокоится: что же заставило Терентия Петровича остановиться при «обходе»?

— И комарей душить будем снова?

— Ни одного комара в живых. Малярия теперь — тютю! Поминай как звали! — пробовал шутить фельдшер, поглаживая рукой красновато-рыжие усы.

— Вот и я говорю: если вы есть врач-муходав или там, скажем, насчет душения комарей, то это тоже хорошо. Муха — она враг народного здоровья: где муха, там бескультурие. Точно. Муходав — это хорошо. Но только зачем же кот отравил, Семен Васильевич? А? Кот — живот-

ное полезное для домашнего хозяйства. Вы же сами читали лекцию, что кот — враг мышей, а мышь несет в себе... гу-ля-ре-мию. Так я сказал? Так. А сам отравил кота мушиным порошком. Нет, так нельзя!

— Так то ж нечаянно случилось. Есть, конечно, вина и наша, неосторожность... На кошкину пищу случайно попала повышенная дозировка.

— А кота-то теперь у меня нет! — воскликнул Терентий Петрович. — Сам-то я мышей ловить не способен.

— Я вам, Терентий Петрович, могу подарить очень хорошего котенка, — уже весело говорил фельдшер, видимо радуясь, что дальше кота дело не пошло.

— Благодарность за котенка! Не обижайтесь, Семен Васильевич! Человек выпивши, словам удержу нет. А что касается того, что вы лично с Матрены Щетинкиной взяли петуха, а с Акулины Степановны — окорок, а с Васильевны — гуся, жирного-прежирного, а Матрена Егоровна принесла вам за женские болезни миску сливочного масла, то об этом говорить не будем. В писании у попа так и записано два лозунга: «Дающая рука не оскудеет» и «Отруби себе ту руку, которая себе не прочит». Бабы действуют по первому лозунгу, а вы, значит, — по второму. Прошу извинения, Семен Васильевич! Об этом говорить не будем. Бывайте здоровеньки!

Семен Васильевич уже пятился задом к двери, шевелил усами, как таракан, бормоча:

— Невозможная личность, Прицепился, как... То есть, как это самое... Действительно невозможный. — И наконец он скрылся в сених.

Так Терентий Петрович обходил все село, останавливаясь против тех домов, где он считал нужным высказать критические замечания. Критиковал он действительно невзирая на лица и только там, где проступки заслуживали общественного порицания. Чаще всего о таких уже шептались втихомолку, но Терентий Петрович говорил вслух и громко, никуда уже нельзя было скрыться от невидимого суда народа. Около квартиры секретаря сельсовета он остановился и коротко обличил:

— Для советского человека — позор! Ты должен пример показывать, а сам по чужим бабам шляешься. У тебя же дитенок есть, маломысленный ты человек! Ты ж себе душу чернилом вымазал, беспутный! Слышишь, секретарь, чтобы этого больше не было. Ни-ни!

Бригадира строительной бригады он отчитал за то, что тот колхозными досками замостил полы в своем доме; за-

ведущую птицефермой уличил в растранижении яиц.

К вечеру Терентий Петрович, возвращаясь домой, заходил к хорошим друзьям, которых у него было множество, добавлял внутрь до окончательной своей нормы, целовал напоследок Костю Ключева и, выписывая кривую, продвигался помаленьку домой, где его ожидала жена — тихая и работящая, такая же скромная, как и муж ее в трезвом виде. Терентий Петрович старался идти вдоль линии телеграфных столбов или вдоль радиолиний. При этом он останавливался у каждого столба, стоял некоторое время, прислонившись спиной, затем нацеливался на следующий столб, мотал головой, еще раз нацеливался и говорил: «Дойду. Точно дойду. Ну, Тереша, смелее!» — и решительно направлялся к следующему столбу. Шел, конечно, не по прямой, но цели достигал и давал себе небольшой отдых. Так, короткими перебежками он и добирался до дому.

Утром Терентий Петрович вставал как ни в чем не бывало и отправлялся на работу точно к назначенному времени. Не подумайте, чтобы он выпил и на следующий день! Нет! Такого никогда не случалось. Не скоро выпьет теперь Терентий Петрович: может быть, даже через год. Но после этого дня в правлении появился Герасим Корешков и зашептал счетоводу, что-де принес деньги за «студень», а то все равно доймут — раз Терентий на «обходе» сказал, то доймут.

Егор Порукин, проходя мимо трактора в поле, спросил Терентия Петровича:

— Что же это ты на меня наорал вчера?

— Выпил, Егор Макарыч, выпил... Ничего не помню. Если не так, поправь меня, — скромненько отвечал Терентий Петрович.

Фельдшер, Семен Васильевич, вечером следующего дня принес серого пушистого котенка. Немного посидел, пока Терентий Петрович мылся после работы, а потом все-таки сказал:

— Зря, Терентий Петрович, вчера говорил. Ой, зря!

— Это о чем я говорил? О мухах — помню, а больше, убей, не догадаюсь.

— Ты-то забыл! А народ болтать будет.

— Ну так то ж народ, ему на роток не накинешь платок. А я-то при чем? Забыл, Семен Васильевич, — вздыхал Терентий Петрович. — Если чего неправду говорил, то меня же люди осудят, а если правду сказал, то колхозники и до меня небось знали. Тут и обижаться нечего. Мало

ли чего выпивший человек скажет? Хорошо скажет — слушай, нехорошо скажет — пропусти мимо уха. Да-а-а... А котеночек хороший... Ишь, ты, мяконецкий какой... Кс-кс-кс! Ишь ты!.. Это кто же — кот?

— Кот.

— Ко-от! Смотри-ка, какой ласковый... Кот?

— Кот, — в сердцах ответил фельдшер.

— Да-а... Кот, значит. Может, вы со мной, Семен Васильевич, борща покушаете? С баранинкой борщочек-то.

— Спасибо. **Поужинаа.**

— А я вот только собираюсь покушать... Ишь ты, лезет на стол уже — умный кот. Кс-кс-кс!

Одним словом, у Терентия Петровича в обычной жизни хитринка была довольно тонкая. Но однажды случилось так, что ни хитринка, ни спокойствие не спасли его от нарушения правил агротехники: хоть чуть-чуть, а нарушил.

Было это в первый день весеннего сева. С утра Терентий Петрович притащил ящичек с разными мелкими запасными деталями к тракторным сеялкам. В ящичке были шплинты, болтики для сошников, жестяные задвижки к высевающим аппаратам, гаечные ключики разных размеров, кусочки проволоки, нарезанные по стандарту, заклепки, запасной чистик, масленка, три-четыре напильника и другие вещи, необходимые для работы прицеппщика на сеялках. Все это лежало не как-нибудь, а в соответствующих клеточках — отделениях, на которые разделен ящичек. Все трактористы знали, что Терентий Петрович очень любит порядок, и никто из них никогда не лез самовольно в его маленький склад. Если же Косте требовался, скажем, маленький гаечный ключик (большие-то у него были, а маленькие постоянно терялись), то он говорил:

— Терентий Петрович, разрешите «девять на двенадцать»?

Тот открывал свой ящик-склад, безошибочно, не глядя, брал с определенного места нужный ключ и подавал со словами:

— Утеряешь — не обижайся.

— Ну что вы, дядя Терентий!

— То-то же! Должен ты понимать, что мы через какой-нибудь копеечный шплинт можем полдня стоять в самое горячее время. А без такого ключика и вовсе беда. (Дать такое наставление Терентий Петрович считал необходимым.)

Но Костя Клюев, такой старательный и честный па-

рень, все-таки терял ключики — не держались в его крупных руках мелкие вещи. Так случилось и в тот день.

Терентий Петрович привинчивал свой ящик к раме селяк. Костя ладил что-то у трактора. Агрегат с двумя селяками стоял уже полдня в ожидании того, когда подсохнет почва и можно будет сеять. В поле было тихо, безветренно. В чистом, прозрачном воздухе черной точкой висел жаворонок и беспрестанно звенел. В другое время — в конце весны и летом — его не видно в мареве, а сейчас — вот он! — смотри, пожалуйста, и слушай.

— Во-он! Видишь? — показал Терентий Петрович пальцем на жаворонка.

— Во-он! — подтвердил Костя. — И птица же! Кроха, а не птица!

— Кажись, дунь на нее — и пропала. А ни один человек не обидит такую птичку. Ласковая птичка, веселая! — восхищался Терентий Петрович. — Ты только подумай: какую ни возьми птицу — она поет либо вечером, либо утром или, скажем соловей, — ночью. А эта — только днем, когда человек работает. Жаворонка — птичка такая, что ей цены нету. Человек целый день работает под ее песню. Вот, допустим, мы с тобой сеем. Ничего нам за трактором не слышать. И вот мы с тобой, скажем, уморились и стали на заправку или на обед, а она, жавороночка, тебе песенку и сочинит. И на душе от этого весело, и аппетит к работе повышается. Точно, Костя! Такая птичка — незаменимая в сельском хозяйстве. И она понимает, что человек ее любит. Если напал на нее коршун, то она куда, думаешь, бросается? Либо в селяку, либо прямо за пазуху, под ватник. Отличная птичка!

— Вот кукушка — тоже днем, ну какая-то она... не особенная.

— Кукушка — дрянь, лентяй птица. От нее в трудовой жизни никакой помощи, а так — чепуха птица... А эта — слышь? И сколько у нее ладов разных в голосе!

Они постояли некоторое время, прислушиваясь к жаворонку, и снова принялись за свое дело, но чуть не каждые десять минут Терентий Петрович отходил на несколько шагов от агрегата, пробовал ногами и руками почву.

— Не годится — сырая... Да когда же ты, матушка, поспеешь? — разговаривал он с землей. — Свой срок любишь. Ну ладно...

— Может, попробуем? — нерешительно спрашивал Костя.

— Здрово! Попробуем! Не видишь, что ли? Тут у са-

мого все нутро дрожит — сеять скорее, а раз нельзя, значит, нельзя.

Уже дважды приезжал бригадир полеводческой бригады, как из-под земли выростал на своем мотоцикле бригадир тракторного отряда, уже заезжал и директор МТС — волнение в поле нарастало по мере подсыхания почвы, но каждый из них, подходя к сеялкам, говорил вопросительно:

— Сыровато, Терентий Петрович?

— Нельзя, — отвечал тот. — Будьте спокойны, часу не упустим. — При этом он брал горсть земли, сжимал ее в своем маленьком кулачке, с силой бросал на пашню и говорил: — Видишь, не рассыпается? Вы не судите по дороге. Дорога, она высыхает много раньше. По дороге кати куда хочешь, а сеять — сыро. По нашей земле посеи так, то и никакого урожая не будет. Заклевет пашня черепком, хоть блины пеки. Так и называется наша почва — обыкновенный чернозем суглинистого механического состава.

Что и говорить, полное доверие Терентию Петровичу в трудовой деятельности! Отлично знает он прицепные машины и агротехнику, совсем не хуже участкового агронома.

Так-то оно так, но Костя ключик все-таки потерял. Терентий Петрович заметил это уже тогда, когда тот начал ковырять пашню всеми десятью пальцами и бурчать вполголоса:

— Или черт нечистый ключами стал питаться? Скажи, как провалился в землю! Сейчас вот держал в руках — и нету... Тьфу! — И ковырял землю уже огромным ключом, потерять который никак невозможно, разве только запахать плугом.

Терентий Петрович подошел вплотную и спросил:

— Я тебя предупреждал?

— Ну, вот, честное слово, сейчас держал в руках — и нету! Как в тартарары!

Присев на корточки и переговариваясь, они стали копать вдвоем.

— Вот тут ты стоял, — говорил Терентий Петрович, — вот тут завинчивал, а тут он и должен бы упасть.

— Тут, конечно. Не бывает же у гаечных ключей крыльев, не мог же он улететь! — восклицал Костя, разводя руками.

В этот самый момент легковая автомашина остановилась на дороге против наших сеяльщиков. Дверца

машины открылась не сразу. Видно, из кузова наблюдали за тем, как двое копались в земле. Терентий Петрович тихо, будто боясь, что его услышат из автомашины, сказал:

— Вставай, Костя!

— А ключик?

— Приметь место.

— Думаешь, секретарь райкома?

— Нет. У того машина зеленая, а эта черная. Зеленая часто в поле бывает, а эта — раз в год, в начале сева.

Они поднялись. Костя нагнулся над пускателем трактора, Терентий Петрович заглянул под шестерни сеялки: оба делали вид, что заняты подготовкой агрегата, искоса посматривая на автомашину. Вдруг дверца рывком открылась, и из машины сперва вылез, сгорбившись, главный районный агроном Чихаев, высокого роста и жирный, а за ним — не вышел, а выскочил как угорелый — товарищ Недошлепкин, в то время еще бывший председателем райисполкома и другом-попечителем председателя колхоза Прохора Палыча Самоварова. Чихаев остался около автомашины, а Недошлепкин поправил очки и решительно, как в боевое наступление, двинулся к сеялкам. Но, зайдя на пашню, прилип калашами к влажной почве, и одна из них соскочила с ноги. Не обращая внимания на трудности, он кое-как вдел ногу в калашу и, шлепая, приблизился к Терентию Петровичу.

— По какой причине агрегат находится в преступном простое?

— Сыро, товарищ Недошлепкин. Сеять нельзя. Заметьте, калашки-то липнут. Наши почвы...

— Что это за сырые настроения! Я думаю, немедленно сеять! — уже приказывал Недошлепкин. — Соседний район уже имеет пятнадцать процентов плана, а мы — четыре! Срыв! Полный срыв! Заводи трактор! — крикнул он Косте.

Костя, по неопытности в обращении с начальством, струсил и рванул ремень пускателя, и тот застрекотал пулеметной очередью, заглушая крик председателя райисполкома. Было видно, как Недошлепкин открывал по-цыплячьему рот, произнося указания, размахивая руками, но слов его не было слышно. Терентий Петрович спокойно стоял на подножке правой сеялки и ждал, когда замолчит пускатель. Наконец пускатель успокоился, и трактор запыхтел сосредоточенно, ровно и тихо. Тут-то и посмотрел Костя на Терентия Петровича. Тот отрицательно покачал головой,

давая понять, что никакого дела не будет: надо стоять.

— Товарищ Недошлепкин! Нарушение агротехники — это же прямое преступление. Почва не готова — сеять не можем. Мы ждем. Будьте покойны, часу одного...

— Что-о-о-о! Я — преступление? — Недошлепкин рванулся к кабине трактора, снова потерял калошу, поднял ее обеими руками и грозно спросил: — Как фамилия?

И крупный человек Костя, а ступевался.

— Ключ... Ключев Константин, — выдал он.

— Запишем! Примем меры! Как фамилия? — круто повернулся Недошлепкин к Терентию Петровичу.

— Климов, — спокойно ответил Терентий Петрович.

— Приму меры! Пожалее! Срыва плана не допущу! Вперед! Я полагаю — вперед! — И Недошлепкин поднял вверх калошу, как железнодорожник сигнальный флажок перед отправлением поезда.

Терентий Петрович резко повернулся к Косте и махнул рукой:

— Давай!

Сеялки поползли по сырой почве, накатывая ее катышками, примазывая дисками и оставляя семена незаделанными.

Недошлепкин сел в автомашину и помчался форсировать темпы выполнения плана, а Терентий Петрович, не отъехав и ста метров, велел Косте заглушить трактор и сказал:

— Ну, Костя, давай теперь заделывать семена ногами. Все равно стоять... Да оно, видать, только завтра и годится сеять.

Теперь они оба закрывали семена почвой, набрасывая ее носками сапог. Им стало скучно до невозможности. Сначала работали молча, а потом поругались.

— Ты зачем завел трактор? — со злобой шипел Терентий Петрович.

— А ты зачем махнул рукой, чтобы ехать? — басом, во весь голос кричал Костя.

— Если бы ты не завел, то я бы не махнул.

— А если бы ты не махнул, то я бы не поехал.

— Ты главная фигура — тракторист. Сказал бы: «Не поеду!» — и все тут, — наступал Терентий Петрович.

— Я тебя везу, — бубнил Костя, — а ты качество делаешь. Сам так говорил. Кто же главная фигура?

— Ты.

— Нет, ты, — упорствовал Костя.

— Ну, сей один, если я главная фигура. Сей!

— Буду и один сеять.

— Ну и сей! Пожалуйста, сей, сделай одолжение!

— А что ж, думаешь, не буду? Вот возьму да и поеду по сырой почве. В случае чего, скажу—Недошлепки приказал.

— Я тебе поеду по сырой! Во вредители колхозного строя хочешь идти? Иди, иди! Сей по сырой, маломысленный человек. Я тебе! — И Терентий Петрович подскочил к Косте.

Костя дернул головой, шапка его соскочила с головы, и вдруг... Терентий Петрович просветлел! Из-за отворота Костиного треуха выпал ключик «девять на двенадцать». Костя поднял его, отряхнул, дунул на него, вытер о засаленный ватник и, уже улыбаясь, сказал:

— Примите, Терентий Петрович. Сунул по рассеянности за шапку и забыл.

— Да тут отца родного забудешь,— смущенно поддержал Терентий Петрович, будто в утере ключика был повинен не Костя, а кто-то другой.

Несколько минут спустя они уже курили, сидя рядом на ящичке сеялки, и Терентий Петрович говорил:

— И что только может человек наговорить сгоряча!.. Как я тебя?

— Вредитель колхозного строя! — И Костя заразительно захохотал.

Терентий Петрович тоже захохотал и сквозь смех, подражая Недошлепкину, взвизгнул:

— Впере-ед! Я полагаю — вперед!

К вечеру они проехали пробный ход, и Терентий Петрович заключил:

— Завтра, часов с одиннадцати, начнем во весь разворот. Ну, Костенька, дожили до посевной. В грязь лицом не ударили. Выдержали.

— Факт.

Посевная прошла отлично, Костя Клюев дал самую большую выработку на трактор. Лучшего качества сева, чем у Терентия Петровича, нигде, конечно, тоже не было. Вскоре после посевной, накануне прополочной, созывалось районное совещание передовиков сельского хозяйства. Правление колхоза выделило делегацию, в которой первым по списку значился Терентий Петрович. Люди были подобраны самые передовые, в этом никто не сомневался, но встал вопрос: кому выступать от лица колхоза? Костя — хорош, но в ораторы не годится. Илья Семенович Ракин второе место занял после Кости, но голос хрипло-

ватый. Терентий Петрович разве? Все согласны, но... рост уж очень мал: станет за трибуной и — каюк! — скрылся из виду. Этого, конечно, никто вслух не говорил, но мысль такая витала у многих. Наконец бригадир Платонов сказал так:

— Думать тут нечего. Если Терентию Петровичу стать сбоку трибуны, то лучшего человека не найти. Голос, как у певчей птицы, тон знает, сказать умеет, лучше него никто не сложит.

Было это еще в те, теперь уже давно ушедшие в прошлое, времена, когда председателем колхоза состоял Прохор Палыч Самоваров. После заседания правления он просмотрел список делегатов, вычеркнул всех бригадиров — за «недисциплинированность» — и написал на углу «утвердить». Счетоводу он велел составить речь для Терентия Петровича и самолично ее поправил. Оратора вызвали в правление, и председатель изрек:

— Выучишь наизусть. Чтоб без запинки. Перед всем районом отвечаешь за колхоз и за мое руководство.

— Да я сам-то, может, лучше надумаю.

— Но, но! — пристукнул легонько по столу Прохор Палыч. — Бери пример с работников районного масштаба. Они как? Положит листок на трибуну, прочитает во весь голос, а потом уж смотрит на собрание. А ты что? Хочешь так прямо сразу и глаза лупить на всех? Не полагается. Я, Самоваров, установку тебе дал. Выполняй!

Терентий Петрович взял речь, свернул вчетверо, сунул в боковой карман и вышел. То ли ему не понравилось сочинение счетовода, то ли еще по какой причине, но перед самым отъездом он заявил:

— Речь читать не буду.

Это было уж чересчур, и Прохор Палыч вспыхнул. Делегаты уговаривали Терентия Петровича, но он упорно отказывался. Ходил задумчивый, иногда шептался о чем-то с Костей, ходил к Евсеичу и тоже шептался с ним, о чем-то секретничал с бригадиром Платоновым. И вдруг столь же неожиданно, будто у него созрело какое-то решение, заявил:

— Ладно, речь читать буду.

Сообщение открыл секретарь райкома Иван Иванович. Он хоть и новый в районе человек, но колхозники успели его полюбить за простоту, ум и прямоту характера. В своей речи он сказал, что у нас есть много таких колхозников, которые овладели машинной техникой, знают агрономию, совсем разучились плохо работать, что это новые лю-

ди — строители коммунизма, что это большие люди, что по своему труду они — вожаки масс. В числе других передовых колхозников он упомянул и прицепщика Терентия Климцова.

Терентий Петрович слушал и вспоминал, как Иван Иванович не раз заезжал к нему на сев и, не дойдя еще нескольких метров, уже здоровался:

— Привет Терентию Петровичу! — А потом подавал руку и спрашивал: — Как успехи?

— Двадцать пятый гектар добираем сегодня.

— Вот это да! Мне, Терентий Петрович, у вас, честное слово, нечего делать! Но, знаете, все-таки буду заворачивать. Мы ваш метод — заезды, засыпка семян на ходу, технический уход, часовой график — уже пропагандируем. Завтра к вам заедет корреспондент районной газеты.

Иван Иванович закончил свою короткую простую речь. У Терентия Петровича было радостно на душе. Он аплодировал вместе со всеми и вдруг увидел в президиуме Недошлепкина. Стало почему-то сразу скучно, и возникла жгучая потребность громко, на весь зал сказать о своем недовольствии.

В перерыве он подошел с Костей к буфету.

— По сто? — спросил Костя.

— Можно, — подтвердил Терентий Петрович, но скука его не прошла. Он угрюмо взял стопку, чокнулся с Костей, но пить не стал — задумался.

Костя опрокинул свою стопку, воткнул вилку в сардельку и недоуменно спросил:

— Ты что ж, Петрович?

Терентий Петрович ничего не ответил. Он оставался в задумчивости и слушал духовой оркестр, исполнявший вальс.

— Что с тобой? — участливо повторил Костя и, нагнувшись к его уху, прошептал: — Ты ж хотел как на «обходе»... Пей.

— Нет. Не буду пить, Костя.

— И говорить не будешь? — удивился тот.

— Буду.

— Так для смелости и долбани чуть... Сто — ничего не означает, а сил прибудет.

— Нет, не буду. Чую я в себе сейчас силу и без водки. Понимаешь, Костюшка... Не надо пить. — И Терентий Петрович уже открыто взглянул на своего молодого друга.

Костя заметил в его глазах какой-то сильный и смелый огонек.

— Не надо мне сейчас пить! — решительно повторил Терентий Петрович.

Они вошли в зал и заняли свои места.

— Слово предоставляется лучшему прицепщику района товарищу Климцову Терентию Петровичу, — объявил председательствующий, главный агроном товарищ Чихаев.

Терентий Петрович поднялся на сцену. Он стал сбоку трибуны и, держа перед собой заготовленную ему «речь», начал читать унылым голосом, без чувства и без выражения, что совсем на него не было похоже.

— «Товарищи передовики района! — читал он. — Товарищи руководители района! Исходя из соответствующих установок высших организаций и на основе развернутого во всю ширь соревнования, а также под руководством районных организаций и председателя колхоза мы одержали громадный успех в деле выполнения и перевыполнения весеннего сева на высоком уровне развития полевых работ и образовали фундамент будущего урожая как основу нашей настоящей жизни в стремлении вперед на преодоление трудностей и...» Ох! — вздохнул Терентий Петрович и посмотрел в публику. А раз посмотрел в публику, то потерял строчку. Но он, однако, не смутился, а честно объявил: — Потерял, товарищи... Ну, пушай, ладно. Я с другой строчки пойду. — И продолжал: — «Мы, передовики колхоза «Новая жизнь», под напором энтузиазма закончили сев в пять дней...» Ага! Вот она! Нашел! Та-ак... «В пять дней... И мы, передовики колхоза «Новая жизнь», обязуемся вывести все прополочные мероприятия в передовые ряды нашей славной агротехники и на этом не останавливаться, а идти дальше — к уборочной кампании в том же разрезе высших темпов. И мы, передовики колхоза «Новая жизнь», призываем вас, товарищи передовики нашего района, последовать нашим стопам в упорном труде». — Тут Терентий Петрович вдруг прервал чтение, посмотрел еще раз в публику и сказал: — И тому подобное, товарищи. А теперь я скажу от себя.

Кто-то зашипел в публике, и Терентий Петрович увидел, что Прохор Палыч Самоваров делает ему знаки, воспрещающие дальнейшее выступление. Председатель совещания призвал звонком к порядку и сказал, повернувшись к оратору:

— Продолжайте.

— Товарищи! — начал снова Терентий Петрович. — У нас совещание лучших людей. Мы должны и поделиться

опытом, и отметить недостатки. Я дам сперва наводные вопросы и буду на них отвечать. — Голос у него становился чистым, четким, взгляд — веселым и хитроватым. — Я спрашиваю: зачем нам понаписали вот эти шпаргалки? — Он потряс в воздухе «речью». — Ведь все читаем готовое, всем понаписали счетоводы. Или мы маломысленные люди? Это ж обидно, товарищи! (Зал загудел одобрительно.) Мне бы надо говорить о часовом графике на севе, а меня заставляют читать «последовать нашим стопам». Да на что они мне сдались, эти «стопы», прости господи! Отставить надо такую моду, товарищи. Это раз. Еще наводной вопрос к главному агроному товарищу Чихаеву: может ли председатель райисполкома нарушать правила агротехники весеннего сева? Может ли он заставить сеять по грязи?

Зал заволновался и слегка загудел. Недошлепкин потянулся было рукой к звонку, но Иван Иванович горстью захватил звонок и тихо придвинул его к себе, не отрывая, однако, взгляда от Терентия Петровича. Чихаев сначала покраснел, потом вспотел и уже не высухал до самого конца совещания. Он все же ответил на вопрос Терентия Петровича:

— Он, конечно, может, но не должен... То есть должен, но не может. Как бы сказать...

Недошлепкин был, видимо, доволен таким ответом. А Терентий Петрович слушал, подавшись вперед и оттопырив рукой ухо, и вдруг, выпрямившись, рубанул:

— Вы, товарищ Чихаев, были вместе с товарищем Недошлепкиным около моей сеялки. Почему вы даже не подошли к сеялке? Почему не запретили незаконный приказ районного начальства? Когда это самое кончится? Товарищи передовики! Каждый из нас — хозяин своего дела. Почему товарищ Чихаев не хозяин своего дела? Я, прицепщик, — хозяин, а почему Чихаев болтается по колхозам, как пустая сумка? Зарплату получил — и ни клоп в лысину. Нельзя так, товарищи! Нельзя! Партия требует от нас, народ требует отдать все силы на строительство коммунизма!

Последние слова Терентий Петрович произнес твердо и настолько убежденно, что гром аплодисментов заполнил зал и долго рокотал, то затихая, то усиливаясь вновь. Иван Иванович хлопал в ладоши так же сильно, как Терентий Петрович хлопал раньше ему. Но Терентий Петрович продолжал еще стоять около трибуны и наконец поднял руку. Аплодисменты стихли. Только Костя еще несколько

раз хлопнул дополнительно, но это никому не показалось неуместным.

— А вы, товарищ Недошлепкин,— звонко продолжал Терентий Петрович,— лезли ведь к агрегату по грязи, даже калошку свою утерjali и вынесли ее, несчастную, на руках! Вы что же думаете, мы после вас сеяли? Да нет же, не сеяли! И вы думаете, меня накажете? Нет, не накажете, точно вам говорю. С работы меня снять невозможно никак. А я спрашиваю: когда кончится такое? Когда мы перестанем для сводки нарушать агротехнику и понижать урожай? Это же делается без соображения. Точно говорю, товарищи: без со-обра-же-ния!

И снова аплодисменты сорвались, будто огромная стая голубей захлопала разом крыльями. Недошлепкин отодвинулся со своим стулом от стола президиума, потом подвинулся еще в сторону и таким манером скрылся от взглядов публики. Он, правда, тоже хлопал, но ладони его при этом не соприкасались. Если бы все вздумали так хлопать, то аплодисменты были бы абсолютно бесшумны. С Чихаева пот лил ручьями, он покашливал, смотрел то на потолок, то под стул и ерзал на стуле беспрестанно.

Когда Терентий Петрович спустился по ступенькам со сцены и зал притих, секретарь райкома встал и сказал:

— На вопросы, поставленные товарищем Климовым, я постараюсь ответить в конце совещания. Вопросы он поставил чрезвычайно важные. Но сейчас скажу одно: спасибо вам, Терентий Петрович! За правду спасибо! Райком партии вас поддержит.

И снова зал аплодировал так же сильно.

Вот как выступил Терентий Петрович! И ведь ничего не выпил — ни грамма! — а заговорил полным голосом перед делегатами большого совещания,— на весь район заговорил!

Ну и Терентий Петрович!

Тугодум

Удивительный случай произошел в колхозе «Новая жизнь». Никогда такого не было. У председателя колхоза Петра Кузьмича Шурова в кабинете оказались на столе четыре горшка молока, миска сливочного масла, накрытая чистой полотнянкой, две пустые базарные корзинки и коромысло.

— Чей это маслобойный завод? — спрашивал он, улыбаясь, у бригадира Платонова.

— Не ведаю, — отвечал тот и брал в руки коромысло, рассматривая его внимательно. — Метки никакой нет.

— Не из твоей ли бригады? — переводил взгляд Петр Кузьмич на Алешу Пшеничкина.

Пшеничкин щупал корзинки, заглядывая внутрь, исследовал горшки, недоуменно разводил руками и, в свою очередь, спрашивал:

— Кто принес-то?

— Ребятишки. Около дороги в траве нашли.

Петр Кузьмич поспрашивал еще кое-кого, подумал и решил вывесить объявление о находке.

Счетовод Херувимов написал объявление тонко, с хитрецей:

«Объявление»

Июня двадцатого дня найдено нижеследующее продуктивное имущество:

1. Горшков с молоком: штук — четыре.

2. Мисок сливочного масла (зеленая): штук — одна.

3. Корзинок базарных, наполненных вышеупомянутым: штук — две.

4. Коромысло обыкновенное (без примет): штук — одна.

Заинтересованной личности обратиться к председателю колхоза. Во избежание прокисания все найденные восемь мест помещены на временное хранение в колхозный ледник до востребования».

Петр Кузьмич прочитал объявление, хитровато улыбнулся и сказал:

— Пусть будет так. А лучок попридержим. Интересно!

Килограмма два лука-репки он выложил из найденных корзин в ящик письменного стола и запер на ключ. В объявлении лук не значился. Бригадирам он почему-то тоже о нем не сказал.

Молва о находке распространилась по колхозу, обошла и поле и фермы. Перед вечером народ толпился около объявления, и каждый высказывал свои замечания. А Петр Кузьмич работал в своем кабинете и помаленьку слушал через открытое окно.

— Корзинок базарных... Коромысло обыкновенное... — прочитал Евсеич. — Так, так. Ясно дело, человек шел на базар. Кто ж бы такой это был? — спрашивал он не то у самого себя, не то у присутствующих.

— Разве Матрешка Хватова? — предположил конюх Данила Васильевич.

— Нет, та копнила сено на лугу. И сейчас там копят, — ответил Евсеич. — Главное дело, почему корзины поставлены в траву? Не иначе, тут конфуз какой-нибудь получился. Ясно дело.

Терентий Петрович Климов пришел позже. Он тоже прочитал объявление и спросил, обращаясь скромненько ко всем сразу:

— А может, Сидор Фомич Кожин?.. Нет, не он, у того в корзине должен быть обязательно лук-репка, а тут лук не обозначен. И вроде бы он был сегодня на работе. Был Сидор на работе?

— Был, — ответило ему несколько голосов сразу.

— Кто ж бы это мог быть? — совсем тихонько проговорил он.

— Терентий Петрович! — позвал из открытого окна Петр Кузьмич. — Зайди-ка ко мне на минутку по одному дельцу.

Терентий Петрович тщательно вытер ноги в сенях и вошел.

— А почему у Сидора Фомича должен быть лук? — спросил председатель.

— А потому, что, кроме него, никто до июня месяца не додержит прошлогодний лук. Он его впятеро дороже продает — полтинник за головку. Человек такой: в колхозе — легкую работу, а дома — до поту.

— А если в корзине лук?

— Тогда — он.

Петр Кузьмич поманил к себе Терентия Петровича и отодвинул ящик письменного стола. Терентий Петрович как глянул, так и воскликнул:

— Он! Точно говорю, он. Тугодум — по прозвищу.

— Так, так. Теперь надо выяснить обстоятельства, при каких все это оставлено в траве. Придется послать за ребяташками.

Через некоторое время у двери кабинета председателя стояли двое ребят — Миша Сучков и Валька Силкин.

— Ну, иди! — подталкивал Валька товарища.

— Нет, ты иди первым! — пятился от двери Миша. Мальчик он был смиренный и способный, не озорник. — Ты натворил, ты и входи сначала.

Дверь открылась. На пороге стоял Петр Кузьмич.

— Давайте, давайте, ребята. Вы мне очень, очень нужны. Без вас тут вопроса решить нельзя.

Валька вошел и снял фуражку, попробовал пригладить вихорок на голове над виском, но вихорок не подчинился. Курносенькое озорное лицо с острыми глазами обратилось к окну так, будто пришел Валька по особому важному делу и ждет начала разговора.

Миша хотел сначала спросить, как взрослый: по какому, дескать, случаю вызвали, но шмыгнул тонким носиком, помялся на месте, держа перед собою в опущенных руках фуражку, и сказал:

— Пришли.

Петр Кузьмич улыбался одними глазами и смотрел на ребят. Было им лет по двенадцати, не больше.

— Вот что, ребятки, — начал он. — Все, что мы будем здесь говорить, должно остаться тайной. Ни один человек не должен знать о нашем разговоре. — Ребятишки навестились и смотрели уже прямо на Петра Кузьмича. — Первое дело: в каком классе учиться?

— В четвертом, — вполголоса, будто по секрету, ответили оба сразу.

— Хорошо — уже большие, можно доверить. А отметки как?

— Пятерки, — с достоинством ответил Миша.

А Валька молчал.

— А у тебя?

— По арифметике... тройка.

— Э-э! Как же это так?

Валька посмотрел на пол, увидел там сучок, потрогал его носком чувыка и не ответил. Миша счел бестактным молчание товарища и сказал:

— Он арифметику знает. Только на контрольной записал неправильно условие. Надо было: «Один паровоз вышел со станции А, а другой со станции Б», а он запи-

сал: «Паровоз вышел со станции А, а пароход — со станции Б». Пока он думал, на каком расстоянии встретился паровоз с пароходом, время прошло. Так, Валька?

— А тебя спрашивают? Лезет тоже, — недовольно проговорил тот. — А может, железная дорога была вдоль канала Волга-Дон? Ты почему знаешь?

— Так то ж задача, — возразил Миша.

— А канал — это тебе не задача?

— Ну не арифметика же?

— Ну и не лезь!

Спор заходил уже всерьез. Петр Кузьмич счел нужным прервать их.

— А теперь давайте о деле поговорим. Спорить нам нечего: и задачу надо записывать правильно, и на канале все может быть. Оба вы правы. — Ребятишки посмотрели друг на друга уже примирительно, а он вдруг спросил: — Как же вы нашли корзинки?

— В траве, — ответил Миша.

— Это ни о чем не говорит. Расскажите подробно: как шли, куда шли, за чем шли, кто встречался на пути. Все расскажите. Но чтобы после — молчок. Поняли?

— Рассказывай ты, Миша.

— Ишь какой! Ты же сказал: Сид... Ох! — встрепенулся Миша и испуганно посмотрел на товарища. — Ты и рассказывай.

— А кто сказал: давай отнесем корзинки в правление? Ты? Или кто?

— Ладно. Рассказывай ты, Миша, — обратился Петр Кузьмич.

— Ну... пошли мы с Валькой утром рано на подсолнух — дополоть свои паюшки.

— До солнышка, — добавил Валька.

— Идем себе и идем. Тут Валька и говорит: «Давай, — говорит, — сходим на речку, посмотрим наши верши, — может, рыба попалась».

— Нет, ты первый сказал: «Рыбки бы теперь поймать!», а про верши это я уже потом, после. Ты сказал: «Рыбки бы», а я сказал: «Днем опрыскиватель пойдет по подсолнухам, а дополоть надо раньше».

— А я-то тебе не говорил, что раз на работу идем, то не до рыбы? — спрашивал Миша. — Что я — лодырь, что ли?

— Ну и я не лодырь. Двадцать труднейшей имею.

— Похвалился! У меня двадцать три, а молчу.

— Ну, рассказывай ты, Валя, — сказал Петр Кузьмич,

всеми силами стараясь сохранить серьезный вид, хотя это было очень трудно.

— Пришли мы к мосту,— начал теперь Валька.— Видим: бежит с коромыслом Сидор Фомич. Бежи-ит, трусит-ит! Трух-трух-трух-трух... — Он немного помолчал.— Вчера же на наряде все ломали голову, как бы управиться с сеном и подсолнух дополоть — барометр на дождь пошел, — а он бежит на базар. Бежит себе, и ему не совестно.

— Это я сказал так: «Бежит себе, и ему не совестно»,— перебил Миша.

— Да ладно! — отмахнулся Валька.— Ну, шел он и все оглядывался. Мы и думаем: «Бессовестный! Люди — на работу, а он — на базар». Так ведь, Мишка?

— Так.

— Тут я и говорю...— Валька замялся, пристально посмотрел на Мишу, потом на Петра Кузьмича, и лицо его почему-то стало виноватым. Он понизил голос и совсем уже тихо сказал: — Говорю: «Давай корзинки отнесем в правление...» И...

— Стой, стой, Валя! Что-то тут немножко не так. Значит, отняли корзины? — будто ужаснулся Петр Кузьмич.

Миша подвинулся вплотную к Вальке и, слегка толкнув его локтем, сказал:

— Все равно, Валька, узнают. Раз по секрету разговор, то... Раз уж оба придумали, то оба и отвечать давай.

И вдруг Валька оживился, заволновался, вихорок его задрожал, и он быстро заговорил:

— Мы и думаем: «Давай вернем его на работу». Так, Мишка? — Тот кивнул головой утвердительно. — Поравнялся он с нами, мы ему и говорим: «Дядя Сидор! А бригадир сейчас поскакал на базар и говорит: «Поеду посмотрю, кто из симулянтов подрывает скирдование сена». Тут Сидор Фомич остановился и спросил: «Правда?» А мы и говорим: а председатель, мол, сейчас собирается ехать в город — линейка уже запряжена. Сказали мы так и вроде пошли на подсолнух, а сами сели в кустах. Постоял, постоял он и вернулся. Только прошел немного и опять стал. Он же думал как: на базар пойти — там бригадир, вернуться обратно — председатель на линейке встретит. Тогда он сошел в траву, поставил там корзины и пошел домой через сады. Ну, тут мы и говорим: «Давай отнесем в правление». — Валька вытер фуражкой выступивший пот и сконфуженно закончил: — Раз виноваты, то, значит, виноваты. Мы больше не будем.

— Теперь все ясно, — сказал Петр Кузьмич. Он серьезно посмотрел на ребят, встал, подошел к ним, положил ладонь на плечо Миши, потрепал легонько вихорок Вали и сказал: — Я никому не скажу. Но вы больше так не делайте. Не надо, ребята, обманывать. А рыбу ловите, вам ловить полагается. Идет сейчас рыба-то?

— Все больше — лишь, — ответил Миша.

— И плотва пошла хорошо, — добавил Валька. — Да все нам как-то некогда.

— Работа. Прополочная, — степенно закончил Миша.

...Все это я записал со слов самого Петра Кузьмича. В тот вечер, совсем в сумерках, мы сидели с ним вдвоем в его кабинете, и он рассказал мне о ребяташках и их находке. Свой рассказ он закончил так:

— А все-таки важно то, что Сидор Фомич шел на базар не с чистой совестью... Не пожелал встречи с бригадиром или с председателем. Это очень важно.

Мы уже собрались уходить, как в дверь кто-то осторожно постучал.

— Войдите, — откликнулся Петр Кузьмич.

В кабинет вошел Сидор Фомич.

— Добрый вечер! — угрюмовато поздоровался он.

— Добрый вечер! — приветливо ответил Петр Кузьмич. — Садитесь, Сидор Фомич.

Но Сидор Фомич не сел, а переминался с ноги на ногу, не решаясь начать разговор. Крепкий на вид, с украинскими усами, чисто выбритый, с редкой проседью в рыжеватых волосах, он сначала почесал висок, медленно повел плечами, легонько крикнул и без обиняков сказал:

— Значит, лук-то украли... В объявлении не обозначен.

— Так это ваше все? — будто удивился Петр Кузьмич. — Что же раньше не зашли?

— И зашел бы, да... народ тут кругом. Думаю, вечером схожу. — Он себя чувствовал явно неудобно: то рассматривал стены, то вдруг заглядывал в окно, хотя на улице ничего нельзя было разобрать в темноте. — Значит, лук пропал? А его там два килограмма — рублей на тридцать будет...

— Нет, не пропал. Жалеючи вас, я про лук-то никому не сказал. Все же неудобно: горячая пора в колхозе, а вы — на базар.

— А что ж тут такого? — возразил без особой силы Сидор Фомич. — Я к двенадцати часам дня был бы на работе. Как часы был бы.

— Выходит так — одни будут работать с утра, а другие с половины дня. Так, что ли?

— Продукция... — неопределенно произнес Сидор Фомич. — Огородное дело, как бы сказать, требует.

— А работать в колхозе?

— Мы работаем. Выполняем, как полагается. Сто пятьдесят трудодней за прошлый год имею. Но без овоща нам никак нельзя.

Удивительным мне показалось тогда, что Петр Кузьмич не возражал Сидору Фомичу, хотя можно было бы говорить и о производительности труда и о многом другом. Он только спрашивал:

— А так, между нами говоря, Сидор Фомич: рублей на сто с лишним будет продуктов в двух корзинах?

Тот прикинул в уме, посмотрел в потолок и изложил:

— Лук — тридцать. Молоко — двадцать. Масло — сорок пять. Да. Так примерно рублей на сто должно быть... Кому-то хотелось чужим добром поживиться, да, видно, помеха вышла. — Он даже улыбнулся и повеселел, но ненадолго.

— А как же эти корзины вы потеряли? — спросил Петр Кузьмич. — Интересно!

— Как бы сказать, допустим, я иду... — Он растерялся и искал выхода. — Вижу, что вроде бы облака пошли. И я, значит, иду... Да! Дай, думаю, за плащом вернусь. А оно вон что вышло.

— За плащом, значит?

— За плащом.

— Значит, облачка находили?

— Облачка. Находили.

Так и не сказал никаких особых речей председатель — все спрашивал да улыбался. Но Сидор Фомич, ссыпавши лук в мешочек, уходил потный и красный, как из бани, и вполголоса говорил:

— А работать будем. Как это так — не работать? Только овощ, он свое время знает. Без этого невозможно. И на базаре овощ требуется. Без этого нельзя.

Вскоре и мы с Петром Кузьмичом разошлись по домам.

Июньские ночи короткие: все кажется — вечер, а глядишь — уже полночь на дворе. Ночь была темная. Тучи плотно закрыли небо, и звезд не было видно. Изредка поодиночке падали капли дождя. В голове возник беспокойный вопрос: «Доскирдовали сено или нет?» И как бы в ответ сначала послышался девичий смех, потом говор лю-

дей, и вдруг, наперекор пасмурной погоде, грянула многоголосая песня:

*...Ка-алинка, калинка моя,
В саду ягодка-малинка моя...*

Кто-то на ходу притопывал, кто-то позванивал о косу в такт песне, под которую хорошо плясать. Люди шли с сеноуборки довольные, веселые, говорливые.

Скоро все стихло.

Земля запахла так, как она всегда пахнет перед дождем в июне. Тут и молоденький, от первых цветов гречишный медовый запах, и душистое — свежее-свежее! — сено, и такой ласковый душок крошки чабреца, даже подорожник, и тот пахнет по-своему. Все это то смешивается в воздухе, то поочередно вырывается струйками. Корни растений в такие ночи издают особый, какой-то прочный, могучий, богатырский земной аромат. Может быть, поэтому среди всех запахов настойчиво побеждает аромат земли. И кажется — земля дышит. А беспрестанный, ровный и напористый рокот тракторов один господствует над всем живым: больше никаких звуков. И если человек, хотя бы однажды, ощутил дыхание такой ночи, то она надолго останется в памяти. Но если человек с детства дышал этим родным и любимым, то никогда он не забудет, где бы ни был, куда бы ни привел его жизненный путь. Хорошо летом в темную ночь перед дождем!

Шел я медленно и думал о Сидоре Фомиче. Я очень давно его знаю, с первых лет своей работы. В бездонной степной темени ничто не мешало воспоминаниям, и передо мною вдруг поплыли прошедшие годы. Что только не вспомнит человек, проживший полвека!

И вот вспомнилось такое...

Было это в 1933 году. У Сидора Фомича корова обьелась дурной травы. Пришла из стада и собралась издыхать: живот раздуло бочкой, лежит, ноги вытянула коляями, язык вывалила, кричит... Беда! Кончается корова, а до ветеринарного врача — пять километров (тогда во всем районе было только два ветеринара). Жена Сидора Фомича побежала за бабкой Унылихой, единственной бабкой, оставшейся из всех бабок. Присеменила та бабка. Маленькую кружечку с водичкой принесла с собой. Держит она кружечку, как живого звереныша, в обеих ладошках и — вокруг коровы... Шепчет, крестится, водичкой сбрызгивает. А корова уже и ногами дрыгает, — пропащее дело!

Хозяйка с заплаканными глазами дергала корову за хвост и сквозь слезы говорила:

— Ну, вставай же! Вставай!

Сам Фомич растерялся.

— Что же это ты, Машка? А? Бросать нас хочешь, а? Пропадем! Машка!

Случилось мне в этот день проходить мимо хаты Сидора Фомича. Услышал я бабий вой, зашел во двор и увидел всю эту картину.

Сидор Фомич смотрел на меня остановившимися глазами. Брови у него поднялись, усы обвисли, а щетина на давно не бритом лице растопорщилась во все стороны иглами, картуз сбился на сторону и затащил за собой прядь длинных волос, завернувшись конопляной куделью. Лет ему было тогда не более тридцати, а видно — постарел он за эти минуты. Сначала он смотрел мне в лицо неподвижно, потом проблеснуло в глазах что-то вроде надежды, и он даже шагнул в мою сторону. Но вдруг махнул рукой, будто хотел сказать: «Ну, что там — агроном! Что он понимает по коровьим делам!» — и снова уставил взгляд на корову.

Жена его перестала плакать и смотрела на меня умоляюще. Еще молодая, русоволосая, с голубыми, блестящими от слез глазами, полнощекая, чуть курносенькая — видно, боевая бабочка, а сейчас вот потерялась вся и всхлипывает.

— Товарищ агроном! Поддыхает Машка-то. Как же?

Бабка Унылиха выплескала всю «святую» водичку и тоже растерянно прошамшила, держа пустую и бесполезную кружку костлявым пальцем:

— Трава такая есть, чертов волос называется. Вот и объелась. От нее и святая крещенская вода не помогает.

— Где паслась корова? — спросил я Сидора Фомича.

— На зеленях, — угрюмо, с недоверием ответил он.

— Тимпанит. Срочно надо прокол делать.

Незнакомое ли слово или уверенность, с которой я говорил, оказали действие — на меня смотрели с явной надеждой.

Терять времени никак нельзя было. Пока до врача доберешься, скотина подойдет.

— Дай-ка, Сидор Фомич, камышинку из крыши, — сказал я. — Да поскорее! — А сам нащупал пах у коровы, кольнул карманным ножиком и вставил в отверстие поданную камышинку.

Воздух из брюха пошел со свистом. Все молчали в вол-

нении и неведении. И только через несколько минут после того как корова шумно вздохнула, хозяйка бросилась ко мне:

— Голубчик, родимый! Да откуда тебя бог принес?

А Сидор Фомич поправил картуз, высморкался в сторону, потрогал усы и произнес:

— Наука... она, брат... Да-а.

Пробовал я, по молодости, объяснить, что тут особой науки и не требуется, и что есть даже простой инструмент — троакар, которым пользуются при тимпаните. Но эти «тимпанит» и «троакар» звучали так, что по лицу Сидора Фомича было видно: он и не собирался что-либо понять. Он только поддакивал и переспрашивал:

— Как говоришь — пантомит?

— Тим-па-нит.

— Ишь ты... А как этот; туракар?

— Тро-а-кар.

— Ну, где там! — уже весело воскликнул он. — Одно слово, наука.

Во время нашего разговора жена его юркнула в хату и вскоре вышла, держа в чистой тряпочке кусок сливочного масла. Она стала против нас и молча ждала окончания беседы. Корова тем временем стала ворочаться. Мы помогли ей подняться и заставили ребятшек гонять ее помаленьку по улице.

Сидор Фомич добродушно пригласил:

— Сядем давайте на скамеечку. Или в хату пожалуйте!

Сели с ним рядом около хаты, на лавочке. Хозяйка стала сбоку. Теперь Сидор Фомич стал уже совсем другим. Глаза у него, оказывается, острые, чуть прищуренные, усы он завинтил вверх, а лицо совсем повеселело. В расположении духа он сострил:

— Пантомит, пантомит, у Машки живот болит. — Но вдруг сразу помрачнел. — Да-а... Чуть было беда не стряслась. Спасибо вам! Никогда не забуду, во веки веков. Мы ведь к ней, к корове, большое уважение имеем... Кормилица... Без нее пропадешь. Да. Наука — она... сила.

— Вот, в колхозе, — сказал я, — десять коров в день так же, как у вас, заболели, а ветеринар приехал и всех спас. Там действительно наука. А вы, Сидор Фомич, до сих пор не в колхозе. Нехорошо.

Он был заядлым единоличником, хотя колхоз существовал уже три года. И никакая агитация на него не действовала. Таких было дворов десять в селе. «Не проши-

ешь мозги,— говорил председатель сельсовета,— тугоду-
ты». Пользуясь добрым расположением Сидора Фомича,
завел разговор о колхозе, пробовал убеждать. Помню,
оворил горячо, волнуясь, как и полагается молодому
гроному. Вдруг, среди моей речи, Сидор Фомич поднял
пальцы, провел ладонью вниз от переносья, отчего усы опу-
тились, и проговорил медленно, глядя вниз:

— Ты вот что, товарищ агроном... Сколько тебе пла-
тить за корову-то? А о колхозе... где-нибудь...

Ошпарил он меня этими словами так, что я ничего не
ашел сказать, кроме слов:

— Какой ты... тяжелый.

— Слыхал,— так же угрюмо проговорил он.— И туго-
дум — слыхал.

Жена его попятилась немного назад, спрятала кусок
масла под передник и ушла в избу, оглядываясь.

Стало еще обиднее, когда Сидор вынул пятерку и про-
гнул мне со словами:

— Спасибо. Во веки веков не забуду. Поверь.

Отходя от хаты, я обернулся и увидел, что Сидор Фо-
мич сидит полусогнувшись и держит пятерку в опущенной
вниз руке. Таким он и остался в памяти.

Хорошо помню, что Сидор Фомич вступил в колхоз од-
ним из последних. Он все присматривался, взвешивал и
чего-то боялся...

Дождь стал накрапывать настойчивее. Капли все ча-
ще падают на дорогу. Как начинается окладной дождь —
без грома, тихо.

В ту ночь я долго не мог уснуть. — Сидор Фомич не да-
вал покоя. Вспоминалось, с каким интересом он посещал
лекции по овощеводству и никак не хотел слушать о чем-
либо другом. Он спрашивал: «А будет там насчет ово-
щей?» Если же ему отвечали отрицательно, то говорил:
«Тогда мне и делать нечего». Потом возникло в памяти
заседание правления, где обсуждали вопрос о позднем вы-
ходе некоторых колхозников на работу и о раннем уходе
с поля на свои усадьбы. Многое вспомнилось.

Да. Давно я знаю Сидора Фомича, очень давно.

И еще припомнился разговор.

Совсем недавно Сидор Фомич работал с Евсейчем, ко-
торого одна ночная работа сторожем никогда не удовлет-
воряла. Работали они на воздушно-тепловом обогреве се-
мян гречихи. Дело это очень простое: вороши семена и

прогревай, чтобы тепленькими стали. Площадка для обогрева была вблизи агрокабинета. Я иногда выходил проверить, как идет работа, или наблюдал из открытого окна.

— Видишь, до чего додумались, — обращался Евсеич к Сидору Фомичу. — Семечко, допустим, живое, а не всхожее. А погрей его — и оно взойдет. Ясное дело — научность.

— А взойдет? — сомневался Сидор Фомич.

— Ясно дело, взойдет. Не первый раз такое делается у людей.

— Я еще не видал. Будет ли дело?

— И не обязательно надо видеть. Агрономия, она брат ты мой, знает, как оно там растет. И над землей знает и под землей знает. Я так думаю, что при коммунизме мы по сто центнеров зерна с гектара будем получать. А может, и больше. Ясно дело.

— Ну и загнул, Евсеич! Сто! Ты прикинь сперва, а потом говори. Я на своем огороде все по науке делаю, а вот даже чесноку по сто центнеров с гектара не получается. А ты — зерна сто.

— Чудак ты, Фомич! На Алтае уже было по сто центнеров пшеницы, сам читал.

— Чем же это я чудак?

— А тем, что на своем огороде все по научности делаешь, а тут не веришь, взойдет или не взойдет, будет или не будет по сто. Ясно дело, будет. Конечно, не сразу, а со временем.

— То-то вот — со временем. А кто его знает, как оно там будет со временем?

Он молча постоял в задумчивости, потом принялся снова за работу, но вскоре опять остановился и совсем неожиданно сказал:

— Маловато — полгектара.

— Это чего?

— Огорода, усадьбы.

Евсеич рассмеялся.

— А ты напиши по этому вопросу в Москву. Так, мол, и так: работаю на своем огороде столько же, сколько и в колхозе, и желаю иметь другой. Тут тебе сразу из центра бумага и придет: дать Сидору Фомичу два огорода. Пущай, дескать, пробует хрип гнуть, если забыл, как гнул когда-то. Пущай на него колхозники посмотрят. Ей-бо, так и напишут! А ты, значит, как получишь эту бумагу...

— Ну вот! Не может он без подковырки, — с досадой перебил Сидор Фомич.

— Какая же тут подковырка! — возразил Евсеич, и видно было, что он еле сдерживает смех. — Это ты будешь подковыривать лопатой, а рядом будут гусеничные да электрические над ухом: гр-рр, гр-рр! Копай лопатой два огорода, по полгектара каждый, копай, хоть облупись. Не возражаю.

Сидор Фомич молчал — видать, рассердился — и ворошил семена. А Евсеич долго смотрел на него и наконец окликнул:

— Сидор, а Сидор!

— Ну?

— Или у тебя портки колючие, что тебя от огорода не оттащишь? Сел — не отдерешь.

— Тьфу! — отплевывался тот. — И пожилой человек, а... Ну, как бы сказать, скребница, что ли. Дерет и дерет по коже.

— Ой, Сидор! Много нас с тобой драть надо. Ей-бо, много! Ясно дело, отдерут. Отдеру-ут!.. И такой станет человек чистый и... приветливый. — Евсеич вздохнул.

— А кто ж его знает... — нерешительно и уже примирительно произнес Сидор Фомич. — Может, и так...

Он задумался и продолжал работу молча.

Я поделился этими своими воспоминаниями с Петром Кузьмичом на следующий день. Он слушал внимательно, не перебивая, а потом сказал задумчиво:

— Сидоры Фомичи — это самый трудный участок работы. Таким скорее можно доказать делом, дойти словом до них гораздо труднее. Недаром прозвище ему — Тугодум. Колхоз должен выращивать столько овощей, чтобы колхозник не так дорожил своей усадьбой. Убежден, что это очень важно.

Мы долго сидели вдвоем. Прикидывали, высчитывали, записывали и, наконец, пришли к выводу, что колхоз может обработать не меньше сорока — пятидесяти гектаров огородных культур, не считая картофеля. Договорились начать это дело в нынешнем же году, если общее собрание разрешит сделать некоторые изменения в годовом производственном плане.

Петр Кузьмич не любит откладывать дела. В ближайшие дни он уже повез в район выписку из решения правления, в которой было написано: «Распахать за ольшани-

ком осоковый луг на площади пятьдесят гектаров под огс роды. Увеличить производство овощей в десять раз. Прс сить райсельхозотдел планировать ежегодно нашему кол хозу: лука — пятнадцать, чеснока — десять, капусты — двадцать гектаров. Организовать специальную овощную бригаду».

Перво-наперво Петр Кузьмич попал к товарищу Чихаеву — главному агроному райсельхозотдела. Тот долго читал бумагу, рассматривал, удивлялся, а потом, вздохнув, сказал:

— Зачем столько овощей? Обузу себе выдумали. Я считаю, что наш план достаточен. Раз мы областной план развертали — значит, он теперь будет стабильным. Овощей и на усадьбах колхозников хватит.

Так вот и сидели два агронома друг против друга Петр Кузьмич, председатель колхоза, и товарищ Чихаев который прожил за письменным столом двадцать с лишним лет и насчет планирования двух собак съел. Петр Кузьмич доказывал свое, а Чихаев — свое. Петр Кузьмич спорил, улыбаясь, а товарищ Чихаев сердился. Они не пришли к соглашению, и Чихаев в конце концов написал резолюцию: «Укрепляйте полеводство и животноводство согласно решениям вышестоящих организаций в которых об овощах не сказано». На словах он добавил:

— Хлопот полон рот, а будет ли доход? — И, очень довольный своим остроумием, вернул бумагу Петру Кузьмичу. — Все.

— Нет, не все, — сказал Петр Кузьмич.

— То есть как?

— К Ивану Ивановичу в райком схожу.

— Видите ли, — малость смешался Чихаев, — я приблизительно согласен... Я так и ставлю вопрос: будет ли доход? Если будет, то можно, а если не будет, тогда руководствоваться тем, что сама жизнь покажет, практика.

Петр Кузьмич хорошо понял Чихаева, но с секретарем райкома, Иваном Ивановичем, все-таки посоветовался и приехал в колхоз вполне довольный.

Вскоре он созвал заседание правления совместно с активом колхоза и пригласил Сидора Фомича принять участие в этом важном совещании.

Об организации овощеводства мне пришлось сделать доклад довольно обстоятельный. Дело для колхоза новое, требующее точных расчетов, учета затраты трудодней, внедрения механизации и так далее. Слушали все внима-

тельно. При обсуждении никто не возражал, а лишь уточняли, выясняли, вносили свои соображения. Только Сидор Фомич сказал так:

— Оно, конечно, хорошо. Слов нет — дело сурьезное. Только чеснок — штука то-онкая. Его же требуется с осени закладывать, накрывать сухим сыпцом, посадить точно, вовремя. Хлопотная штука! У нас в колхозе и на пяти гектарах овощей хромота идет, а тут будет пятьдесят. Может, подождать бы? Такое мое соображение.

— До каких пор ждать? — перебил Евсеич.

Они всегда спорят друг с другом, но никогда не порывают дружеских отношений.

— Ну, годик-другой, пока укрепится укрупненный колхоз.

— А укреплять чем будешь? Палочкой-поджидалочкой?

— Отказать в таком предложении, — подал голос и Терентий Петрович.

После прений высказался Петр Кузьмич.

— Три задачи решаются в этом вопросе, — сказал он: — обеспечение колхозников овощами, снижение цен на рынке, увеличение денежного дохода колхоза. Думаю, что общее собрание утвердит проект, предложенный докладчиком. — Должно он говорить не умел и перешел прямо к делу. — Сенокос у нас закончен, поэтому за ольшаником можно поднимать пласт, обработать его в пару, а с осени приступать к закладке чеснока и другим подготовительным работам. Овощную бригаду надо укомплектовать из колхозников, знающих это дело. Вношу предложение создать два огородных звена; звеньевыми назначить следующих товарищей: члена правления Федору Карповну Васину и Сидора Фомича Кожина — мастера по огородничеству. Если Сидор Фомич сумел усебя, то в колхозе ему никак невозможно дать плохой урожай. Придется, конечно, отвечать теперь и за общее дело, а не только за самого себя. Какие будут суждения?

— А как будет обстоять дело с коромыслом? — наметнул Терентий Петрович. — Насчет базарных дел как? С тех самых кувшинов так и идет по народу поговорка: «Кто — на работу, а кто — с коромыслом».

— Пусть он сам скажет, — ответил Петр Кузьмич. — По-моему, Фомич справится...

— У него свой огород — золотая левада. Некогда будет работать на колхозном огороде, — сказал кто-то из угла

А Сидор Фомич молчал. Крепко задумался он, очень крепко.

— Ну, как же решил? — спросил Петр Кузьмич.

— Дайте хоть немного подумать, — проговорил вполголоса Фомич.

— Сколько времени тебе на думки отпустить? — спросил Евсеич, перебирая пальцами клинышек бородки и усмехаясь.

Но Сидор Фомич не заметил ироний Евсеича и искренне ответил, глядя ему прямо в лицо:

— Ну, хоть бы... с недельку подумать надо.

Наступило молчание. Петр Кузьмич смотрел на Сидора Фомича внимательно, будто проник ему в душу и видел, что там у него творится внутри. В тишине слышно было, как тикают торопливые часы-ходики, которым ожидать не полагается — они идут и идут.

Сидор Фомич вздохнул.

В этом молчании послышался голос Терентия Петровича:

— Позвольте слово.

Терентий Петрович на собраниях говорил редко, больше подавал реплики, но после совещания передовиков уже иногда и выступал. Многие обернулись в его сторону, но по малости роста его не было видно, поэтому слышалось сразу несколько голосов:

— Выходи, Петрович, наперед!

— Давай на вид становись!

Терентий Петрович вышел к столу и тихонько, спокойно начал:

— Так, товарищи. Сидору Фомичу мы внесли предложение. Хорошо. А он собирается подумать с недельку. Выходит, если каждому из нас над таким делом думать по недельке, то получится развал колхозного строительства, а не путь к коммунизму. Точно говорю. — Сидор Фомич поднял голову и внимательно посмотрел на оратора. Они встретились глазами, и Терентий Петрович чуть-чуть повысил голос: — Помнишь разговор на сенокосе, Фомич? Помнишь! Ты что тогда сказал? Ты сказал, что тебе, дескать, при социализме жить хорошо. Ладно... Это правильно. А что ты сказал еще? — Терентий Петрович вдруг заговорил баском, подражая Сидору Фомичу: — «Мне коммунизм не к спеху. Мне и при социализме неплохо». Спорили мы с тобой? Спорили, подтверждаю. А что после того спора? «Подумаю!» — говоришь. Ладно, думай. Но только я скажу еще: значит, тебе твоя усадьба дороже все-

го на свете. Одна рука — в колхозе, а другая — на базаре. Вот какой вывод я тебе делаю.

Тут Сидор Фомич встал и заявил прямо:

— Не иначе — ты выпил.

Терентий Петрович шагнул к нему и, подняв лицо вверх, сказал вежливенько и так же спокойно:

— Давай дыхну! — И, не дожидаясь согласия,дохнул открытым ртом на Фомича.

— Тверезый! — удивился тот и сел.

— Да разве ж можно по такому вопросу пить! — отозвался Терентий Петрович. — Небось думаешь: «По какой причине он говорит?» Я отвечаю. Что ж, Фомич, слов нет, ты живешь вроде честно. Ты и чуть больше минимума выработал, но, — Терентий Петрович поднял палец вверх, вскинул бородку и раздельно произнес: — но ты сейчас — тормоз движения на данном этапе. Эх, Фомич, Фомич! И не один ты. Через то самое я и выступаю, а то молчал бы. Собственник ты, Фомич! Если ты хочешь понимать жизнь, то это самое — не лучше воровства. Точно говорю. — Терентий Петрович немного помолчал и вдруг воскликнул: — Не может того быть, чтобы у тебя и душа чесноком пропахла! Все ж мы тебя знаем — трудовик. Ну что ты всю жизнь упираешься? Тебя — вперед, а ты — обратно.

Сидор Фомич еще раз встал, и в голосе его послышалась просительная нотка.

— Ну, Терентий Петрович! — Он махнул рукой и сел, опустив голову.

— Слышь, Терентий! — заговорил Евсеич. — Ты что, не видишь, человек стронулся с места и без того? Должен понимать: это же не с глазу на глаз разговор, тут народ. — И в его словах прозвучало что-то теплое.

— Ладно, я кончил, — неожиданно сказал Терентий Петрович и пошел на свое место. А уже оттуда добавил: — Только ты подумай над моими словами. Вопрос серьезный, Сидор Фомич. Я тебе не для критики, я душевно сказал.

Петр Кузьмич спросил у присутствующих:

— Ну как же? Дадим Сидору Фомичу подумать?

На этот вопрос никто не ответил, но Сидор Фомич отозвался сам. Он сначала повел плечами, будто страживая какую-то тяжесть, поднял лицо к председателю и медленно, с расстановкой сказал:

— Что ж... два дня хватит. Послезавтра скажу.

Петр Кузьмич улыбнулся и заразил всех — все улыбну-

лись: дескать, сразу пять дней уступил... Только Сидор Фомич все ж таки снова вздохнул. Он даже оглянулся на сидящих, но, не увидев в глазах людей ничего похожего на злобу, потрогал усы и, кажется, улыбнулся тоже. А может быть, мне просто показалось.

С совещания мы шли вдвоем с Петром Кузьмичом. Шли некоторое время молча. Он заговорил первым.

— Я был неправ, Владимир Акимыч,— сказал он, за-
ключая вслух какую-то свою мысль.

— В чем?

— Можно и до Сидора Фомича дойти словом, но только надо уметь найти это слово. Вот Терентий Петрович нашел. И Евсеич всегда находит. А я нет... Наверно, слово это должно быть точным и правдивым, как у Терентия Петровича, и душевным, как у Евсеича.

— Ты, Петр Кузьмич, делом доходишь лучше.

— И все-таки этого мало,— задумчиво проговорил он.
Мы попрощались.

«Найдешь ты и слово! — думал я.— Не такой ты человек, чтобы не найти».

Один день

Ранним утром в деревне тихо. Птицы в это время еще молчат. Звук тракторов еще не слышно: они на техническом осмотре и заправке горючим после ночной смены. И такая тишина стоит, что кашляет кто-то в километре, а слышно.

Накатанная дорога тянется ровными автоколеями посреди широкой улицы и кажется чисто подметенной. Грач-одиночка по-хозяйски идет по дороге и что-то высматривает, изредка клюнет потерянное зернышко. Теленок бредет по улице и суется к каждому предмету: о дерево почешет шею, о забор потрется боком, у яруса строительных бревен обнюхает торец сосны и лизнет его, постоит немного и плетется дальше. На грача он смотрит долго и внимательно, с каким-то не то недоумением, не то любопытством. А грач будто и не заметил потомка лучшей в колхозе коровы — прошел мимо сосредоточенно и деловито: у раннего грача-разведчика хлопот много.

А больше никаких видимых признаков жизни на улице пока нет.

Еще не сошел с неба, на западе, серовато-мутный налет, но зарево на востоке уже возвещает о близком восходе солнца. И все живое молчит. Все ждет солнца, не нарушая тишины. Только разве петух на ферме спросонья прогорланит и захлебнется, будто подавившись; собратья отвечают ему нехотя и лениво: рассвело и без нас, дескать. И снова тихо, тихо.

Но вот знакомый звук зашевелил тишину: автомашина, груженная мешками семян, выползла из-за угла зернохранилища, выправила на дорогу, набрала скорость и заиграла теленку. Тот повернул мордочку, стал попрочнее посреди дороги, наблюдая, что будет дальше. Конечно, машине дорогу он не уступил: видели, дескать, мы тебя на ферме — не удивительно! Пришлось шоферу аккуратно объехать упряжца.

— Лена, — слышался негромкий голос с фермы. — Шалопут опять ушел. Не видела?

— Во-он! По дороге плетухает, — ответил второй женский голос.

Девушка в белом халатике показалась со двора и направилась к теленку, беззлобно разговаривая с ним на ходу:

— Опять удрал, Шалопут? Ну иди, иди, горе мое!

И снова тишина. Зарево на востоке все краснее и ярче. И жизнь становится живее и живее. С ведрами прошла к колодцу женщина. Конюх потихоньку вывел на проводку жеребца-производителя; тот заржал голосисто и призывно, и ему ответил голос молодой кобылицы. Тихой, развалистой походкой прошел во двор пожилой колхозник с кнутом в руках. Все движутся медленно спростонья, а говор — несмелый, тихий. Только где-то вдали крикнул пастух, выгоняя коров на первые выпасы:

— Куда пошла-а? — и щелкнул кнутом, рассекая тишину.

Никто пока не спешит.

Но вот... лопнула тишина! Раскололась вдребезги на мелкие звуки. Застрекотал пронзительной пулеметной очередью пускач дизельного трактора, и звук его забарабанил по селу, несколько минут тормозил хаты, позвякивая в стекла: и трещит, и трещит, и трещит. Так же сразу он умолк, вслед за ним слышались сначала спокойные вздохи, а затем и ровный рокот дизель-мотора. Вот и еще такой же пускач рассек воздух, и снова уже другой дизель заговорил баском на все поле. Веселым перебором ворвались в общий рокот колесные тракторы ХТЗ.

День колхоза «Новая жизнь» начался. Ездовые заспешили во двор. Плотники застучали, запилили, и звуки топоров, застревая в общем потоке рокочущей волны, то терялись, то возникали снова. А веселое весеннее солнце взошло и брызнуло на колхоз чуть теплыми лучами.

Для меня этот день начался неплохо. Мне необходимо было провести в бригаде Митрофана Андреевича Каткова весь день. И я решил пораньше найти бригадира: днем трудно поймать его в поле на громадном массиве бригады в тысячу гектаров. Встретились мы в воротах бригадного двора.

— Доброе утро! — поздоровался он.

— Доброе утро!

— А я домой: на завтрак.

— Что так рано? Солнце встает, а уже и завтрак.

— У меня заправка такая: наряд — вечером, ранним утром — во двор, а потом — в поле, на весь день.

Мы договорились о плане наших поездок по полям.

Вдруг ни с того ни с сего он взял меня за локоть и спросил:

— А ну-ка, Владимир Акимыч, скажите: что есть блин?

— Блин? — удивился я.

— Да, блин. Не знаете? Блин — залог здоровья. Солнце, воздух, вода и... блин! — Он весело расхохотался. — Пошли ко мне, зоревой завтрак учиним. Попробуете, какие блины умеет сотворять моя хозяйка. Пошли, пошли!

Я пробовал отказываться, упирался. Но где там! Он стал против меня, взял за пуговицу ватника и молча улыбался шустрыми черными глазами. Не пойти было невозможно. Мы зашагали рядом.

— Значит — залог здоровья? — переспросил я.

— Именно. Эх, сколько этих блинов поедается всем колхозом! Уму непостижимо. Есть у меня в бригаде Прокофий Иванович Филькин. Вы-то его знаете хорошо. Так вот он умеет есть блины. Отлично умеет. Пригласила его как-то теща в гости: приходи, дескать, Проша. «С нашим, говорит, удовольствием, мамаша». Навела она добрую дежу теста и стала его кормить, Прокофия-то. Стал он есть. Только блин со сковороды, а он его трубкой — раз! — в сметану и в рот целиком. Раз! — и в рот! Раз! — и в рот. Она печет, а он на лету поедает их. Раз! — и в рот. Раз! — и в рот. Дежа кончается: такая дежа, что пятерым хватило бы. Умаялась теща. Испекла она последний блин, сбросила со сковороды и говорит: «Ух! Как и не пекла!» А Прокофий Иванович-то вытер пот рукавом и отвечает: «Э-хе-хе! Как и не ел!»

Я рассмеялся. Митрофан Андреевич тоже. Трудно поверить, что вот этому веселому, не по летам молоджавому человеку сорок два года, что он четыре раза ранен во время Отечественной войны, что на его плечах тысяча гектаров земли и двести человек и что сейчас разгар весеннего сева.

Мы подошли к дому Каткова. Это не просто хата, а четырехкомнатный домик, крытый железом, с аккуратным палисадничком. Из трубы тянулся легкий дымок. А когда взошли на крыльцо, то запахло и блинами.

— Фрося! — приветливо крикнул хозяин, входя в комнату. — Двоем пришли завтракать.

— Пожалуйте, — ответила она. — Мне хоть еще двое. Хватит.

Мы помыли руки и уселись за стол. Катков шутил:

— Не знаю, как оно там по медицине, но если я с утра упакую дюжину блинчиков в полный диаметр сковороды

да закантую поясом, то целый день хоть бы что. Правильно, Фрося?

Ефросинья Алексеевна, наливая блин на вторую сковороду, ответила:

— Хвастаешь! Больше семи блинов не съедаешь.

— Ну, уж и нельзя лишнего прибавить.

Ефросинья Алексеевна улыбнулась и положила горячий блин на чистое полотенце, разостланное на столе.

Запах подрумяненного круглого и пышного блина заполнил всю комнату. Ну и запах! Недаром же вся улица пахнет блинами там, где их пекут. Опустись такой блин в миску со сметаной, положишь его в рот, а он так и дышит во рту! Вот уж действительно настоящие блины, какие не каждому доводилось есть. Отличные блины!

Шипела сковорода. Потрескивало в печке. Хозяйка стояла к нам вполоборота, опершись на чаплик. Голова ее была повязана голубенькой, с цветочками косынкой; лицо уже покрыл легкий весенний загар. Она первая прервала молчание:

— Я ведь, Владимир Акимыч, насилу приучила его питаться, — она указала на мужа. — Бывало, вскочит чуть свет, схватит кусок хлеба за пазуху и бежит. Теперь наладился. Вы ему не верьте, когда он о себе говорит. Я-то его знаю. Пришел вот завтракать, будто только и день у него начался, а сам на рассвете уже и в тракторный отряд на мотоцикле съездил, и на ферме побывал, и наряд проверил.

— Уважаемая Ефросинья Алексеевна! — строго-шутливо обратился к ней Митрофан Андреевич. — Не переходите на личности: аппетит понижается.

Позавтракали мы отлично. Вымыли руки. Я поблагодарил хозяйку.

— Мне-то куда сегодня? — спросила она у мужа.

Митрофан Андреевич схватился за голову обеими руками и воскликнул:

— Прорыв! Развал бригады! Гроб дисциплине! Своей жене забыл наряд дать. Подскажи, пожалуйста, сама. Не на огороды ли? Точно: туда.

Жена улыбнулась спокойной улыбкой.

Мы вышли. На крыльцо медленно поднялся нам навстречу отец бригадира, Андрей Петрович. Волосы у него совсем белые, как молоко; борода подстрижена аккуратно, лопаточкой, а волосы — в кружок. Сразу видно — опрятный старик. Без малого девяносто лет у него за плеча-

ми, но видит и слышит еще хорошо и не может не работать.

— Здравствуйте, Андрей Петрович!

— Здравствуй, детка! (Всех, кому меньше шестидесяти, он называет «детка».) А я вот утречком-то в огорожке покопался. Я люблю — утром. — Он присел на лавочку. — Все торопитесь. Весна. Хорошо — весна. Торопиться надо. Только вот не пойму одного: зачем перекрестный сев. Для какой радости два раза по одной пашне ездить вдоль и поперек: туда — полноремы семян, сюда — полноремы? Ну ладно, пускай урожай выше на полтора центнера, но узкорядный-то так же дает, как и перекрестный. Вот и делали бы узкорядные сеялки, а не гоняли тракторы вдоль и поперек. А то, вишь ты, — обратился он к сыну, — в одном месте не начинал сеять, — теряешь половину урожая, — а в другом — взад-вперед, вдоль-поперек, вдоль-поперек! А гасу-то, гасу сколько попалят!.. Сколько раз я тебе, Митроха, говорил: «Брось ты эту затею! Не может быть того, чтобы наука гоняла тракторы туды-суды». Узкорядные — надо: один раз сеять по одному месту.

— План есть на перекрестный сев, папаша. План надо выполнять.

— «План, план»... Заладили, как сороки на суку. Ты, Митроха, смотри за этим, — на то ты и партийный. Значит, если план подходящий для колхоза и государства, то делай, а если неподходящий — плюнь! Аль напиши им туда. — Дед махнул рукой вверх туда, куда, по его мнению, следовало писать. — Право слово, верно говорю, — обращался он уже ко мне. — Мне и то доходит, а вы должны душой болеть. Ишь ты! Вдоль-поперек, вдоль-поперек!

— Андрей Петрович, — сказал я, — пока нет узкорядных сеялок, надо сеять перекрестно... Урожай надо повышать.

Он, задумавшись, смотрел в пол и сразу же согласился.

— Пожалуй, так. А насчет узкорядных напишите туда... Блинков-то поели? — по-стариковски перешел он вдруг на другую тему.

— Сыты, папаша.

— Блинки — это хорошо. После них человек делается прочный, тугой. Ходит себе день-деньской, до самого вечера... Ну, идите. Торопитесь, неугомонные, торопитесь! — И он, покряхтывая, направился в хату, но в дверях сеней повернулся к нам и сказал: — Митроха! Денька через два, а может, и завтра, дождик должен быть. Налегни на сев-то.

-- Вот тебе на! Гляну на барометр, — забеспокоился Митрофан Андреевич. Он ушел в хату и тут же вернулся. — Давление падает.

— Ты на свою машинку смотри не смотри, а на днях дождю быть, — сказал Андрей Петрович.

— Как же это вы, Андрей Петрович, узнаете об изменении погоды? — спросил я.

— Э-э, детка! Давно уж я живу-то. По всем приметам узнаю. Ласточка идет низом, значит — мошка летит низом. Это — раз. (Он загнул костлявый палец.) Курица обирается носиком — перо мажет жиром. Это — два. (Он загнул еще один палец.) У курицы, значит, шишка такая над хвостом — жировая... Свинья тоже чует: тело у нее зудит, чешется она, солому в зубах таскает. Животная, она чувствует. И человек чувствует. Только иной замечает, а иному наплевать... И в сон ни с того ни с сего клонит, и если по старости, кости ноют, и волос на голове не такой делается, и спина — того...

Андрей Петрович загнул уже несколько пальцев, а Митрофан Андреевич нетерпеливо посматривал на меня и будто говорил глазами: «Разошелся папаша, а времени у нас нет». Однако вслух он, обращаясь ко мне, заметил:

— Точно узнает папаша: живой барометр.

— И лебеда тоже вот хорошая примета, — продолжал загибать пальцы Андрей Петрович. — Как с низу листочков слезки пойдут, так и смотри другие приметы. Если все приметы сходятся, то уж хочешь не хочешь, а дождю быть... Примет этих много, детка. Много. — И он ушел в сени, так и не разогнувши пальцев, будто еще вспоминал приметы и собирался отсчитывать их на пальцах. Из сеней все еще слышался голос старика: — Дым, примерно, низом стелется, в трубу плохо тянет — тоже к дождю. Солнышко в тучи садится — жди мокрости. Много примет. Много. И все правильные.

Мы сошли с крыльца.

— Теперь минут на десять завернем во двор. Могут оказаться отставшие, надо их подтолкнуть, — сказал Митрофан Андреевич и ускорил шаг. — Громадный опыт у папаша, — продолжал он на ходу. — Интересно, почему ученые метеорологи не дадут научных объяснений народным приметам? Люди тысячи лет примечали: не можем же мы выбросить эти наблюдения.

— Практически мы их и не выбрасываем, но объяснить, конечно, надо бы метеорологам, — согласился я.

Войдя в ворота бригадного двора, мы увидели двух кол-

хозников. Один из них, Витя-гармонист, осматривал колесо, а второй, тот самый Прокофий Иванович, запрягал лошадей. Митрофан Андреевич как-то сразу помрачнел и направился прямо к ним.

— До десяти стоять будете? — спросил он строго.

Витя-гармонист — с пышным чубом, в клетчатой кепке, заброшенной на затылок так, что, казалось, вот-вот она упадет, — ухватил рукой обод колеса брички и потряс его.

— Обратите внимание, Митрофан Андреевич: рассохлось. Разваливается. Виляет по дороге восьмеркой. Не колесо, а вальс «Разбитая жизнь». Не по моей вине задержался — ишу колесо.

— А почему допустил до этого? Ты ездовой. Разве раньше не видел, что колесо надо перешиновать? Тебе что: няньку на бричку надо?

Митрофан Андреевич засыпал Витьку вопросами так, что тот не сумел ничего ответить и стоял, вытаращив свои большие голубые глаза, будто недоумевал и собирался сказать: «А ведь и правда — я виноват! Как же это я так?» Но он ничего не сказал в оправдание, а только привел широкую кепку в надлежащее положение и спросил:

— Ну, а сегодня-то как же?

— Сегодня получишь штраф в один трудодень за халатное отношение к колхозному имуществу. Третий раз уже тебе замечаю, теперь придется штрафовать. Колесо возьмешь новое. Отправишься немедленно в поле. Завезешь в кузницу старое колесо... Эх, ты!.. «Разбитая жизнь»!

— Ну, во-от! Скорей уж и штраф. Безо всякого подхода. Я человек старательный, а ко мне безо всякого убеждения. Возражаю.

— Уже третий случай с тобой. Хватит. Убеждал, убеждал, а ты теперь и с колесом допустил. То постромку потерял, то на «Разбитой жизни» едешь.

Витя немного подумал и сказал:

— Исправлюсь. Клянусь инструментом! — И он постучал по ящику с баяном, который стоял в передке брички.

Митрофан Андреевич посмотрел на баян, потом на Витьку, брови его вздрогнули, и в глазах появилась чуть заметная смешинка.

— Клянешься? — спросил он.

— Не повторяю. Сказал твердо. — Витя ткнул себя большим пальцем в грудь.

— Ладно. Но только — в последний раз. И, кроме того, музыка музыкой, но среди бела дня не баловать, а работать.

— Днем настроения быть не может.

— Что ж, ты играешь только ночью?

— Да, вечером или ночью. «Каприччио» разучиваю.

— И как оно?

— Получается.

— Вот с колесом только не получается.

— Проза, — возразил Витька и закинул ногу на ногу, опершись на бричку.

— Да ты что на одной ноге стал? Или думаешь до обеда стоять? Я с тобой уже пять минут потерял.

— Я что? Я ничего. Вы же сами музыкальный разговор затеяли.

— На́ ключ от сарая! Бери колесо.

— Момент! Один момент — и Витька будет в поле.

— Ну, куда побежал? (Витя с разбегу остановился и обернулся к нам.) Наряд возьми в кузницу. Колесо не прирут без него.

— Не учел. Есть наряд взять в кузницу.

Митрофан Андреевич развернул блокнот, положил его на грядущку брички и быстро написал наряд. Он подал листок блокнота Витьке, а тот ринулся в сарай, выкатил новое колесо и действительно моментально заменил старое и выехал со двора, снова забросив фуражку на затылок.

— Ох, Витька, Витька! Горе мне с тобой, — вполголоса сказал бригадир, глядя ему вслед. — Парень окончил семилетку, а места не найдет. В сельскохозяйственную школу отказался наотрез, в техникум ни под каким видом не хочет, а зарубил одно: в музыкальное училище. — Он помолчал. — Наверно, надо правлению хлопотать да определять его по музыкальной линии... Все равно уйдет сам. Ну, этот с большим талантом, — у него балалайка и та плачет... А все остальные тоже уходят. Как только окончил семилетку, так и до свидания: поминай как звали! Из всего колхоза один Петя Федотов агрономом будет, а другие — кто куда. Даже обидно: семилетка — в колхозе, а по сельскому хозяйству не учат. Только и знаний дают, как фасоль прорастает. С детства отбивают интерес от поля; выходит парень из семилетки и ни бельмеса не соображает ни в полеводстве, ни в животноводстве, ни в технике сельского хозяйства. — Митрофан Андреевич с досадой стукнул блокнотом о ладонь и заключил: — Честное слово, напишу в

эка партии по этому вопросу. — Вдруг он спохватился и янул на ручные часы. — Уже больше десяти минут тор-м здесь, а он все запрягает, — и кивком головы указал на Прокофия Ивановича.

Прокофий Иванович — мешковатый, на первый взгляд, чный мужчина лет пятидесяти, с круглым красным вы-ритым лицом — медленно обходил вокруг брички. Он зуклюже переставлял мощные ноги и ощупывал колеса, остромки, поправлял хомуты, трогал вожжи. Все как удто бы было в порядке, но он снова принимался про-матривать, ощупывать, что-то прилаживать и поминутно аким-то полусонным голосом говорил:

— От ты, елки тебе зелены!

— Что он медлит? — спросил я потихоньку у Митро-ана Андреевича.

— Ему стронуться с места труднее всего на свете.

— А вы пошевелите его построже.

— Этого нельзя. Я его отлично знаю: растревожь с у-а, так целый день будет мучиться. Но уж если начнет ра-ютать, то... В общем, сами увидите. — Однако Катков не ыдержал и двух-трех минут и обратился к нему: — Про-софий Иванович! Что у вас там?

— Хомут, — многозначительно ответил тот.

— Что — хомут?

— Не видишь: с Великана хомут.

— Великан захромал.

— Знаю — захромал... От ты, елки тебе...

— Ну?

— Что — ну? Другого коня дал конюх вместо моего.

Сам знаешь.

— Так что ж тут такого? И поезжайте.

— А?

— Поезжайте, говорю, быстрее: спешить надо. Потник под хомут вчера подшили, подогнали хорошо. — При этом Митрофан Андреевич потрогал хомут, засунул под него ладонь. — Хорошо сидит хомут. Не задерживайтесь.

— От ты, елки зелены! У меня лошади не парные, а я сломя голову скачи. Надо все проверить, приладить и... этого... Великана посмотреть. Ты посмотри сам: может, лечить надо, а я — уеду и не узнаю. А потом ты же и ска-жешь: Прокофий, мол, такой-сякой. — Говорил он все это будто нехотя, с расстановками, без жестов и, казалось, об-думывал каждое слово.

Наконец терпение бригадира иссякло.

— Да до каких же пор стоять-то будешь?

— Великана посмотри,— все так же невозмутимо отозвался Прокофий Иванович.

— Тьфу! — плюнул Митрофан Андреевич и, отвернувшись в сторону, сказал: — Веди Великана! Я и без тебя его смотрел и знаю, что с ним.

— А то при мне посмотри. Лошадь, елки зелены, любит хозяина. А я, елки зелены, должен целый день думать, что с моей лошастью.— При этом он, казалось, пытался сойти с места, но это далось ему нелегко.

— Да веди же лошадь! — слегка повысил голос Митрофан Андреевич.

— Что ж ты сердишься? Тут без никакого сердца. Лошадь за мной закреплена, я на ней пять лет работаю. Как это так: сел — и уехал? Лошадь, она, елки зелены... как бы, например, к человеку приставлена.

— Прокофий Иванович! Ей-богу, не выдержу! — воскликнул Митрофан Андреевич.

После этих слов Прокофий будто и чаще зашевелил ногами, но зато шажки стали далеко мельче и никакого ускорения не получилось — одна видимость. Наконец он вывел прихрамывающего Великана. Митрофан Андреевич поднял больную ногу лошади, зажал ее меж колен и заговорил, сдерживаясь:

— Плоское копыто. Намяла под стрелкой, ковать надо на войлок.

— Вот и я так думаю. Правильно.

— Подкуем завтра утром.

— Кто?

— Кузнец, конечно.

— А кто поведет?

— Конюх.

— Не-е! Я сам. Пиши наряд! Завтра чуть свет сам поведу в кузницу.

— Ох! — вздохнул бригадир. Он написал наряд и вручил его Прокофию Ивановичу.— Ну теперь-то все?

— Все,— утвердительно ответил тот. Он аккуратно сложил наряд вчетверо, положил в полинялую кепку, надвинул ее прочно и полез в бричку. Наконец тронул лошадей, но они, чуя характер ездового, тоже не спешили. И уже через десяток метров Прокофий Иванович вдруг остановил их: — Тпруу! Елки тебе зелены! — Теперь он сдвинул кепку легонько на лоб, почёсал затылок. Оглянувшись на нас. Посмотрел на лошадей. И потом снова — в нашу сторону и... продолжал стоять, пока не увидел мальчика у ворот двора.— Пашка-а! — крикнул он.

— А-а?

— Иди-ка!

Мальчик подбежал и спросил:

— Чего вам, дядя Прокофий?

— Поддай-ка сумку с продукцией. Вон она лежит. Заторопился — забыл.

Паша подал объемистую сумку, и Прокофий Иванович тронулся наконец с места.

— Как уж это начнут торопить, как начнут, то обязательно, елки зеленые, забудешь чего-нибудь... Но-о! Заснули-и! — Он слегка взмахнул кнутом, который у него был для видимости (лошадей он никогда не бил), и выехал за ворота.

Громкоговоритель отбивал поверку времени. Митрофан Андреевич заторопился.

— Семь, — сказал он. — Задержались немного. — Он быстро выкатил мотоцикл из сарая и сразу повеселел. — Вот машина незаменимая: ИЖ-49. Три подарка нам от советской власти в последние годы: самоходный комбайн, мотоцикл ИЖ-49 и... автомашинка «Москвич». — Последнее слово он произнес с легким вздохом.

Никаких средств передвижения Митрофан Андреевич не хочет знать, кроме мотоцикла (хотя на «Москвич» уже собирает деньжата). Он не просто ценит мотоцикл как машину, он его любит. Вообще Катков к машинам неравнодушен. Зная эту его слабость, я прислонил ладонь к ребрам охлаждения мотора — он был горячим — и подумал: «Э-э! Да он и правда полполя объездил еще до солнца».

— А заводить будем полчаса? — пошутил я.

— Он у меня и холодный заводится как часы. — В словах его послышались ревнивые нотки.

Митрофан Андреевич слегка — совсем маленько — нажал педаль стартера, не прикасаясь руками к мотоциклу, и мотор заработал так, будто только и ждал хозяина: тихо похлопывая и слегка вздрагивая.

Я сел на заднее сиденье, и мы помчались в поле. Но около зернохранилища нам замахали руками, закричали, требуя остановки. Сильнее всех кричала Настя Боква:

— Стой! Подожди! Митрофан Андреевич! Сто-ой! — Она стояла в кузове автомашины и махала платком.

Мы завернули к зернохранилищу.

— Что у вас тут? — спросил Митрофан Андреевич.

— Не тут, а там, — указала рукой Настя в поле. Силь-

ная, раскрасневшаяся от возбуждения, она была, видно в себе.

— Что там?

— Беда, Митрофан Андреевич...

...Отец Настя убит в боях во время Отечественной войны, мать вскоре после этого умерла, и Настя осталась десятилетней сиротой. Взял ее к себе тогда Прокофий Иванович Филькин, который после ранения остался «чистой»; воспитывал, как мог: брал ежедневно с собой поле, еще девчонку научил работать косой, топором, управлять лошадьми, а к семнадцати годам Настя уже умеет делать любую мужскую работу. Теперь ей уже двадцать лет, и она живет в своей собственной хате, что осталась от семьи. Но Прокофий Ивановича любит, как родного отца. Колхоз для нее — родной дом, но вот только не любит Настя женской работы, не любит полоть тяпкой, сажать овощи, вязать снопы; во время сенокоса она косит наравне с мужчинами; во время сева и уборки грузит зерно, иногда подменяет Прокофий Ивановича, когда том надо отлучиться, и работает на его лошадях. (Кроме него никому не доверяет своих лошадей, а из колхоза отлучается лишь в самых исключительных случаях.) Вообще то Настя собирается быть шофером. Сейчас она работает грузчиком на автомашине и еще с рассветом начала развозить семена по тракторным сеялкам.

— Митрофан Андреевич! Дизельный трактор стал — авария, — тихо произнесла Настя.

Первая песенница и шутница на селе, она и «барыню» откаблучит так, что парни за затылки хватаются, и «русскую» выбьет с дробью — головой закачаешь. А сейчас не узнать Настю.

Митрофан Андреевич нахмурился и посмотрел на запад, где плотные кучевые облака вылезли ватагой. Он буркнул потихоньку:

— Вот черт возьми!

— Давай — в отряд! Скорее! — сказал я.

— Все теперь пойдет вверх ногами на весь день! — возмутился он. — Перекрестного посеяли половину, а половина осталась. Пойдет дождь — беда. — Он завел мотоцикл и с ходу набрал скорость.

Через несколько минут мы были в отряде. Тракторная будка прилеплась к вершине лошаины в затишке. Около нее стоял гусеничный трактор ДТ-54 с отнятым картером. На гусенице рядышком сидели два тракториста: Костя Клюев и Илья Семенович Раклин. Раклин сосредоточенно

урил, а Костя держал в руках аварийную деталь и поруивался про себя чуть слышно.

— Что? — спросили мы оба сразу.

— Нижнюю головку шатуна разорвало. Картер пробило, — ответил Илья Семенович.

Голос у него с хрипотцой. Он работал в ночной смене: весь вымазан в нигроле, глаза от бессонной ночи красные.

— Что ж стоять? — загорячился Катков. — Снимайте головку, вынимайте поршень. Надо шатун теперь заменять гоже... Черт возьми, и картер везти в энтэс — сажать латку... Тыфу! Не меньше как на двое суток вышел из строя. Чего же стоите-то?

Илья Семенович выслушал Каткова и так же сосредоточенно и спокойно ответил:

— Авария серьезная. Без старшего механика даже бригадир отряда не имеет права разбирать трактор в таких случаях. — Он указал кивком головы на будку: — Слышите?

Из будки было слышно, как кто-то вызывал по рации:

— «Урожай»!.. «Урожай»!.. «Урожай»!.. Черт возьми!

Мы вошли с Катковым в будку. Около рации стоял вполоборота к нам бригадир тракторного отряда Федулов.

— «Урожай»! Ну, «Урожай» же! «Урожай»! — Он пристукивал при каждом слове гаечным ключом по столу. — «Урожай»!.. Тоня-а! — вскрикнул он и вдруг бросил ключ на стол. — Тоня! Где ты пропадала, черт возьми?

Рация отвечала граммофонным звуком:

— Я тебе, Василь Василич, не Тоня, а «Урожай». И ключом по столу не стучи. Если все так будете стучать, то связь невозможна.

— Да я же полчаса стою как дурак...

— Я в этом не сомневаюсь.

— У меня авария, а тебе шутки.

— У меня сегодня вторая авария. Если мне с каждым плакать, то глаза высохнут, — тебе же хуже будет, — а рация охрипнет от мокрости. Кого тебе?

— Старшего механика. Поскорей, пожалуйста.

— Сотая доля секунды! — ехидничал граммофонный голос дежурной Тони. Потом слышно было, как она крикнула: — Иван Васильевич! У Федулова авария. — И пока все ожидали механика, Тоня спросила: — Вася?

— А? Я, — ответил Федулов и оглянулся на нас.

— Раскис? «Ава-ария-а!» — И слышно, как она стуча-

ла по столу, подражая ему.— Не капризничай, Федулочка: Иван Васильевич вылечит.

— Не вылечит так скоро. Дело серьезное,— все еще угрюмо возражал Федулов.

— А ты ляжь вверх животом на пашню и кричи: «Ка-гаул!» Ей-богу, поможет.

Федулов улыбнулся и снова посмотрел в нашу сторону.

— Тебе шутки, а у меня в одном ДТ двадцать процентов всей силы отряда.

— Что там у тебя стряслось?— послышался в рации голос старшего механика.

— Картер пробило. Нижнюю головку шатуна, в третьем, разорвало.

— Не может того быть! — воскликнул механик.— Сейчас выезжаю. Через двадцать минут буду.

Я подошел к рации и вызвал:

— «Урожай»!

— Я «Урожай»,— ответила Тоня.— Кто?

— Луков.

— Здравствуйте, Владимир Акимыч!

— Здравствуй, Тоня! Позови-ка быстренько старшего агронома Михаила Петровича.

— Он здесь. Собирается уезжать. Сию минуту!

— Я слушаю,— вскоре отозвался Михаил Петрович.

— Дизельный вышел из строя суток на двое. Делаю перегруппировку отряда: два ХТЗ прекратят культивацию, дадим каждому по одной сеялке и будем продолжать перекрестный в течение суток. В графике делаю соответствующее изменение.

— Свет для ночного сева будет на обе сеялки?

— Отвечай, Василий Васильевич,— обратился я к Федулову.

— На одну не будет,— ответил он.

— Сделаешь свет,— сказал Михаил Петрович.

— Да ведь фары нету! — воскликнул Федулов..

— Возьмешь в восьмом отряде и сделаешь свет,— повторил твердо Михаил Петрович, а мне сказал: — С перегруппировкой согласен, вносите изменение.

Потом все притихло.

Федулов как-то смущенно повел могучими плечами, провел по черным волосам ладонью ото лба к затылку и задумчиво посмотрел в окошко.

Катков, наоборот, чуть просветлел и обратился ко мне:

— А Михаил Петрович толковый агроном! Сразу понимает дело, с полслова понимает.

Федулов зашел за будку, будто спрятался, но не прошло и двух минут, как оттуда рывкнул заведенный мотоцикл. Федулов выехал из-за будки и сквозь треск мотора крикнул:

— Доеду в восьмой отряд. У них один трактор стоит, фару возьму на ночь. Приедет механик — снимайте голову. Вернусь быстро.

— Подожди-ка, Вася,— сказал Катков, сделав ему знак заглушить мотор.

Стало снова тихо.

— Ты сперва напиши трактористам распоряжение, а то уедешь, а я буду с ними договариваться полчаса. Пиши.

Федулов положил блокнот на бачок мотоцикла, написал распоряжение и вручил его Каткову. Затем он умчался, а Катков посмотрел на часы и сказал:

— Без десяти восемь. Едем?

Я не ответил и смотрел на Илью Семеновича Ракина. Тот как сидел на гусенице, так и заснул, откинув голову и прислонившись к капоту двигателя. Костя заметил мой взгляд и сказал:

— Он уже две ночи не спавши. И третья не предвидится. Так вот, меж делом, заснет на ходу...

— А ты? Ты же подменный.

— На втором дизеле тракторист болен. Мы втроем на двух тракторах: днем сеем, а ночью культивируем... И сам Федулов сегодня ночью работал, не спал ни вот столечки.— И Костя показал самый кончик ногтя.

— Ты-то тоже не спал сегодня?

— Я — что, я могу,— угрюмовато ответил он и вздохнул, глядя на кусок головки шатуна, который продолжал держать в руке.— Вот горе-то наше! И надо же ей лопнуть сегодня! Подождала бы недельку... Ведь оно ж вон сколько кругом не сеяно!.. Смотрите,— Костя протянул мне кусок головки шатуна.— Раковина, заводской дефект. Я тут ни при чем.

— А сколько, по-твоему, придется стоять?

— Да сколько? Картер в энтээс везти надо. Гильзу новую надо. Поршень, шатун. Если все это есть, то... кто ее знает, а если нету, то тогда я уж и не знаю.

Катков рванулся в будку, и оттуда было слышно, как он говорил по радиации:

— «Урожай!» «Урожай!» Тоня! Узнай срочно: есть ли для дизеля запасные детали — гильзы, шатуны, поршни.

Через несколько минут Катков вышел из будки.

— Все есть,— сказал он.

Костя повеселел. Он зашел вперед трактора, похлопал по радиатору и сказал, как живому:

— Ну, ты, инвалид! Ничего, ничего.

На душе стало немного легче, и мы с Катковым помчались переводить ХТЗ на сев. По дороге встретилась нам автопоходная мастерская. Наверно, механик разыскал ее в массиве по радио и направил сюда. Нам стало веселее. Митрофан Андреевич прибавил скорость и по-мальчишески крикнул:

— Держись, Владимир Акимович!

В ушах засвистело. Борозды пошли вкруговую. Автоколея, по которой мы ехали, набегала на нас узкой лентой и проваливалась под мотоцикл, как молниеносный конвейер, а та колея, что рядом, бежала в противоположную от нас сторону. Никаких толчков — так мягко в езде ИЖ-49.

Митрофан Андреевич что-то подпевает в тон мотоциклу, но что — разобрать трудно. А телеграфные столбы несутся к нам редким частоколом. Каждый из них, проскакивая мимо мотоцикла, кажется, чуть сваливается в сторону, и звук мотора ударяет о столб хлестко и звонко: «ж-жих!» — и проскочил, «ж-жих!» — и проскочил.

Но вот близ дороги стоит трактор. Тракторист кончил загон пахоты и, видно, собирается переезжать в другое место. Мы остановились около него. В середине загона пахота была отличной — черная пашня лежала без единой полоски огрехов, но края пахоты пестрели «облизами», треугольнички незапаханной стерни, похожие на балалайки, и канавки от небрежных заездов уродовали вид пашни. Иной бригадир, глядя на такое, будет кричать на все поле, выходить из себя, а бывает, — что там греха таить! — и выражаться начнет черным словом, для крепости. «А как, — думал я, — отнесется к этому Катков?»

Митрофан Андреевич сдвинул фуражку на лоб.

— Та-ак...

Он бросил пристальный взгляд на тракториста, ухмыльнулся и с хитровой веселостью крикнул:

— Здорово, Леня-а! Как спалось?

— Я пахал ночью, — ответил Леня. Малый он молодой, лет девятнадцати, над губой пушок, вымазанный с одной стороны автолом. Невысокого роста, плотный, он смотрел недоверчиво на Каткова. — Вон сколько напахал. Во! А вы — «спалось»!

— Значит, все отлично?

— Отлично. Пахота — во! — Леня поднял большой палец и вытер рукавом лицо, отчего оно стало еще грязнее.

В его покрасневших добродушных глазах исчезла искорка недоверчивости, они прямо-таки подкупали, и мне стало жаль юношу. Боялся я острого на язык Каткова. Только, как оказалось, напрасно боялся.

— А что я хотел у тебя спросить?.. — продолжал Катков серьезным тоном.

— Что?

— Если я сошью тебе первейший из всего колхоза кожух... Черной дубки или хромовой, как шелк, выделки, из самой лучшей овчины... — Он щелкнул пальцами и вытянул ладонь, будто кожух уже висел у него на руке.

— Ну?

— Подожди, я договорю. Сошью такой вот кожух, а воротник и опушку сделаю из старой, дохлой, полинялой козы... Будешь носить такой кожух?

— Не. Не буду. Это, может, дурачок какой будет носить. А зачем портить дорогой кожух? Лучше уж не шить совсем.

— А ты-то именно так и сделал! Сшил дорогой кожух, а опушку — от облезлой козы. — И он показал Лене на «балалайки», канавки, валики, в общем, на всю «опушку».

Леня слегка покраснел, сделал движение локтями, будто почесал бока, и не нашел ничего ответить.

— Ну хорошо. А как ты думаешь — моя учетчица примет от тебя такую пахоту? Нет, не примет. И я акт не подпишу.

— Значит, пропахал задаром всю смену? — нерешительно спросил Леня.

— Благо, ты первый сезон работаешь, а то бы припечатал я тебе расход. Теперь уж и не знаю, как быть... Что Владимир Акимыч скажет, так и будет. — И он пошел к мотоциклу, посвистывая, будто и не интересно ему знать, что я скажу Лене.

— Опаша края хорошенько, — сказал я. — Сейчас опаша, пока старший агроном не проезжал. А в следующий раз без контрольной борозды не начинай пахоты. Сперва поперек краев борозду пройди, а потом и начинай. Плуг будет сразу входить в пашню. И... опушкой не будешь портить кожух.

Леня улыбнулся.

— Опашу. Прямо сейчас и опашу. — Он облегченно вздохнул.

Мы поехали дальше. Я оглянулся и увидел, что Леня держал в руке шапку и смотрел нам вслед. Ну, этот еще молод, начинающий. А ведь многие трактористы, научив-

пись отлично обрабатывать землю, не считают нужным заправить края пахоты или сева, привести в порядок дорсгу около пашни. Едешь потом близ такого посева и видишь: в середине — отличный хлеб, а с краю — бурьян да канавы. Бьются бригадиры полеводческих бригад на этом вопросом, спорят, доказывают, настаивают, но «балалайки» нет-нет да и выскочат над дорогой. Ну и здорово же придумал Катков с кожухом!

Оба ХТЗ мы перевели на сев без задержки и направились на посадки лесополосы — за девять километров от села, на границу землепользования колхоза.

Снова засвистело в ушах, снова — поля, поля. Кажется, и нет края этому могучему простору. Бескрайности колхозных полей в степной черноземной зоне поражает не только человека, впервые увидевшего поле. Этот простор удивляет и того, кто в поле встречается и провожает каждую весну. Удивляет потому, что редко встречаются люди без машин: то встретите деловитый ДТ с сеялками или культиваторами, торопливо перебирающий гусеницами, будто спешащий поскорее охватить эту такую громадину поле, — и кажется он рачительным хозяином, главным из всех тракторов; то вдруг из-за пригорка вынырнет поджарый тракторчик У-2 и спешит-спешит, старается изо всех сил с одной сеялкой; или старичок ХТЗ, доживающий в труде последние годы, ползет со своим отвислым животом-картером, опираясь на неуклюжие колеса, и урчит-урчит себе по-стариковски, напоминая о том, что он совсем недавно был лучшим из всех марок тракторов (теперь уже таких не делают). И снова ДТ — такой молодчина трактор!

На каждом прицепе — один-два человека, не больше. Так мало людей, и так много земли они засевают. Поразительна сила машины в наше время! Люди управляют машинами и сами подчиняются ритму техники. Разве только на склонах, над яром, да на огородах увидите отдельные группы людей на ручной работе, а так — везде машина, машина. И уже много лет мы видим такое, а — поди ж ты! — радостное удивление возникает снова и снова, когда весна приходит с птичьим перезвоном в поле, когда тракторные будки стоят в затишье лощины под огромным голубым небом.

Мы оставили мотоцикл на дороге и пошли через пашню к месту лесопосадок пешком. Это близенько, метрах в ста пятидесяти от места остановки. Митрофан Андреевич мне сказал, указывая на лесопосадки:

— Дедовская «техника» из одиннадцати деталей.

— Как это? — не понял я.

— Очень просто: лопата плюс десять пальцев. — Он уть помолчал и добавил: — Одну бы лесопосадочную машину на эмтэс — и достаточно. Вот буду сидеть целую весну на посадках всей бригадой, а плана все равно не выполню. Не успею.

— Надо успеть.

— Это ты, Владимир Акимович, по обязанности говоришь. Давай по душам говорить.

— Давай.

— Почему наш колхоз имеет хорошие посадки, мы знаем оба. Сажаем столько, сколько осилим прополоть. Почти ежегодно не выполняем плана, а лесополосы хорошие и — много. Бьют нас за это и в хвост и в гриву, а лесополосы есть. Но почему же в большинстве колхозов района посадки — не посадки, а рассадник бурьянов? Вот и вы небось скажете: «Секретарь колхозной партийной организации, товарищ Катков, а говорит не так, как надо говорить». Пойдите, пойдите! Дайте сам буду отвечать, — заторопился он, будто боялся, что я снова буду говорить по обязанности. — Да потому, что спустят, — понимаете? — он засмеялся, — спустят план в двадцать гектаров на весну, доведут, — понимаете, «доведут»? — саженцы до колхоза этак тысяч на двести, и — выполни! Выполняют старательно многие. Сажают до июня месяца, когда уже и саженцы распускают листья и земля просохнет. План-то выполняется, а леса нет. Так я ответил или нет?

— Что ж тебе сказать, Митрофан Андреевич? Говоришь ты правильно. И то, что лесопосадочные машины есть замечательные, а у нас в эмтэс ни одной, — тоже правильно. Но то, что они будут в каждой эмтэс, — за это ручаюсь, — тоже правильно. И сажать лес в поле мы будем: никто и никогда не отменит учение Докучаева.

— С этим я согласен на сто процентов. Но только, думаю, промахи есть в этом деле большие. Денег ухлопываем по району уйму, а дело с лесозащитными полосами в колхозах не ахти как ловко. — Митрофан Андреевич помолчал. — Я вот думаю написать и министру машиностроения.

— О чем?

— О чем с неделю назад говорили: о навозоразбрасывателях, о туковых сеялках. Ведь этакая машина навоза пропадает зря только потому, что не успеваем его внести

«машинкой в одиннадцать деталей», а удобрения разбрасываем так, как сеяла сто лет тому назад, при царе Николашке, из лукошка. Понимаете, ведь невозможно! — Лицо Каткова вспыхнуло, он рубил ладонью воздух при каждом вопросе. — Как же вы думаете, товарищ министр, с этим делом? Нет, не писать об этом невозможно, Владимир Акимович!

— Надо писать, — подтвердил я. — Напишем вместе.

Мы подошли к лесопосадочным звеньям. Женщины работают здесь уже несколько дней. Мы поздоровались. Все ответили приветствиями, сразу же окружили нас и заговорили в несколько голосов, разом:

— Саженцы кончаются.

— Вода на исходе!

— Без поливки сажать или нет?

— Митрофан Андреевич, Хвист приедет?

Митрофан Андреевич замахал руками, затем приставил к ушам ладони трубочкой, повернулся в кругу женщин и тоже закричал:

— Ничего не слышу! Не слышу! Громче!

Женщины засмеялись. А он уже спокойно, без шутки, говорил:

— Поодиночке, не все сразу.

Но он всех услышал и все понял. Он привык слушать хоровой разговор колхозниц, которые часто высказываются все вместе, но замолкают, если предложить выступить поодиночке. Не дожидаясь возобновления вопросов, он ответил:

— Саженцы и воду привезет автомашина в обеденный перерыв. Без полива не сажать. Товарищ Хвист должен приехать: была от него записка еще вчера. Разрешите зачитать?

И, опять не дожидаясь ответа, достал записочку и прочитал шутливо-торжественным тоном, упершись одной рукой в бок:

«Глубокоуважаемый товарищ Митрофан Андреевич Катков!

Согласно плану, спущенному со стороны райпотребсоюза, и развернутому графику движения полевой торговли сельпо, в горячие дни весенней посевной кампании в вашу бригаду прибудет развездная торговля разными товарами. Продажа в порядке живой очереди. С горячим кооперативным приветом председельпо

Е. Хвист».

Все слушали молча, улыбаясь. А Катков спросил шутливым тоном:

— Какие будут соображения?

— Хвисту взбучку дать, — коротко сказала звеньевая Анюта. — Давайте, бабочки, баню ему устроим!

— Покритиковать не мешает, — поддержал и Митрофан Андреевич, — но только по-хорошему, вежливо.

— А мы и так вежливо, — сказала все та же Анюта. — А то до чего дошел: неделю сидим без спичек, а у мужиков без табаку уши попухли. Приди в магазин и спроси у него: «Спички есть?» — «Есть, но для полевой торговли». — При этом Анюта вздернула лицо вверх, сморщила и без того маленький носик, сложила руки по-наполеоновски, отставила одну ногу и, подражая председателю сельпо, произнесла: — «У меня план спущен сверху донизу!» — Все разом захохотали: очень уж похоже изобразила Анюта товарища Хвиста. — «Я тебе продам табак, — продолжала она в той же позе, — а план должен провалиться! Интересно! Хм! Я план полевой торговли выполню на пятьсот процентов! Я пять дней накапливаю силы! Я — во!» — И она, под общий хохот, ударила себя кулаком в грудь.

Весело смеясь и переговариваясь, женщины стали занимать свои места на линии посадки и принялись за работу. Я прошелся по рядам новой лесополосы: все было в порядке. А работающие нет-нет да и оглянутся на меня — не найдет ли, дескать, какого изъяна?

Мы отправились с Митрофаном Андреевичем дальше пешком. Метрах в двухстах от нас расположен склон, на котором работа на тракторах почти невозможна. Такие участки обрабатываются всегда на лошадях. Надо было решить на месте, судя по почве: нужна там культивация в этом году или можно обойтись двухследным боронованием. Вдоль яра, по краю, протянулась приовражная лесополоса, посаженная восемь лет назад; молодые листочки уже распустились, и уже какая-то пичуга приветливо чирикнула нам из-за веток. Облака стали менее густыми, и солнце, проглядывая на землю в просветы, помаленьку расталкивало их в разные стороны. Было тихо. Там и сям поперек склона колхозники бороновили зябь во второй след.

Прямо к нам двигалась пара лошадей, запряженных в бороны, а сбоку около них шагал Прокофий Иванович Филькин. Он держал вожжи в руках, поигрывая ими, и покрикивал на лошадей. Шаг его был ровным и размеренным настолько, что, казалось, он подчиняется какой-то неслыш-

ной команде: шаг, шаг! Шаг, шаг! И так — целый день по мягкой пашне, в которой утопают ноги по щиколотки. Уже по одной этой мякоти пашни видно, что никакой культивации здесь не требуется.

— Добрый день, Прокофий Иванович! — приветство вали мы разом.

— Здоровеньки были! — ответил он, но не остановился, а продолжал отмеривать свой бесконечный путь.

Мы пошли с ним рядом.

— Ну, как сменная лошадка? — спросил Митрофан Андреевич.

— Да... как? Так себе. До Великана — куды там ей! Великан — конь! То лошадь такая: брось вожжи и пусти по пашне, сам поведет бороны и огреха не сделает, и назад повернет сам. То лошадь — ум! — Он вздохнул и прикрикнул на лошадей: — Но-о! Заслушались, елки тебе зелены! Разговору рады!.. Я на том коне, — продолжал он снова спокойным и ровным голосом, — пять лет работаю изо дня в день: цены нету Великану.

— Может, покурим? — предложил я.

— Не занимаюсь: некурящий.

— И никогда не курили?

— Кури-ил. Курил здорово. Давно уж бросил.

— Говорят же, трудно бросить? — спросил Митрофан Андреевич.

— То ись как это трудно? Есть дела потруднее. А это — надумал и бросил. Но-о! Разговоры!.. Куды ей до Великана!.. Бросил курить. Пришел с работы и надумал... Бросил кiset в печку, а сигарку положил на подоконник, готовую. Да. Положил... Да куды ты лезешь, елки тебе зелены! — беззлобно увещевал он лошадь. — Как это потянет меня курить тогда, а я подойду к сигарке и говорю: «И не совестно тебе, Прощка: сам себя не пересилишь?» — и положу опять сигарку на свое место. Пересилил. За два дня пересилил. — Он немного помолчал и продолжал тем же неизменно ровным и спокойным голосом: — Себя пересилить можно... А вот бабу... не пересилил...

Митрофан Андреевич подмигнул мне незаметно.

— А что такое случилось? — спросил я.

— Да что: Настя-то ушла от меня через бабу. Вот елки тебе зелены...

— Надо было как-нибудь уладить, — вмешался Митрофан Андреевич.

— Где там «уладить»!.. Женился-то я второй раз. Мне было сорок пять, а бабе — тридцать. Сперва — ничего.

А потом пошли у нас споры да разговоры. Настя по воскресеньям книжки читает, а баба зудит, а сама, елки тебе зелены, по грамоте — ни в зуб ногой. Я и так, я и этак — ничего не выходит. «Ты, говорит, обуваешь-одеваешь нерóдную». Это она про Настю так... «Ты, говорит, вставь мне золотой зуб...» — «Нá тебе золотой зуб, елки тебе зелены, — думаю я. — На!» Вставил за сто рублей: таскай сотенную в зубах, елки тебе зелены, только утихомирься. Я их улаживаю, а она, баба-то моя, опять: «Ты, говорит, каракулевый воротник на пальто купи и мне, как у Насти». — «Нá тебе каракуль, елки тебе зелены, за четыре сотни». Да. Ну, теперь-то, думаю, все! Одежда, как на крале, харч у меня всегда настоящий. Нет — одно: зачем нерóдная живет в хате?.. Ушла Настя... Выпил я тогда с беспокойю. Хотя и немного — одну кружку медную, грамм на четыреста, — но выпил... Рассерчал. Прогнал бабу из дому. Теперь один.

— А как же дальше теперь? — спросил Митрофан Андреевич.

— Кто ее знает, как. Настя все время говорит: «Возьмите жену обратно, не надо из-за меня жизнь расстраивать. Я сама на себя заработаю, а вас, говорит, всегда как родного отца...» — У Прокофия Ивановича дрогнул голос, и он с горечью сказал: — Вот, елки тебе зелены... А Настю я обязан и замуж выдать по-настоящему, как и полагается.

— А как она — женщина-то?

— Серафима-то? Да баба она работающая, сготовить умеет хорошо, — любой харч в дело произведет... Правда, одеться любит... И из себя — отличная баба... Все при всем... Но ведь я же сироту воспитал. А у нее к Насте неприятность... Значит, человек без сердца... Ух ты, елки тебе зелены! — крикнул он сердито. Но нельзя было понять, к кому это относится: то ли к новой лошади, то ли к бабе.

Мы прошли, разговаривая, до края загона. Он повернул лошадей, глянул, не останавливаясь, на солнце и произнес:

— Двенадцать.

Митрофан Андреевич посмотрел на часы и подтвердил:

— Почти точно: без десяти двенадцать. Можно и на обед отпрягать.

— Не. Осадку надо сделать. Иначе ноги не отдохнут, без размину.

Прокофий Иванович пошел за боронами медленнее, сдерживая лошадей и, как мне показалось, притормаживая ногами. Сразу остановиться он, наверно, не мог, как не мог быстро размяться утром. Какая-то громадная сила внутренней трудовой инерции в этом человеке: он трудолюбив до бесконечности, но медлителен до невозможности.

— Лавка приедет! — крикнул ему вслед Митрофан Андреевич. — У лесополосы станет, под курганчиком.

— Там и моя бричка, — отозвался Прокофий Иванович.

— Как по-твоему: хороший он колхозник? — немного погодя спросил я Каткова.

— Неплохой, — ответил Митрофан Андреевич. — Сколько ему попадало от всех семнадцати председателей за нерасторопность! Ай-яй-яй! А я его всегда защищал: человек такой.

Мы вернулись к приовражной лесополосе. Там уже собрались на отдых женщины, девушки и несколько мужчин. Вскоре подкатила автомашина. В кузове стояла Настя и придерживала рукой связки саженцев.

— Ну-ка, дружно прикопать! — крикнула она.

Несколько человек встали, перенесли саженцы в заготовленную канавку и забросали их землей, оставив на поверхности одни лишь верхушки. Настя открыла борт, положила на край кузова два бревна-накатки и одну за другой ловко скатила четыре бочки с водой. Пустые бочки она вкатила в кузов по тем же накаткам и закрыла борт автомашины. Все это она делала быстро и уверенно, по-мужски, а бочками, казалось, просто играла.

— Экая сила! — шепнул мне Катков.

— Молодчина девушка! — поддержал и я.

А Настя, закончив разгрузку-погрузку, выпрямилась в кузове, поправила закатанные до локтей рукава кофточки, поправила косынку, даже приладила привычным движением колечко-локон. Эти движения были у нее мягки и женственны. Вот она взглянула вдаль, в поле, и несколько минут присматривалась к чему-то. Черные узкие брови, длинные-длинные ресницы, четко очерченные губы и румяные щеки были некоторое время неподвижны.

И вдруг она улыбнулась как-то иронически, вздернула брови вверх и громко сказала:

— Бабочки! Хвист плетется. Во-он! — Она показала рукой вдаль и, взявшись за борт, легко спрыгнула вниз.

Вскоре на дороге показалась странная подвода. Большой ящик, прикрепленный к дрогам, тащила тощая кобыленка с обтрепанным хвостом. Ящик был похож на те, в которых возят хлеб, но значительно шире и выше — в рост человека. На передке, свесив ноги, сидел возница, старый и дряхлый старикан с трубкой в зубах по прозвищу Затычка. Дед хотя и состоит в колхозе, но никогда в нем не работает, а отирается то около кооперации, то в сельсовете, а то и просто уходит из села невесть куда. Спросу с него никакого нет: стар уже. Рядом с ним, в той же позе, сидела продавщица сельпо, тетя Катя, в белом фартуке и таких же нарукавниках. Полное ее тело колыхалось при каждом покачивании возка, а лицо было сердитым. Дед Затычка, наоборот, был весел, как всегда, а подъехав к нам, приложил руку к козырьку и произнес тоненьким голосом:

— Прибыл на каникулы!

Он кряхтя сполз с передка на землю и немедленно пристроился отдыхать прямо на земле, животом вниз.

Вдруг из-за фургона, с задка, ловко соскочил щупленький председатель сельпо и молодежато воскликнул:

— Привет трудовому народу! — Он отряхнул брючишки, дунул почему-то на рукав коричневой тужурки, поправил серенькую кепку, тронул двумя пальцами узел галстука и произнес: — Приступим, Катерина Степановна! Пожалуйста!

Но та слезла не сразу. Она поставила сначала ногу на оглоблю, отчего дуга перекосилась, а клячонка пошатнулась, а затем уже грузно спустилась вниз.

— Фу-х! Боже ж ты мой! — произнесла она, вытирая лицо фартуком, и открыла двери фургона.

Товарищ Хвист заглянул внутрь своего походного магазина, осмотрел, все ли в порядке, и улыбнулся. Серые бесцветные глаза устремились на тетю Катю. Говорят, что глаза выражают работу мысли, а вот у товарища Хвиста они, например, ровным счетом ничего не выражают: наверно, врут люди. Одним словом, он посмотрел на тетю Катю и обратился к ней так:

— Для начина, многоуважаемая Катерина Степановна, понимаешь, кружечку пивка — начальству. Без этого, кабскть, нельзя. Начин — великое дело. (Часто употребляемое «как бы сказать» он произносил в скороговорке, как «кабскть».)

— Ты уж третью кружку вылакал: чем я буду распла-

чиваться? — проворчала продавщица вполголоса, но пива все-таки налила.

— Напрасно, кабскть, волнуетесь.— Он подмигнул тебе Кате, принял от нее кружку пива, отхлебнул глоток и объявил столпившимся колхозникам: — Только в порядке очереди!

Настя о чем-то пошептала с Анютой и сказала громко, так, чтобы все слышали:

— А горшков привезли, Ерофей Петрович?

От взрыва общего хохота даже и лошаденка засемила ногами. Казалось бы, чего тут смешного? Но это был намек на то, как в прошлом году Ерофей Петрович выехал без возницы и забыл торбу; когда же потребовалось кормить лошадь овсом, он попробовал накормить из горшка. Кончилось все это тем, что лошадь укусила его за плечо. С тех пор Ерофей Петрович возненавидел всякую глиняную посуду и перестал ею торговать. А колхозницы прямо-таки взвыли без этой посуды. Вообще по сельскому хозяйству Ерофей Петрович соображал плохо. По этой причине он завез в сельпо двести хомутов громадного размера, из которых только один годился на Великана. Все же остальные валяются на складе и по сей день. А ведь он, по его словам, руководствовался совершенно правильным принципом: маленький хомут налезет не на каждую лошадь, а большой — на любую. Вероятно, поэтому же кобыленка, запряженная в фургон, могла бы при желании пролезть в свой хомут с ногами.

И почему только люди смеются? Не понять. Вот и теперь, когда все смеялись, Ерофей Петрович не пошевелил бровью, он пил пиво и изредка посматривал вверх, на облака.

Все стали подходить к дверцам фургона и покупать кто спички, кто табак, кто платок.

— В порядке очереди! — еще раз предупредил их Ерофей Петрович.

Но никто его не послушал.

Подошел и Прокофий Иванович. Сначала он бросил взгляд на фургон и ухмыльнулся; затем обошел вокруг лошади, просунул руку, до локтя, под хомут, покачал головой и с горьким сожалением сказал:

— Животная.

Ерофей Петрович искоса осмотрел его с ног до головы, тоже ухмыльнулся и отвернул лицо в сторону.

— Папаша! От меня — пивка! — сказала весело Настя и подала Прокофию Ивановичу бокал пива. (Больше ни-

кто, конечно, пива не купил, а возил его Ерофей Петрович, вероятно, «для начала».)

— Можно, Настенька,— согласился Прокофий Иванович. И большими глотками разом осушил сосуд.— Та-ак,— произнес он удовлетворенно.— Перед обедом пиво полезно... А эта косынка что стоит?

— Двадцать восемь,— ответила уже повеселевшая тетька Катя. Глаза у нее, оказывается, добрые и немножко хитроватые.— Двадцать восемь — не деньги, а расцветка — лучше быть не может.

— Настя! Померь-ка косыночку,— ласково обратился Прокофий Иванович.

Тетька Катя набросила на нее косынку, быстро приладила и, любуясь, затараторила:

— Это ж прямо-таки для нее сделано! Ай, матушки, как идет!

Прокофий Иванович неторопливо вынул кошель, рассчитался, отошел к нам, развязал сумку с продукцией и принялся обедать. А Настю окружили девчата и все разом стали вносить суждение о косынке, попивая сидро. Мы с Катковым полулежа наблюдали торговлю. Все шло весело. Тетька Катя подобрела окончательно: предлагала девчатам конфеты, женщинам — фартуки, чулки. Но вот Анюта снова пошептала с Настей и крикнула:

— Ерофей Петрович! К нам!

Тот улыбнулся, потрогал еще раз двумя пальцами галстук и приблизился к девушкам.

— Ерофей Петрович! А можно мне купить полный ящик спичек? — спросила Анюта.

— Даже для вас, кабскть, хоть вы и симпатичны, но нельзя. Не больше, понимаешь, пяти коробок.

— Как же нам быть-то, девчата? А?.. А вы, Ерофей Петрович, еще будете «силу набирать»? (Девчата прыснули со смеху.) Мы совсем без товару остаемся, пока вы набираете... прыть на пятьсот процентов.

— Всегда и везде. А к посевной — обязательно,— ответил Ерофей Петрович.

Митрофан Андреевич сказал мне тихонько:

— Дурака не выправишь — это верно. И тут обидно не то, что он дурак. Обидно другое: ты ему говоришь, что он дурак, а он ни капельки не верит.— Он помолчал и добавил: — До общего собрания пайщиков как-нибудь дотянет, но не больше.

А Настя снова пошептала с Анютой, и обе подбежали к нам. Но обратились они к Прокофию Ивановичу:

— А где Витя?

Прокофий Иванович резал сало на квадратики толщиной с большой палец руки и, пожевывая, ответил:

— Лошадь упустил. Отпрягал — убежала. Приедет. Куды ему деться?

Отошли они медленно: видно, приуныли. Но через несколько минут Витя вынырнул из лесной полосы, привязал лошадей к бричке, задал им корм и уселся на колесе с независимым видом. Девушки потянулись к нему и заговорили:

— Витенька! Ситреца стаканчик!

— Витя! Пару «Ривьер» от имени девичьего населения!

— Сперва поесть надо. Умаялся.

Торговля прекратилась совсем. Дед Затычка спал около фургона животом вниз. Ерофей Петрович разбудил его.

— Поехали!

— Куды? — спросил тот, не вставая.

— Домой.

Дед Затычка поднял голову, посмотрел вокруг и сказал:

— Съездили бы во вторую бригаду. Все равно завтра тащить.

— План, понимаешь, кабскть, график.

— А там без табаку им теперь — график?

— Ну-с?

— Вот тебе и «ну-с». Налаживаю. — И он стал подтягивать чересседельник и прилаживать неказистую сбрую.

Тем временем Настя что-то шептала на ухо Вите, а тот кивал головой, посматривая в сторону фургона. Там уже сидел на своем месте дед Затычка, уже примостился позади, на приспособленном стульчике, сам Хвист, а тетя Катя еще не уселась.

Наконец дед Затычка поплевал на ладони, свистнул кнутом и крикнул:

— Вперед!

Лошадка потопталась на месте, натужилась, бедняга, и стащила с места странную повозку. И в то время, когда тетя Катя помахивала на прощание рукой, а Хвист сидел надутый, как индюк, Витя перестал есть. Он быстро достал баян, растянул его и грянул веселую «частушечную». Настя и Анюта, подбоченившись, запели под переборы баяна:

*У товарища Хвиста
Кобыленка без хвоста,*

*Потащилась шажком.
Подкорми коня горшком!*

Ерофей Петрович заерзал на стульчике, потом перегнулся на бок фургона и замахал деду Затычке. Что кричал, не было слышно, но ясно — он торопился отъехать.

Митрофан Андреевич встал, подошел к девушкам и сказал коротко:

— Спать! Отдыхайте! — Посмотрел на Настю и добавил: — Машину за народом надо прислать вечером.

Волей-неволей все подчинились бригадиру и разошлись по лесополосе. Автомашина уехала. Витя продолжал есть. А Митрофан Андреевич обратился к нему:

— Вечерком, Витя, вечерком поиграешь девочкам. Сейчас — спать.

— Безусловно, — согласился Витя.

— Лошадь-то как же упустил? — тихонько спросил бригадир, так, чтобы никто не слышал.

— Жавороночек бросился от коршуна под бороны. Я боялся: тронут — сомнут птичку. Ну и... отложил постромки. А Козарка хвост трубой — и вдоль яра... Поймал!

— Кого: птичку?

— И птичку и лошадь. Птичку пустил... Дрожит в руках, бедняжка.

— А лошади полчаса без корма. Какой же им отдых так-то?

— А что ж: давить жаворонку? — удивленно спросил Витя.

— Да не-ет. Надо бы и птичку не давить и лошадь не упустить.

— А-а! Попробовал бы.

— Ну, ладно. Пусть так. — Митрофан Андреевич вздохнул и неопределенно сказал: — Ох, Витька, Витька!

— Ну вот: опять «Витька, Витька»! Я же стараюсь.

— Да я ничего, — примирительно и даже с ноткой ласки утешил его Митрофан Андреевич.

Мы договорились с Митрофаном Андреевичем о второй половине дня. Ему — проставить вежи для начала сева на завтра, проверить работу тракторной сеялки на севе овса, — остального времени еле хватит для повторного объезда поля и учета выработки за день каждым колхозником в отдельности. Мне — разбить под гнездовой посев два участка, расположенные близко отсюда, и выверить гнездовую сеялку на норму высева.

Митрофан Андреевич пошел к мотоциклу и вскоре устался по шляху.

Стало тихо. Все отдыхали. Было слышно, как лошади жуют овес: «хр-рум», «хр-рум», «хр-рум»... За яром равномерно урчали тракторы. Я расстелил ватник и лег животом вниз, положив ладони под грудь, а щеку на рукав ватника: самое лучшее положение для отдыха в поле весной, когда еще земля не прогрелась по-настоящему. Немало молодых агрономов, по неопытности, ложились отдыхать на спину или на бок и потом отлеживались в больнице месяцами.

...Уже и дрема находила, когда я услышал тихий говор.

— От самой Польши? — спрашивал Витя.

— От самой Польши, — отвечал Прокофий Иванович приглушенным баском.

— А как же вы столько тыщ на конях проехали?

— Вишь, какое дело, елки тебе зелены... Мы, значит, отступали, а он напирал нам на пятки. Едем и едем, едем и едем: и день, и ночь. Кони попристали, мы — тоже, харч пошел никудышный. Одним словом, дело было, эх... елки тебе зелены... Вспомнишь: сон. Прямо — сон. Я в обозе, конечно, всю войну. Оружие у нас — одна винтовка полагалась. Бывало, едешь и на сижу спишь и на сижу ешь. Возьмешь его, кусок хлеба-то, посмотришь, посмотришь да ножичком и разметишь: это — на завтрак, это — на обед, это — на ужин. А на завтра — неизвестно. Иной раз и по два дни не евши. Да. А около коней, сам знаешь, сколько хлопот: много. Захудал я тогда здорово, но... ехать надо. То раненых везешь, то амуницию, то снаряды: чего-чего только не возил я.

— А награду где получили? — спросил Витя.

— Это уж потом. Когда за Дон пришли. Тут мне перед полком благодарность была и, конечно, орден, как и полагается. Командир полка речь сказал нам в роте: «Вот, говорит, товарищ Филькин от границы Польши до Дона проехал на своей подводе и сохранил все до последней супони. Сотни, говорит, раненых были спасены им при отступлении». Вот как он сказал... Конечно, все так, не я один. — Прокофий Иванович умолк, и разговор у них больше не возобновлялся.

Я задремал.

...Наверно, я все-таки не спал как следует, потому что сквозь дрему услышал голос Прокофия Ивановича. Он говорил громко, во весь голос:

— Витя! А ну-ка побуди народ. Два часа ровно. Начинать надо.

Сразу же после этих слов Витя ударил «Марш футболистов». Люди вставали, потягивались, умывались около бочки и как-то все разом приступили к работе. Только Прокофий Иванович еще некоторое время ровнял постройки, поглаживая лошадей, и вполголоса разговаривал с ними о чем-то. Наконец и он медленно повел лошадей к боронам.

Я взял с собой на подмогу двух девушек и отправился на разбивку.

До самого вечера мы работали по подготовке участков для гнездового посева подсолнечника. И все время беспокоил вопрос: что там с аварийным трактором ДТ-54? Хуже всего бывает, когда ускорение какой-либо работы не только не зависит от тебя, но ты даже не имеешь возможности устранить какой-либо недостаток. Так и теперь: торчать над душой трактористов бесполезно и даже вредно (они и без того из себя выходят), а ждать — терпение надо большое. Тут уж приходится делать очередное дело, а мозгами шевелить: что делать завтра, если ДТ будет стоять еще сутки. Агроном обязан предусмотреть заранее: не сумеешь этого сделать — не агроном. И мы спешили дать работу гнездовой сеялке. Маленький У-2 здесь да два ХТЗ на зерновых сеялках — это уже немало, а с культивацией придется наверстывать ночами. В общем же, как бы я ни раздумывал, а бригада Каткова из-за аварии трактора сразу превратилась в «узкое место». Но ведь есть еще две бригады: что там? Такие вопросы волнуют агронома целый день. И все же если он не умеет отдохнуть в обеденный перерыв, не умеет вовремя спать, не найдет времени почитать, то пропащее дело! Либо будет мотаться из бригады в бригаду, высунув язык, либо вовсе упустит вожжи из рук. С годами пришло убеждение: если ты приехал в бригаду, то на целый день, никак не меньше, только тогда предусмотритишь на несколько дней вперед.

...Уже заходило солнце, когда я подошел снова к курганчику около приовражной полосы. Автомашина уже приходила и увезла женщин. Осталось несколько девушек, которые стояли около Витиной брочки и ожидали, когда он запряжет. Настя не поехала сейчас обратно с автомашиной и была тоже около Вити: то помогала ему запрягать, то отряхивала ему ватник. Прокофий Иванович «ладил сбрую», запрягая лошадей. А когда у него все было готово и он уселся, то пригласил меня.

— Подвезу с большим нашим удовольствием. У меня не тряско.

Я забрался в бричку. Девушки, в том числе Настя и Анюта, сели к Вите. И мы поехали. Витя бросил вожжи и взял баян. (Его пара лошадей шла за бричкой Прокофия Ивановича.) Вот он сначала прошелся по клавишам уверенным перебором, пророкотал басами и замолк. Думал ли он, с чего начать, или прислушивался к предвечерним звукам поля, не знаю.

А вечер опускался на поле тихо, тихо. Воздух замер. Ни малейшего дуновения ветерка! Край неба еще горит там, где зашло солнце, а уже веселая звезда-зарница приветливо начинает мигать из темнеющей синевы: мигнет и скроется. И на земле уже не то, что днем. Пашня вдали уже сливается в предвечернем полусвете с озимью, а озимь, уходя, тает где-то там, в небе. Это еще не вечер, но уже и не день. Это — время, когда небо натягивает над землей завесу, под покровом которой все постепенно начинает менять свои очертания, линии сглаживаются, тают и мало-помалу исчезают. Запоздалый жаворонок еще прозвенит невысоко и сразу умолкнет. У тракторов не такой чистый треск, как утром, и не так напористо они рокочут, как в ясный день: они осторожно шевелят тишину приглушенной и плавной, густой нотой...

Но что это? Мне почудилось, что трактор и впрямь звучит уже басовым аккордом... Да. Звучит... Да ведь это Витя! Он нашел бас в тон звучанию трактора, некоторое время тянул его, прибавляя другие басы, и постепенно перешел на мотив песни «Мне хорошо, колосья раздвигая». Настя запела эту песню чистым, сильным грудным голосом... Анюта включилась второй.

Прокофий Иванович слушал, слушал да и опустил голову, задумавшись. Ему, видно, взгрустнулось. Он покачал головой и произнес, вздыхая:

— Эх-хе-хе!.. Елки тебе зелены...

Но вот песня кончилась. Не прошло после этого и пяти минут, как Настя и Анюта соскочила с брички и подбежали к нам.

— Папаша, пересаживайтесь в нашу бричку, — сказала Настя. — Владимир Акимович! И вы тоже.

Анюта уже тербила Прокофия Ивановича, а Настя тащила меня за рукав ватника. Сопровивлялись мы не очень. Нашу подводу девчата перевели назад, за бричку Вити. Прокофий Иванович уселся на футляре баяна, девушки сели на грядки, а я на задке.

Все наперебой стали приставать к Прокофию Ивановичу с просьбой спеть. Он сначала отмалчивался, а потом задумчиво сказал:

— Ну, давай, Витя... «Ямщика».

Тот не замедлил взять нужные аккорды. Прокофий Иванович кашлянул, поправил картуз, расстегнул ватник и запел:

*Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, имел я силенку...*

Певец грустил. Голос его на высоких нотах жаловался, а в конце каждого куплета заунывно дрожал так, что последние слова он выговаривал совсем тихо, будто говорило само сердце. Прокофий Иванович преобразился: это был уже не медлительный, как утром, не распотевший от трудной и бесконечной ходьбы по пашне ездовой и не удивительный силач, поднимающий куль муки одной рукой. Грустил ли он о безвременно умерших жене и дочке, жалел ли Настю, тосковал ли о новой жене?..

Прокофий Иванович закончил песню:

*Под снегом-то, братцы, лежала она —
Закрылись карие очи...
Налейте, налейте бокал мне вина:
Рассказывать больше нет мочи.*

Поле повторило последний печальный звук, и он, дрожа, растаял в полусумерках.

Настя сидела на грядущке и задумчиво смотрела в сторону, а мне показалось, что у нее глаза стали влажными. Анюта печально опустила голову. Все молчали.

Прокофий Иванович вдруг улыбнулся и сказал, обращаясь ко всем:

— Ну, вы! Приуныли, елки зелены... Оно так — песня, она штука такая: может и за сердце взять, если протяжная, и за животики ухватишься, если веселая. Без песни, елки зелены, никуда... Сроду так у нас на селе.

Витя перебирал клавиши. Казалось, он переключал настроение, все учащая ритм перебора.

Против тракторной будки я сошел с подводы. Прокофий Иванович пересел в свою бричку. И мы расстались.

У тракторной будки я увидел мотоцикл Каткова. А вот и он сам: улыбающийся, видно, в отличном настроении.

Мне даже пришло в голову: «Не похоже что-то на Каткова. У него «узкое место», а он в повышенном тоне». Но я ошибся. Оказалось, что старший механик еще среди дня привез картер от старого, выбракованного трактора и все необходимые детали, а сейчас заканчивается полевой ремонт. В ночь трактор пойдет в работу.

...Уже смеркалось, когда мы с Катковым, оставив мотоцикл в бригадном дворе, подошли к его домику. Немного посидели на крылечке. Поговорили о том о сем. (О работе не говорили — все теперь ясно и войдет в норму.) Вдруг я услышал в открытое окно что-то похожее на тихое бормотание и прислушался. Митрофан Андреевич заметил это и сказал вполголоса:

— Папаша богу молится.

— Молится? — переспросил я.

— Угу. — Он подсел ко мне вплотную, наклонился над ухом и зашептал: — Очень верующий: молится. Но в последние годы с богом вроде бы на равную ногу становится. В прошлом году, летом, подслушал я его молитву.

— Интересно: какая же? — спросил я также тихо.

— Вот слушайте. «Господи, отче наш, царю небесный... Да будет воля твоя. Суть-то какая стоит, господи... А? Ни одной приметы на дождик. Хлеба-то незavidные, господи... Я не партийный человек, и то болею сердцем, а ты все-таки бог. Как же дождя-то? Надо ведь обязательно. Или уже мы на самом деле грешники какие? Вот посохнет, тогда что? Ну, пушай старики, может, и нагрешили, а детишки-то тебе не виноваты. Ты должен сочувствовать, господи». Потом он вроде спохватился и закончил: «Да придет царствие твое. И во веки веков. Аминь».

Пока мы этак шептались, бормотание прекратилось. Мы помолчали. Я встал, подал руку на прощанье и сказал:

— Ну, теперь увидимся не раньше как через два дня.

И вдруг село заполнилось звуками баяна. Витя где-то поблизости играл вальс. Сразу не захотелось уходить, и мы все стояли, заслушавшись.

— Эх, Витя, Витя! — тихо и задумчиво заговорил Митрофан Андреевич. — Все простишь тебе, Витя!

...Шел я до квартиры тихо. Уж очень хорош вечер. Да и на душе было спокойно и легко. Проходя мимо какого-то палисадничка, я услышал тихий девичий голос и не устоявшийся еще юношеский баритончик.

— Уедешь, значит? — спрашивала она.

— Осенью уеду.

— Забудешь, Витя...

— Нет, Настя, никогда тебя не забуду.

Чтобы не быть невольным свидетелем, я тихо отошел на середину улицы и продолжал путь.

Взявшись за щеколду своей калитки, немного постоял и прислушался к звуку тракторов: оба ДТ урчали — значит, и Костя выехал.

Вот и кончился еще один день...

Покойной ночи, добрые люди!





У КРУТОГО
ЯРА

У Крутого яра

Рассвело. В поле тихо-тихо, ни звука. Кругом ни души. Сеня Трошин сидит на корточках в молодом овсе и пристально смотрит на большую каплю росы. Русые, почти белые волосы с завитушками над висками ничем не прикрыты. Сеня отводит голову то в одну сторону, то в другую, наклоняясь и прищурив глаз. Нет-нет да появится у него на лице улыбка. В руке он зажал фуражку — в ней что-то зашевелилось. Сеня приоткрыл фуражку и погладил крохотного зайчонка с гладким и нежным пушком.

— Сиди, сиди, дурачок! Ничего тебе худого не будет.

Зайчонок пошевелил ноздрями, еще плотнее прижал уши и доверчиво полез к Сене в рукав, откуда шло тепло.

— Ну, сиди в рукаве. Ладно. Сиди, так и быть: будешь там, как на курорте... Забавные эти зайчата-сосунки: ничего не смыслят ровным счетом — бери его руками и неси...

Сеня снова устремил взор на ту же каплю росы. Если посмотреть на нее слева, то виден в ней предутренний розово-красный горизонт неба; если посмотреть справа, то видно отражение зелени поля и облака. Настоящие, но крохотные облачка! Целый мир в капле! И Сеня видит это крохотное отражение мира, тихого, спокойного в предутренней свежести. Если смотреть одним глазом, закрыв другой, то картинка становится отчетливее, ярче. Сеня улыбался от тихой радости.

Он присел на колени и посмотрел вокруг. Роса на листьях играла и переливалась. На каждом листочке — капля, и в каждой капле — маленький мир. Много удивительного и прекрасного видел Сеня в поле, но такое заметил первый раз за свои двадцать четыре года.

Он встал. Пересадил зайчонка в фуражку и сунул ее за пазуху. Чуть постоял. Перекинул перепелиную сеть через плечо, а на второе плечо вскинул связанные ботинки. Поднял с земли сумочку, в ней затрепыхались перепела. Еще раз посмотрел на разбросанные по полю хрусталики росы и пошел напрямик, по посевам. Брюки у Сени уже давно были мокрыми до колен — сильнее намочить их уже не

страшно. Да и роса была такая приятная, освежающая бодрящая. Хорошо в поле на рассвете!

Но вдруг он остановился: впереди на кургане, как изваяние, появившееся на грани ночи и дня, стояла огромная волчица. Сеня долго смотрел на нее не шевелясь, потом тихо прошептал:

— Здорóво, знакомая!

Волчица, повернувшись всем корпусом, посмотрела в его сторону и спокойно ушла за курган.

Выбравшись на дорогу, Сеня пошел не в село, а в противоположную сторону: он шел на работу прямо с охоты. До села надо было бы пройти километров шесть, а до места дневной работы, на пропашку подсолнечника, — не более километра. Для такого случая он и завтрак припас с собой в рюкзаке.

Вскоре он подошел к бригадному стану и скинул у лесной полосы ватник. На работу люди приходили не раньше семи часов, и Сене оставалось еще часа три-четыре на сон. На стане было так же тихо, как и вокруг. Сторож, инвалид Отечественной войны, Григорий Фомич, крепко спал сидя, вытянув деревянную ногу и склонив голову на грудь: зоревый сон крепок и сладок.

— Пусть поспит, — произнес Сеня тихо. — Сейчас тут и красть-то нечего. Вот когда хлеб, тогда другое дело. Тогда, если уснет, разбужу.

Затем он достал зайчонка и посадил на ладонь: тот был не больше гусяного яйца.

— Давай-ка я выпущу тебя тут, в лесополосе. А? Тут тебя коршун не достанет, — обратился он к зайчонку.

Сеня присел, чтобы посадить зайчонка под куст. Но тут послышались издали ритмичные щелчки, похожие на легкое щелканье кнутом. Он прислушался, улыбнулся и подумал: «Константин идет. Подожду выпускать — дам ему посмотреть». И накрыл сосунка другой ладонью.

Щелчки изредка, но регулярно, повторялись и приближались. А через несколько минут на просеке показался человек. Он шел, подняв голову, будто смотря все время перед собой, постукивал палочкой по голенищу сапога и тихо мурлыкал какой-то мотив. Одет он был хорошо: тонкого сукна брюки заabrаны в добротные сапоги, коричневая сатиновая рубашка, на плечи накинута серый летний пиджак. Кроме палочки, у него в руках ничего не было. Не доходя до Сени шага три-четыре и постучав палочкой о голенище, остановился, держа голову все так же высоко.

— Кто тут? — спросил он.

— Я.

— Сеня... Как охота?

— Шестерых поймал.

— Хорошо.

— Роса с полночи упала, а то больше поймал бы. Пепел в росу не идет под сеть. Орет как оглашенный, а ни : места.

— Ишь ты какое дело! Боится замочиться... Жирные?

— Ничего... Садись-ка сюда, Константин. Что-то покажу.

— А ну? — И Константин, осторожно ступая, подошел к Сене. Он был слеп. Открытые глаза были неподвижны. На вид он казался ровесником Сени. Тонкими, мягкими кончиками пальцев он прикоснулся к Сене, затем они крепко пожали друг другу руки.

— Зачем и куда ходил в такую рань, Костя?

— Это тебе — рань, а мне все едино... На кукурузу ходил — обошел всю: теперь знаю, где она в этом году посеяна и как к ней идти.

— А-а... И нашел? Как это ты смело по полю ходишь? Не боишься заблудиться?

— А вот она. — Костя поднял палочку и постучал ею. — Я по ней правлюсь. Пусть, скажем, передо мной столб впереди — чуть стукну ею по сапогу, и она скажет: столб. Вот дошел до бригадного стана и вижу сразу — стан. Или вот ты сидишь, а я иду мимо: молчи, пожалуйста, я все равно увижу. Каждое вещество отражает звук по-разному. И посева тоже: подсолнечник свое отражение дает, рожь — свое. Я все вижу. И волна такая тонкая от каждого предмета доходит к лицу... Не понимаешь? — спросил он вдруг.

— Нет, почему? Понимаю. Но только считаю — мне это недоступно. Мне закрой глаза — и каюк. Ты вот и щетки делаешь, и хомуты вяжешь, и сети плетешь, на все руки мастер. Все это и я, конечно, могу научиться, но только глазами. А так — недоступно.

— Оно и мне кое-что недоступно. Вот смалу слышу: «Свет, свет», а что оно такое — понятия не имею. Скажем, зеленый лист и желтый лист осенью — это я вижу, пальцами определяю. А свет — не знаю. Оно, вишь, какое дело, мне это недоступно, значит.

— Ну ладно, — перебил Сеня, видимо не желая углублять тему разговора. — Ты смотри, кого я под комком нашел. — И он приблизил к Косте ладони с зайчонком.

— Вроде бы крольчонок...— Костя гладил зайчонка и трогал тонкими пальцами шерстку, ушки, лапки.— А-а Зайчонок?

— Точно, он.

— Мяконецкий какой... А зачем ты его от матери унес? Нехорошо это, Сеня. А?

— Как раз наоборот. Тут, в лесной полосе, ему безопасно, а там его коршун может в два счета слопать. А матерей у него столько, сколько зайчих с молоком.

— Это как так?

— Очень просто. Она, зайчиха, как, значит, народит зайчат, то покормит их сразу же, а они тут же — шмыг шмыг! — в разные стороны и под комочки или в ямочки. Все. И прощай, мамаша!

— А потом?

— А потом так: как он захочет есть, то тихо-онько пищит: «Пи-пи-пи!» Тогда бежит к нему зайчиха с молоком, какая ближе от него. Иной раз и две сразу бегут, только ешь, пожалуйста, не ленись.

— Смотри-ка! Это ж удивление!

— Я все это сам видел, лично. «Пи-пи-пи!» И она бежит, ковыляет. Обмокнет вся по росе, как баба у белья на речке, а бежит, спешит. И другая бежит. Ну эта, конечно, опоздает. Первая кормит, а вторая сидит рядом, головой кивает, как нянька. Ей-богу, так!

— Как нянька! — рассмеялся Константин.— Прямо чудеса ты видишь на охоте.

— Все равно всего не вижу.

Константин повернул к нему голову в удивлении: чуть выпятил губы и поднял брови.

— Чего удивляешься? Вот сейчас видел я небо в капле. Первый раз в жизни видел! — воскликнул Сеня с восхищением.— Понимаешь: — облачка, заря — все в капле...

Константин спокойно улыбнулся и убежденно сказал:

— Не понимаю.

— Да и не только ты. А Маша, жена, та понимает. И я в ней все понимаю.

— И моя Настя меня понимает, хоть и зрячая.

— Это хорошо, когда понимают друг дружку. Вот и Алексей Степаныч, председатель колхоза, я так думаю, понимает, что без охоты не могу: не препятствует. А бригадир тормозит мне. А я что: меньше других выработал трудодней? Больше, а не меньше.

— А я вот Алексея Степаныча не понимаю. Я ему гово-

ю, что из кукурузных султанов можно венички такие вять — для чистки одежды употребляют в городе. За каждый такой веничек — рубль, а я один свяжу пятнадцать — двадцать штук за день. А то и больше. Тебе, говорит, и без того работы много — не управишься. Это меня-то работой испугал! Выгоды не видит. Ладно, я ему докажу по осени. Как созреет кукуруза, навяжу штук десять и принесу прямо в правление — рассмотрит и поймет.

Оба помолчали. Константин достал карманные часы — с крышкой, но без стекла, — скользнул по выпуклым точкам циферблата кончиком пальца и сказал:

— Полчаса пятого. Пойду.

— А я посплю маленько. Да в обед прихвачу часок.

— Ну поспи, поспи. — И Константин, выйдя на дорогу, зашагал по направлению к колхозу, орудуя палочкой: то стукнет ею перед собой, по дороге, то — по голенищу.

И долго еще доносились до слуха Сени пощелкиванья и стуки Константина: тук, тук... щелк, щелк... щелк... тук... «Хороший человек Константин, — подумал Сеня, выпуская зайчонка. — Иной и с глазами того не стоит».

Солнце начало всходить. Свистнул суслик, будто давая знать, что он проснулся первым. Крот начал выталкивать из норы свежую землю. Пробежал полевой хорек. И еще раз свистнул суслик. Вспорхнул жаворонок над посевом и сразу же опустил: рано еще петь. В чистом, свежем утреннем воздухе за километр было слышно, как спросонья заговорили трактористы у будки, заправляя тракторы для дневной смены. Сеня улегся на ватник и сразу уснул.

Когда сторож Григорий Фомич проснулся, он увидел Сеню, раскинувшего руки и ноги. «Ишь ты, — подумал он. — Не разбудил меня. Крепко я подремал, крепко. Ну и ты поспи, охотник... Спи».

Около семи часов на дороге показался «Москвич» председателя колхоза. Григорий Фомич приободрился, но Сеню будить не стал. Из машины вышли председатель колхоза Алексей Степанович Зернов и бригадир Корней Петрович Ухов.

— Доброе утро, Фомич! — приветствовали оба сразу.

— Так же и вам!

— Э, да тут уже и Сеня, — громко сказал Алексей Степанович.

— Шшш! — зашипел Григорий Фомич. — Пусть поспит. Он же с охоты. Люди подьедут, тогда и встанет. Он никогда не опоздает.

Но Сеня услышал говор и поднялся. Протер глаза умылся около бочки с водой и подал поочередно руку приехавшим.

— Здравствуйте! Приехали, значит. Что-то раненько сегодня?

— На сенокос пробираемся, — ответил Алексей Степанович. — Как бы не пришлось туда людей перебрасывать сено в рядах, а барометр падает. Дождя боимся.

— Сегодня не будет дождя, — уверенно сказал Сеня.

— Ну, ты все знаешь! — иронически возразил бригадир.

— Роса сильная была ночью, — ответил Сеня. — После росы в тот день дождя не бывает. — Он подумал и добавил: — И перепел на утренней заре не молчал. А перед дождем он больше молчком ходит.

— Барометру, значит, не верить, по-твоему? — спросил бригадир.

— Может давление падать, а дождя может и не быть. При сильной росе никогда не бывает дождя, — еще раз повторил Сеня.

— Вполне научно, — подтвердил Алексей Степанович. — Правильно. Грести сено надо, но горячку давай не тачать, — обратился он к бригадиру. — Перебрось туда человек десяток — и хватит.

— И нога моя не ноет, — вмешался Григорий Фомич. — Перед дождем она напоминает.

Бригадир не стал перечить председателю, но по лицу было видно, что он недоволен всеми тремя собеседниками. Ему казалось, что все они не понимают самого важного: схватить сено до обеда, а не возжаться с ним до вечера. Алексей Степанович, наоборот, был вполне доволен «местным прогнозом». Он знал, что нарушение ритма в работе — вещь опасная: туда перебрось, тут дело оставь, а среди дня снова вези людей на это же место.

— Корней Петрович, — вдруг обратился к бригадиру Сеня. — Как закончим пропашку междурядий, отпусти меня дня на два.

— Вот! Видишь, Алексей Степаныч, — сразу вспыхнул тот. — Опять «отпусти». Ночами бродит по полю от молодой жены, да еще и от работы хочет уйти.

— У меня трудодней больше всех, — возразил Сеня. — Отпусти, пожалуйста. Наверстаю. Воскресенье буду работать.

— Не могу сейчас. В поле дел позарез, а ты — «отпусти». Понятия, что ли, нету! — воскликнул бригадир.

Алексей Степанович спросил у Сени:

— А куда ты собираешься?

— Да не хотел я говорить заранее. Может, там ничего и не получится.

— А ты скажи — может быть, и отпустим.

Сеня посмотрел на бригадира не особенно доверчиво и ответил председателю:

— В Крутых ярах, в самой гущине — в терниках, волчица с выводком... Вырастет потомство — полстада овец пережрут.

— Ну, а ты что с ней делать хочешь? Убьешь, что ли? — нетерпеливо говорил бригадир, поглядывая на взошедшее солнце.

— Может, и убью.

— А на что тебе два дня?

— Да как сказать, — может, и больше. Ее же надо выследить и... — Сеня не договорил и, махнув рукой, отошел в сторону.

Председатель и бригадир что-то говорили между собой, но Сеня не слушал. Ему было обидно, что бригадир не понимает его. Он думал, как ему быть: волчица беспокоила его уже не первый день.

Алексей Степанович подошел к Сене и спросил:

— А подпустит она тебя с ружьем-то? Волки хитры.

— Так надо ж сперва без ружья... Проследить, сообразить, а потом уж... Она мне уже знакомая. Знаю, сразу с ружьем нельзя. Тогда она или уйдет заранее, или в норе отсидится, или перетащит волчат в другое логово, в иное место... Разве нору раскопать? — спросил он сам у себя.

Алексей Степанович смотрел на Сеню и думал. Сеня тоже думал, глядя перед собой в поле.

— Ты чем сегодня занимаешься? Какой наряд тебе? — спросил Алексей Степанович через некоторое время.

— За конным планетом хожу: на конях рыхлим подсолнечник. Сегодня, пожалуй, кончим.

Алексей Степанович больше ничего не сказал. Он отошел к бригадиру. Тот что-то записывал и не поднял головы. Но Сеня услышал его голос.

— Алексей Степанович! — говорил он, возмущаясь. — Сами требуете ритма в работе, а сами вон что советуете: отпустить колхозника с поля. Не понимаю!

Потом они говорили тихо и вскоре поехали дальше.

Целый день Сеня рыхлил междурядья. Сегодня он был

молчалив. На вопросы отвечал неохотно, а на шутки со всем не отвечал. В обеденный перерыв он лег спать, как обычно, но уснуть не смог: волчица не выходила из головы. Никто, как казалось ему, не думает об этом опасном звере. В прошлом году десятка два овец перерезали волки. Неужели допустить и в этом году? Кричать на правлении да ругать пастухов — дело нехитрое...

Но не один Сеня задумался о волчице. Алексей Степанович утром, когда отъехали от бригадного стана, говорил бригадиру:

— Сеню надо отпустить. От волчицы могут быть большие убытки. А может быть, она и не одна там.

— Да не убьет он ее, — возражал Корней Петрович. — Разве ж один охотник, да еще с одностоволкой, может убить матерую волчицу? Нет. Месяц будет ходить, а не убьет. Дело Сеньки — перепела, утишки, зайчишки... Он и так мне надоел со своей охотой: то его на уток отпусти весной, то он зимой уйдет да попадет в самую пургу, а ты за него душой болей. Прекратить это надо. Да еще и так сказать: молод он и неразумен еще, чтобы на волчицу одному отправляться.

— А все-таки отпусти его, Корней Петрович, — настаивал председатель, пряча улыбку в черных усах. Загорелый, как южанин, он смотрел перед собой, ведя машину. Ветерок шевелил его седеющие волосы. — Отпусти, отпусти! Дело важное.

Корней Петрович безнадежно вздохнул и отвернулся в сторону.

Но вечером, на бригадном стане, он подозвал Сеню и сказал коротко:

— Ну, ступай. Два дня тебе.

— Алексей Степаныч отпустил-то?

— Ты иди. Раз разрешаю, значит — иди. Все.

— Все, — подтвердил Сеня.

Подошла грузовая машина. Оба они сели в кузов вместе с другими колхозниками и больше не перекинулись ни единым словом. Но уже около гаража Корней Петрович сказал, сойдя с машины:

— Ты вот что, Сеня: один-то против волчицы с выводком не очень там... Поосторожней, говорю.

— А я думал, прямо как приду, так ее за глотку: кхг! А она меня: хрык! — и готов. — Сеня сказал это серьезно, без улыбки.

Но Корней Петрович понял иронию и махнул рукой.

— Чудак ты человек, Сенька! — сказал он на прощание.

Дома Сеня поужинал с женой, расстелив скатерку на траве под кленом. Жареные перепела были очень вкусны, и блинцы со сметаной показались Сене и вовсе замечательными. Он тщательно вытер последним блинцом тарелку, проводил его в рот и сказал:

— Спасибо, Машенька! Ловко поужинал... Садись-ка сюда — я тебе рассказывать буду.

Он принес из клетки кинжал, сделанный из укороченного штыка от немецкой винтовки, и расположился с ним у камня. Маша присела около него на завалинку. Маша — молодая, сильная, полногрудая, с задорными серыми глазами, смеющимися из-под черных густых бровей. На селе удивлялись: как это такая красавица вышла за такого «тихоню Сеньку». Правда, Сеня не был каким-нибудь щупликом, но и особой силой не отличался на первый взгляд, хотя мускулы его напоминали твердую резину, такую, что бывает у накачанного баллона автомашины, — не помнешь. И ростом — средний, но прочный в плечах. И такая, прямо сказать, красавица полюбила Сеню.

Спрятав руки под фартук, Маша ласково-шутливо спросила:

— О чем же будешь сегодня рассказывать? Про куропаток, что ли?

— Нет. Ты слушай.— Он начал точить кинжал и, не отрываясь от дела, заговорил: — Ты в каплю смотрела когда-нибудь утром, рано?

— В каплю?!

— Ага.

— Ну, ты что-то — того этого.— И она потрогала его за голову, потрепав легонько волосы.

Сеня рассказывал Маше подробно.

— Понимаешь, Машенька: дрожит, переливается то ясно, то смутно... И такая крохотулька. В кино того не может быть — недоступно им.

Маша слушала и смотрела на Сеню. И никакого задора в ее глазах не было и уже не казалось, что вот-вот слетит с ее губ острое словцо, которого так боялись некоторые в бригаде.

— Хороший ты... — тихо произнесла она.

— А Корней Петрович говорит — «чудак».

— Ну и пусть говорит.

Кинжал потихоньку лизал камень.

Вечер стал уже темно-синим, деревья — почти черными.

— Завтра я уйду, Маша. На два дня уйду,— доложи Сеня, вставая от камня.

— Далеко?

— Волчицу выслеживать.

— Страшно, Сеня. Она ведь с волчатами... Сказывают их двое матерых в одном месте поселились: самка да самец.

— Ну и что ж из того? Я на них так вот сразу и не по-лезу. Послежу. Подумаю... Как ты на это скажешь?

— Да ведь все равно уйдешь.

— Уйду.

— Ну иди. Ладно.— Она обняла его и чуточку так по-сидела, прижавшись щекой. — Пойдем, Сеня.

Вскоре Сеня уже спал, положив голову на руку Машеньки. А она дремала, боясь пошевелить рукой, чтобы не разбудить его.

Рано утром Сеня вышел из дому. За спиной — рюкзак, в нем кроме продуктов завернут аккуратно томик «Тихого Дона» (он читал роман уже второй раз). Через плечо перекинул косу. За голенищем — кинжал. Сеня шел и внимательно смотрел по обочине дороги. Наконец он свернул с дороги, сорвал пучок чабреца и натер им кинжал — запах железа пропал совсем. После этого он ускорил шаги и направился к Крутым.

Часа через полтора он был уже на взлобке яра. Отсюда были видны все четыре берега яра, расходящегося в этом месте развилкой. Яр был широкий, с крутыми берегами, заросшими густым терником, орешником, шиповником, изредка дикими вишнями. Одиночками стояли в непроходимой чаще кустарника большие дикие груши. Внизу виднелась узкая и глубокая промоина с белым меловым дном и совершенно отвесными краями, а по ней тихонько журчал ручей, питаясь из родника, спрятанного внутри развилки в непроходимой чаще. Ручеек тек недалеко, он пропадал в полукилометре отсюда в меловом слое.

Дальше, по ту сторону яра, начинался лес — такой, какие бывают только в черноземной зоне: среди дуба и зарослей лещины вкраплено множество диких груш и яблонь. Лес закрывал горизонт, и казалось, здесь конец степи и простору.

Между лесом и яром — чистая прогалина с редкими кустами: степь безжалостно оттесняла лес за яр. Со взлобка, где стоял Сеня, хорошо было видно все вокруг обеих

развилок яра: куда бы ни прошла волчица, Сеня увидел бы. Но пойдет ли она? Где ее лаз? В какое время суток она ходит и приходит? Где точно нора? Здесь ли и самец? Все эти вопросы Сеня задавал себе, присев на краю зарослей бурьяном воронки от взрыва бомбы.

Он отдохнул немного, затем подкосил вокруг бурьян, уложил на траву рюкзак, достал брусок и стал точить косу. Коса зазвенела, и звук ее пронизал заросли яра. Сеня знал: волчица слышит, насторожилась, может быть, смотрит на него — что за человек вторгся в тишину сырого яра: знал, что волки не любят звука железа. Но он нарочно точил и точил. Потом выбрал площадку лучшей травы и стал ее косить, медленно, спокойно, с остановками. Человек косит траву, должна подумать волчица, и больше ничего, — таков был первый расчет.

Весь день Сеня пробыл, как ему казалось, на виду у волчицы, косил, обедал, делал вид, что спит, читал. Но он ни разу не заметил признаков присутствия зверей.

Перед вечером, когда Сене надо было быть особенно осторожным и бдительным, на противоположной стороне яра показался человек. Он обошел заросли и подошел к Сене. Это был Гурей Кузин, по прозвищу Гурька-Скворец. Гурка, старик лет шестидесяти, шел с престольного праздника из села Житуки, куда он ежегодно уходил на троицу и пропадал там по нескольку дней. Задержать его не было никакой возможности даже всем правлением вкупе. Он сдавал лошадь и говорил скороговоркой:

— Человек я леригиознай. Обратно, в Житуках у меня теща престарелая: должен я ей предпочтение преподнести. Обратно же, и в храм христов обязан там сходить, поскольку у нас не имеется. Грехов-то на нас, грехов-то! Господи вышний, грехов-то! — При этом он не без ехидства смотрел на присутствующих конюхов с явным убеждением в том, что у них грехов гораздо больше, чем у него, и он даже может помолиться и за них, если они попросят по-христиански.

Но конюхи не просили его ни о чем, и кто-нибудь из них сердито говорил Гурею:

— Иди, иди... Ты — водку пить, а за тебя кто-то должен работать. Азуит ты, Гурей.

Ни председатель колхоза, ни, тем более, бригадир ничего не могли поделать с Гуреем в таких случаях: он знал, что за это ему, старику, ничего не могут сделать плохого. На успенье, в разгар уборки, он уходил еще дальше, под

самую Ольховатку — за семьдесят километров, и тогда отсутствовал не меньше недели.

— Как это так, — возразил он, — на успенье да не пойти! Да для чего я тогда и живу? На успенье к троюродным братьям, обратно, надо сходить.

Но ходил он просто-напросто пить водку. В жизни же был ехидный старикан, завистливый и большой охальник.

— Здорово, Сеня! Обратно, косишь? — зачастил он писклявым голосишком, ухватившись за тощую бороденку.

— А что?

— Да площадку-то скосил не мене соток пятнадцать. Кто, значит, в колхоз косит, а кто себе.

— Да что ты, Гурей Митрич! Это я не для себя.

— Обратно, брешешь, Сенька. Коси, коси. Только и урвать на заполье — ни один черт не увидит. Коси: у коровы молока больше — Машка твоя, обратно, толще. Хи-хи!

Сеня внутренне осердился, сжал зубы. Но, сдерживаясь, вдруг сказал:

— Садись, Гурей Митрич, покури. Я хоть и не курю, а ты покуришь и... послушаешь. — В последнем слове у Сени появилась такая нотка, что, будь Гурка поумнее, он поспешил бы уйти.

— Обратно, покурю. Ладно. Коси, черт с ней, с травой... Туда, в колхоз, как в прорву, — не накосишься... А Машка твоя — бабища во! Да-а... Все качества у нее. Хи-хи!

Сеня не терпел никогда похабства и теперь готов был сунуть в морду охальнику, но он решил отучить Гурку похабить, по крайней мере при нем, и таинственным голосом спросил:

— Гурей Митрич! Как же ты через яр шел?! А-а!

— А что-о?! — вытянул бородку Гурей в испуге.

— Да там же восемь волков! Сам видел. Я уж тут сижу сам не свой — не знаю, как и с места стронуться.

— А... я... ч-ч-ч... через яр...

— Съедят!!! — воскликнул Сеня, изобразив полный испуг. — Сам видал. Вот те крест!

Гурка сначала подпрыгнул сидя, не поднимая ног, потом неожиданно вскочил и побежал от воронки, оглядываясь на яр.

— Старый охальник! — крикнул Сеня. — А я тебе сбрежал за милую душу. Знаю — слаб душонкой. Никаких волков не видал. Но смотри, чтоб при мне не похабил. Не погляжу и на возраст.

Гурей резко остановился, круто повернулся к Сене и кричал:

— Колхозную траву косить! Воровать! Над верующим человеком насмехаться! Я тебе покажу... Я тебя дойду! Сукин сын, обратно... — Наконец, подпернув штанишки, он засеял дальше, выкрикивая ругательства, на замаливание коих потратит еще один рабочий день.

Придя в колхоз, Гурей, не заглядывая домой, не вошел, а впрыгнул в правление и растрещался о том, что «Сенька колхозную траву косит и возит домой». Во дворе он стрекотал о нарушении «дисциплины», о развале колхоза такими, как Сенька. Бригадир задумался: «Откуда взял все это Скворец?» Он подумал, подумал и доложил председателю, Алексею Степановичу. Тот, не поверив, вызвал Гурку и подробно расспросил. Но и после этого Алексей Степанович не поверил и сказал:

— Сам поеду посмотрю.

Гем временем Сеня лежал в бурьяне и встречал ночь на краю воронки, не спуская глаз с зарослей. Сюга, на горизонте, выпучился кусок тучи да так и остался черной, мрачной горой. Где-то там, вдали, вспыхивали молнии. Тихонько зарокотал гром, тихо-тихо, будто в глубине земли. «Сухой гром», — подумал Сеня. Вскоре темень накрыла землю непроглядной завесой, и ничего уже не было видно. Вспышки молнии стали ярче, но удары грома слышались все так же под землей. Потянул настойчивый ветер — бурьян заныл, лес за яром зашумел, зашумел беспокойно, с рокотом. Сеня свернул ноги калачиком и продолжал смотреть и смотреть. И вдруг... позади он услышал звук: будто кто переломил в пальцах тоненькую сухую будылинку бурьяна. Сеня повернул голову, насторожившись. Далекая молния на секунду слабо осветила окрестность: волчица тенью стояла позади Сени, шагах в двадцати. Она зашла против ветра и следила за Сеней раньше, чем он ее заметил, — вынюхивала, изучала. Так близко волки могут подойти к человеку только тогда, когда он без ружья. — Сеня знал это. Он увидел ее на какую-то долю секунды. Потом снова темень, непроглядная, тяжелая, давящая на плечи. Сене все казалось, что волчица стоит позади, но вскоре он заметил сбоку, уже дальше, два фосфорических огонька, похожих на свет кусочков гнилушки: «знакомая» спокойно уходила к логову. И это было уже успехом — она не нашла ничего опасного. Однако не было возможности определить, где она вошла в заросли.

«Сухая гроза» кончилась. Ветер притих. И Сеня уснул завернувшись в плащ.

На рассвете он проснулся и, не поднимая головы, окинул взором местность. Все было так же: в сероватом свете предутра яр казался мертвым, а лес — спящим крепким зоревым сном.

Сеня ждал. Предрассветный час — час беговой охоты волков. «Знакомая» должна выйти. Но где? — вот вопрос... Увидел ее Сеня уже вдаль, в полукилометре от яра: волчица вышла незаметно для Сени. И он дрожал внутренней дрожью, думая огорченно: «Не поверила, не обманул».

Утро раздвинуло серый налет, висевший над землей. На востоке загорелось огромное, необъятное зарево, но до восхода солнца оставалось еще не меньше часа. Далеко отойдя от зарослей влево, Сеня спустился к ручью, предварительно натерев подошвы чабрецом, попавшимся по пути, и зачерпнул воды. Так, с котелком в руке, он немного постоял на дне оврага. Под ногами был мел, а размытые кручки берегов промоины пронизаны корнями, свисающими до дна. Сеня посмотрел на подножие кручки. И вдруг его осенила мысль. Он нагнулся низко над землей и стал рассматривать. На мелу он заметил пятнышки: это были следы когтей волка. Волки не убирают когтей, не втягивают их, как иные звери. Ясно — волчица ходит протоком, под прикрытием стенки кручи, появляясь в степи далеко от логова. Но раз она вышла, то должна и вернуться. Так думал Сеня. Он поспешил подняться наверх, взял косу и снова стал косить, поглядывая на проток.

Перед восходом солнца он заметил спину «знакомой»: она не бежала, а тихо шла под кручей к зарослям, будто и не слыша звуков покоса. «Человек косит траву — и все, — мысленно вдалбливал ей Сеня. — Понимаешь, косит».

А через час, не более, появился самец; он бежал широкими прыжками напролом, пересекая склон без предосторожностей, и влетел в заросли стрелой. «Значит, логово близко от родника», — определил Сеня.

Весь день он был в отличном настроении. Косил, варил еду, спал, развалившись на свежескошенной траве, собирал в копны вчерашний покос — без граблей, руками и концом деревянного косья, сняв с него косу. Среди дня волки парой ушли в поле и вернулись уже вечером, в сумерках: волчица шла впереди, самец — позади, следуя за ней по протоку яра. В солнечный день волки редко оста-

отся у логова — они уходят, оставляя волчат. Ни один верь так регулярно не кормит детенышей, как волчица, ю и лишнего сосать не дает — она уходит от логова, охоясь или отлеживаясь неподалеку от выводка. В это время ни самец, ни самка уже не бродяжат, как обычно, по гужим окрестностям, — они живут семейством, «дома», то есть в радиусе не более пяти — семи километров вокруг логова.

— Значит, пришли домой, — сказал Сеня вслух и присел на копну. Ясно — днем можно заходить в квартиру к «знакомой». Он собрался и пошел домой.

А вскоре подкатил к этому месту «Москвич», прыгая и переваливаясь уткой на кочках и промоинах. Из машины вышел Алексей Степанович, за ним выпрыгнул Гурка-Скворец, а уже после него появились член ревизионной комиссии, бородатый Агап Егорович, и бригадир Корней Петрович. Первым застрочил Скворец:

— Я, понимаешь, иду с престола. Иду, а Сенька мне, обратно, говорит: «Покури». Я, понимаешь, обратно, курю, а сам высмотрел все и говорю себе в уме: «Колхозным добром того...» Ну, думаю, пушай ночь, а я пойду до председателя... Иду, а они мне, восемь волоков, навстречу! Восемь! Ох! Нет, думаю, обратно, не испугаюсь! Все равно не вернусь — пойду до председателя. Я ничего, обратно, не боюсь. Я, понимаешь, для правды, обратно, на что хошь пойду.

— Да подожди ты тараторить, — перебил его бесцеремонно Алексей Степанович. — Все это ты уже сто раз пересказал. А вот я не вижу, где взято сено. Ты говоришь: «Возит домой». След от копны должен бы остаться. Да и половина сена сырого — сегодняшней покос. — В сумерках он обошел весь участочек скошенной травы, нагибаясь и рассматривая.

— Значит, где-нибудь, обратно, косит. Значит, оттуда возил. Я сам лично видал: возил-возил, истинный господь, возил.

Агап Егорович говорил басом:

— На всяк случай акт составим, Степаныч. Потом разберемся... Да-а... Аль уж Семен свихнулся?.. Не похоже. А факт: скошено. — Он тоже ходил по покосу, нагибался низко над землей, шупал сено и говорил: — Это вчера скошено, а это — ночью... Факт: скошено.

Корней Петрович все время молчал — думал. А Алексей Степаныч заключил:

— Никакого акта составлять не будем.

Сеня, ничего не подозревая, укладывался спать и тихс говорил Маше:

— Днем к ним пойду «в гости». «Знакомая» здоровущая, с теленка!.. Хитрая, а обманул: знаю, когда уходят и когда приходят и где лаз.

Уснул он крепким, безмятежным, спокойным сном.

В полночь кто-то постучал в окошко.

— Кто? — спросил Сеня.

— Я.— Константин.

— Не спится, что ли?

— Открой, дело важное.

Сеня вышел на улицу.

— Дело, брат, нехорошее затевается, — встретил его Константин.

— А что случилось?

— Понимаешь, нехорошо... Я в правлении был. Акт на тебя хотели составить... Гурка-Скворец все говорил: «Составить акт на Трошина Семена...»

— Акт? За что? Сам же бригадир... А Алексей Степаных что?

— Он только и ответил: «Я свое мнение сказал».

— Неужели он поверил?

— А кто его знает,— неопределенно сказал Константин.— Ты сено косил?

— Косил.

— Возил себе?

— Да как же я колхозное сено себе возить буду!

— Хорошо... Значит, Гурка-Скворец напелел... А ты почему косил там, где не положено, где сенокоса не начинали?

Сеня подробно рассказал, зачем ему надо было косить. Заключил он так:

— Неужто поверят, что я сено стал косить для себя? Да не возьму я и былинки колхозного! Убей — не возьму! Ну как это я не догадался раньше! Лучше копал бы лопатой.— Но, подумав, он сказал: — Нельзя лопатой: не копает там никто и никогда.

Константин постучал палочкой в раздумье, а потом сказал:

— Ну, ты спи. Спи: утро вечера мудренее.

Сеня ничего не сказал Маше, чтобы не волновать ее. Он тихо лег спать.

...Около часа ночи Алексей Степанович сидел у себя дома за столом в одной майке. Он только пришел с работы, начинающейся с шести утра, и пил молоко. Домашние все спали. В одной руке он держал газету, бегло просмат-

ривая ее, в другой — кружку молока. Через открытое окно он вдруг услышал, как кто-то стукнул о плетень палисадника и осторожно, будто крадучись, шел вдоль плетня к калитке. Тихо скрипнула калитка. Человек шел уже вдоль стены хаты, внутри палисадника. Такого еще никогда не было. Алексей Степанович подумал уже недоброе: выключил свет и стал в простенок меж окон, прислушиваясь. В хате было тихо. В палисаднике тоже тихо. Так прошло несколько минут. Потом Алексей Степанович услышал, как человек, осторожно ступая, пошел обратно к калитке.

«Значит, кто-то просто подслушивал», — подумал хозяин и, высунувшись в окошко, окликнул:

— Кто тут?

— Не спишь, Алексей Степаныч? Это я — Константин.

— А ведь ты ко мне забрел, Костя. Заблудился?

— Нет. В своем селе я не могу заблудиться. Но только думал я так: не спит — постучу, спит — уйду.

— Ну, садись на лавку. Я выйду.

Когда Алексей Степанович вышел из хаты, Костя спросил:

— Читал, наверно? Тихо у тебя как.

— Читал газету.

— А мне Сеня привез Островского «Как закалялась сталь». Эх, и книга, Алексей Степаныч! Какие люди бывают! — Он немного подумал и добавил: — Эх, и книга! По нашему написана — для пальцев.

Алексей Степанович подумал: «И как это я ни'разу не привез ему книги? Привезу, обязательно привезу».

— Я тебе спать не даю. Я — по делу, — сказал Костя.

— Значит, важное дело, если ночью пришел.

— За то, что ночью пришел, прошу прощенья. Но дело важное: про Сеню поговорить пришел.

— А что такое? — спросил Алексей Степанович, будто и не догадываясь.

Константин рассказал Алексею Степановичу все так, как рассказывал ему Сеня.

— Понимаешь, Алексей Степаныч, — закончил он, — у него даже и в уме не было, что подумают плохое. Волков он выследил. А что он еще мог там делать из таких работ, какие всегда видят волки? Копать нельзя — никто там не копал. А сено там скоро косить будут — на лугу покосили. Гурке-Скворцу не верь: Скворец — брехун спокон веков, и ничего-то он не видит. Слепой он в жизни, этот Скворец несчастный, — так ему и помирать безобразнику и охальнику.

Ровная и спокойная речь Константина в тихой ночи лилась убедительно. Алексей Степанович понял сейчас, здесь, рядом с Костей, что хотя он и управляет колхозом уже около трех лет, но в душу каждому еще не заглянул. Вот и Константину не заглянул. А глядеть надо. И он произнес после молчания:

— Я и не поверил Гурке. Не волнуйся, Костя. — Он подумал немного и, положив на плечо Константина ладонь, задумчиво сказал: — А насчет веничков для чистки одежды я подумаю. Только все это надо организовано. На зиму надо заготовить материал. Подумаю.

— Спасибо тебе, Степаныч! — взволнованно произнес Константин. — А я, признаться по душам, подумал уж так: человек ты рабочий, с завода, пятнадцать лет не был в селе. Механику знаешь и агротехнику уже изучил. Но... понимаешь ли колхозников? Видишь, как я подумал-то немно. Вот и хорошо: ошибся я, значит.

— Привыкаю, Константин. Помаленьку привыкаю понимать, — говорил Алексей Степанович, не снимая руки с плеча собеседника. — И Сеню начинаю понимать: один любит сад, другой — пчел, а Сеня любит охоту, поле, природу. И колхозник хороший.

Константин ушел домой успокоенный, а прикосновение руки председателя чувствовал до тех пор, пока не уснул.

Утром пришел за Сеней посыльный: вызывали в правление. Сеня шел в правление мрачный. Внутри кипела горькая обида.

— Садись, Семен Степанович! — пригласил его председатель. — Мы по отцу-то тезки с тобой.

Сеня сел, смотря прямо в лицо председателя. Тот заметил, что Сеня угрюм, и, догадываясь о причине, увидел в его взгляде нечто новое, чего не замечал раньше: глаза Сени выражали непреклонность и готовность защищаться.

— Ну? Выследил? — задал вопрос Алексей Степанович.

— Выследил.

— Теперь дальше что?

Сеня прижал фуражку к груди и с оттенком досады сказал:

— Да не возил я сена! Не себе косил... — И он, не договорив, отвернулся к окну.

Алексей Степанович встал из-за стола, накинул крючок на двери, чтобы никто не вошел, и несколько раз молча прошелся по кабинету.

— Ты вот что, Семен Степанович! — заговорил он на-

сонец. — Иди-ка на волков и сегодня... Раз выследил — надо дело до конца доводить. Сколько тебе дней потребуется?

Сеня поднял удивленные глаза, широко открытые, и проговорил неуверенно:

— А сено?..

— Плюнь. Понимаю. Убей волков, Семен Степанович.

— Не знаю. Может, и убью.

— Ты брал когда-нибудь волка?

— Нет. От старых охотников, в Житуках, слышал, как их...

— Убей.

— Сегодня нельзя еще идти: подготовиться надо, картечи накатать. И день надо ясный, солнечный: в такие дни они от логова уходят. — Сеня говорил тихо, уверенно, но он не сказал ни одного лишнего слова.

Алексей Степанович толком не понял, как это он собирается бить волков у логова в то время, когда они уходят от него. Председателю, может быть, и не это было важно: он понял человека.

— Не куришь? — спросил он, подавая папиросы.

— Нет.

— Ну и не кури. Это лучше. Расскажи-ка мне, как к тебе приходил Гурей Кузин, к Крутым ярам.

Сеня рассказал, ничего не скрывая. Алексей Степанович одобрительно улыбался, и Сеня повеселел.

Кто-то постучал в дверь. Алексей Степанович сказал:

— Ну, Семен Степанович, действуй. Уничтожить выводок — огромная польза колхозу. На тебя надеюсь... Да! А может быть, загонщиков дать?

— Непроходимое там место, загонщики не выгонят.

— Ну, думай. Действуй.

Снова кто-то постучал. Алексей Степанович откинул крючок, и Сеня столкнулся в дверях, лицом к лицу, со Скворцом. Маслянистые прищуренные глазки у него сверкали искорками смеха, мелкие морщины перерезали щеки крест-накрест так, будто оставили следы его безалаберной и бездумной жизни. Гурка был явно в веселом настроении.

Сеня вышел.

— Вызывали? — весело и громко спросил, кланяясь, Гурей.

— Вызывали, — угрюмо и тихо ответил Алексей Степанович.

— Явился, обратно, как часы!

— Явился, обратно,— иронически повторил председатель.

— Обратно,— сказал Гурей, уже сбавив тон.

— Обратные часы,— зло сказал Алексей Степанович. Гурей растерялся и затоптался на месте, будто стоял босыми ногами на рассыпанных кнопках, и повторил:

— Часы. Точно.

— Нет, не точно. Ты — часы обратные: не в ту сторону стрелка идет.

В соседней комнате послышался сдержанный смех. Кто-то там, изнемогая от внутреннего смеха, охнул.

Гурей ничего не понимал: он сразу как-то раскис, растопырил ноги и уже моргал медленно, опуская веки, как сонная курица надвигает пленку на глаза. И молчал.

— Та-ак. Давно врешь? — рубанул вопросом председатель.

Гурей молчал.

— «Обратно» забыл? Эх, ты, Гурей, Гурей! Ну что тебе за такую ложь придумать?.. Судить за клевету по статье — пользы тебе не будет. Вот что: возьми подводу, поезжай к Крутым и перевези все сено на колхозный двор. А Семену Степановичу отвезешь, как и полагается по уставу, каждую десятую копну. Это тебе в наказание за брехню: и люди будут знать, и сам запомнишь.

— Это как? К Крутым? К в-в-волкам?

— А это уж я не знаю, к кому. Сено перевезешь. Понял? И Семену Степановичу — десять процентов. Дошло?

— А это кто же будет, обратно, Семен Степанович?

— «Обратно» забыл? Сеня-охотник — вот кто! Не Сеня он, а Семен Степанович Трошин.

Гурей почесал локтями бока и тоненько заскрипел:

— Я человек, обратно, леригиозный. Мне лучше бы в церкву пойтить, раз уж грех такой. Замолил бы грех, раз уж так. В церкву бы, чем за сеном. Он и сам перевезет.

— Ничего, ничего. Перевези сено, а потом замолишь. Кстати, и мой грех замолишь: мне бы судить тебя за клевету, а я вот против закона поступаю. Замолишь?

Гурей вздохнул и поплелся из кабинета, шаркая подошвами.

Весь день Сеня работал на черном пару, разбрасывая навоз по клеткам. Усталый, но довольный, он пришел вечером домой. Маша задержалась на прополке картофеля — ее не было дома. Сеня отмыл ботинки от налипшего навоза, вымыл ноги, снял рубашку и вымылся до пояса. Маша

пришла, когда он уже вытер тело полотенцем и так, без рубахи, копался в ящичке, выбирая лучший свинец. Она разожгла огонь под таганом, на загнетке, поставила варить картошку, а сама подошла к Сене и молча обняла его. Потом она просмотрела рубашку Сени и, обнаружив маленькую дырочку, тут же искусно зашила ее. Сегодня она была особенно ласковая, но какая-то тихая. Сеня чувствовал это по ее прикосновению к волосам, по улыбке и все поглядывал да поглядывал на нее, бросая взгляд осторожно, незаметно. Он резал свинцовые палочки на картечины да поглядывал. И наконец сказал:

— Ты сегодня особенная...

— Как это «особенная»? — с оттенком легкой грусти спросила она.

— Да я и сам не могу тебе сказать, какая ты.

Она неожиданно села рядом с ним на лавку, прислонилась щекой к его голому плечу и прошептала:

— Может быть, тебе не ходить на волков... Боюсь, Сеня. Один ведь идешь.

— Как это так «не ходить»? — удивился Сеня. — Сам Алексей Степаных дал команду — уничтожить выводок.

И снова Маша оказалась побежденной.

Рано утром следующего дня Сеня тщательно скатал нарезанные вчера кусочки свинца в круглые шарики — получилась отличная картечь; зарядил десять патронов, пересыпав картечь картофельной мукой (для кучности боя), залил верхние пыжи воском, чтобы не отошли, и отправился к Крутым. Вместо ботинок он опять же, как и в первый раз, надел сапоги и сунул за голенище кинжал. В рюкзаке была буханка хлеба, на плечах — легкий ватник. Он шел налегке, не обременяя себя ничем лишним: ружье и лопатка.

Теперь-то он шел с ружьем — волки далеко могут его почуять. Поэтому, еще задолго до подхода к месту, он обогнул яры и пошел против ветра. Надо было сделать так, чтобы ни разу ветер не донес запаха ружья до логова и, что не менее важно, чтобы волки не увидели Сеню. Иначе вся охота пропадаала.

Но, несмотря на все предосторожности, в тот день он не видел волков.

В сумерках он осторожно — теперь уже под ветер — отошел на полкилометра назад и заночевал в остатках прошлогодней соломы, старой скирды. Огня разводить нельзя было. Сеня поел хлеба, густо посыпанного солью, и лег на солому. Ему не спалось: он думал о волчице. Виде-

ла ли она его или нет, но было ясно, что она осторожна. Сеня был убежден: «знакомая» знает его в лицо, узнает его по походке, даже по кашлю или чоху и, если учует при нем ружье, перетащит волчат в другое место немедленно. Волк не может поверить человеку — волк ненавидит человека как непримиримого своего врага. Сеня знал, что, если поранит волчицу, а не убьет наповал, волчица, защищая детенышей, перекусит ему горло, как ягненку: раненная у логова волчица страшна даже для бывалых волчатников. Так думал Сеня, засыпая. «Вдвоем бы», — мелькнуло в мыслях. Но в селе нет охотников, кроме него.

На второй день он увидел волков среди дня в километре от Крутых. Значит, волки на день уходили. А раз уходили, то только по протоку — иначе он их заметил бы. И Сеня решил начинать. Перед заходом солнца он сполз по водомоине вниз в яр, прикрываясь бурьяном и ковылем, и засел в засаду около стенки протока, под густым кустом.

Стемнело. Наступила ночь. В овраг опустилась холодная, мутная пелена тумана. Самого тумана не было видно в темноте, а тяжелая мокреть, казалось, придавила человека в глухом яру. Ружье стало влажным, скользким. Сеня и не пытался вытирать ружье, избегая малейшего движения, не производя даже ничтожного шороха. Это было очень трудно: кости вскоре начали неметь, пальцы от непрерывного сжимания шейки приклада сделались твердыми и непослушными; он старался чаще шевелить ими, но даже и это движение ему казалось опасным: волки чутки! Короткая июньская ночь была в этот раз длинной, тяжелой, сырой! Уже за полночь, а Сеня не видит и не слышит ничего: ни единого звука, ни малейшего шороха.

Но вдруг... — он вздрогнул! — хрустнула кость. Он явно это слышал: позади него хрустнула кость. Потом он услышал легкое повизгивание, похожее на то, когда провинившийся щенок скулит, перевернувшись вверх лапками в ожидании наказания, — или волчонок был за что-то отлупцован матерью, или они покусали друг друга за трапезой... Ясно: волки были за спиной у Сени — в глубине зарослей, у родника. Они вошли не протоком, где сидел Сеня, а иной тропой. У Сени мелькнула мысль: «Не означает ли это повизгивание того, что волчица уже начала перетаскивать волчат на другое место?» И ему сразу показалось, что он в очень глупом положении: сидит, и волки знают, что он сидит. Но как же так? Когда он засел, то ветер еще тянул на него от логова, потом сразу опустился туман,

притупляющий чутье волка, потом Сеня вместе с ружьем стал мокрым — это тоже выгодно для него, так как уменьшает запахи до предела. Но могло быть и так: волчица подходила к Сене, но он не разглядел из-за тумана. Нет. И этого не могло случиться: дно протока меловое, белое, и на нем даже в тумане можно видеть волчицу за пятнадцать — двадцать шагов; он присмотрелся к кустам и еще раз подтвердил мысленно: «Нет, этого не могло случиться». И тем не менее все было туманно для Сени, как туманно вокруг, в яру.

С такими мыслями, с онемевшим телом, продрогший от сырости, он услышал на рассвете шорох: волки шли по зарослям. Видимо, была у них тропа: шорохи были легкими — волки не пробивались через колючий терновник, а шли своей тропой, изредка шевеля ветки, задевая их боками. Потом все стихло.

Сеня осторожно повернулся лицом к зарослям. Теперь он смотрел вверх, на край яра, где, по его мнению, должны появиться волки, — там выходила наверх узкая и мелкая, в полметра, промоина. Вероятно, подошва ее не имеет растительности, а кустарники просто скрывают ее своими сплетенными ветвями. Сеня не ошибся: волчица и волк вышли там. Они чуть посидели, посмотрели вокруг, в разные стороны, и медленно, спокойно пошли — волчица впереди, волк позади. Это было метрах в двухстах от Сени. Он решил так: если они вечером или ночью входили в заросли там же, то ружье они не могли почуять. Другого утешения он придумать не мог, но и на этот раз надежда не оставила его.

Кое-как разогнув онемевшие ноги, он размял их, потоптавшись на месте, пошевелил руками, энергично потер локтями бока и поднялся на верх яра, к воронке и копнам сена. Сеня замер от неожиданности: здесь никакого тумана не было — все далеко-далеко было видно.

— Дурак я, дурак! — Сеня шлепнул фуражкой о землю. — Да как же я не сообразил, что по туманному яру она не пойдет!

И верно: в тех случаях, когда чутье чем-либо ограничено, волк надеется на острое зрение. Так и в ту ночь — они входили и выходили сразу наверх по другой тропе. И Сеня снова вполголоса ругал себя:

— Эх, ты, Сенька, Сенька! Сколько же тебе еще лет жить надо, чтобы поумнеть? Какой же из тебя охотник?

Но как бы обидно ни было, а теперь Сеня окончательно

но считал волчицу хитрее себя, осторожнее, опытнее и даже проникся к ней уважением.

— Ну молодец ты, знакомая, молодец! — говорил он тихонько, успокоившись.

Взошло солнце. Запели жаворонки. Запоздалая зайчиха проковыляла на покой, на дневку: ляжет теперь в лежке и заснет с открытыми глазами, видящими и во сне; прижмет уши так, что слуховые отверстия остаются открытыми, всегда наготове.

«Ох ты, мудрая! — подумал Сеня. — Около волчьего дома уцелела. Съедят они тебя, дай срок: не доживешь до зимы. Разве ж ты не знаешь: где волки, там зайцев нет? А ты все живешь, косолапая теща. И ты, должно быть, хитрее меня».

Сеня вздохнул и присел на копну. Вдали, влево от леса, на чистом паровом поле, он снова увидел волков — значит, далеко от логова не уходили. Они трусцой перебежали сейчас мимо работающего трактора, не обращая внимания на его близость и рычание мотора.

Вскоре Сеню потянуло в сон. Он прилег на копну и, прижав к груди заряженное ружье, уснул сразу.

Спал он недолго — на вольном воздухе человек отдыхает быстро. И Сеня проснулся приблизительно в завтрак. Он сел, закусил, протер ружье и устремил взгляд на то место, где, по его определению, должно быть логово.

Ветерок потянул ему в лицо — это хорошо. Но что делать теперь дальше? Оставить жить семью волков и идти домой на посмешище всему колхозу? Тогда снова, чем ближе к осени, овца за овцой будет убывать стадо. Нет, он не уйдет от яра. А дальше? Сидеть еще ночь, две, три? Нет уверенности в том, что «знакомая» не учует его. Раскопать нору? Но тогда можно взять только волчат. Зато после волчица будет нещадно мстить всей округе. Бывали случаи, когда старая волчица вырезала до тридцати голов овец в одну ночь, мстя за своих детенышей. Нет, так нельзя. И постепенно, рассуждая сам с собой, взвешивая свои наблюдения за все дни, Сеня решил.

Как только пришло решение, он немедленно встал, оставил рюкзак в копне, проверил патроны и направился на другую сторону яра — туда, где выходила скрытая промоина. Вскоре он был уже там. Короткий и пристальный осмотр подтвердил, что тропа есть. Сеня застегнул ватник на все пуговицы, хотя ему и без того было жарко. Но ватника он в копне все-таки не оставил: он был ему необходим при исполнении намеченного. Идти по волчьей тропе было

невозможно: колючие кустарники и сплетения ветвей настолько густы, что пройти по ним можно, только расчищая путь топором. Сеня стал на четвереньки и пополз вниз по узкой промоине. Местами он передвигался попластунски. Верх ватника изорвался в клочья на половине пути. Он исцарапал лицо и руки о колючки терна и шиповника, но все лез и лез. Вскоре Сеня услышал журчание родника. Он остановился передохнуть. Прислушался. Вдруг на рукаве ватника он увидел самую настоящую мясную муху; это и обрадовало его и в то же время мурашки высыпали на спине: близко мясо — близко логово. Он уже почуял запах псины. А через минуту наткнулся на телячий череп. Сеня встал.

В пяти шагах от него была кручка. Над нею росла огромная дикая груша, корни которой свисали вниз. А между корнями зияло отверстие — волчья нора в естественном углублении. Перед норой — небольшая площадка в три-четыре квадратных метра, чистая, без растительности. И на этой площадке сидели два волчонка возрастом месяца полтора. Они смотрели на Сеню сначала удивленно, а потом все же юркнули в нору друг за другом: странный все-таки гость на двух ногах появился у них в доме, — лучше убраться.

Сеня пробрался к норе. Срезал кинжалом лещину и потыкал ею в норе, держа наготове ружье в правой руке. Нора была совсем не глубокой, не более метра, но широкой внутри. Волчата урчали там тихонько, удивляясь появлению палки, но других звуков никаких не издавали (волки лаять не умеют). Волчицы не было. Сеня снял с себя узкий ременный пояс, положил его в карман и стал расчищать лопаткой входное отверстие норы. Время от времени он останавливал работу и прислушивался. Иногда ему чудились шорохи — тогда он брал ружье на изготовку и некоторое время сидел в напряженном ожидании. К счастью, шорохи оказывались не волчьими. Но один раз он действительно весь похолодел: неожиданно над самым ухом застрекотала сорока, будь она неладна! А эта птица может привлечь волчицу своим криком. Она так, эта чертова сорока: человек пройдет — протрещит, волк пробежит — протрещит, заяц проковыляет — трещит, окаянная! Иногда Сене казалось, что ружье лежит не так удобно, чтобы при случае быстро схватить его, тогда он клал его прямо перед коленями, со взведенным курком, и продолжал работать. Встреча со «знакомой» здесь не обещала ничего хорошего — она появилась бы из гущины зарослей

одним прыжком, — и Сеня работал, работал до боли в суставах. Все ему казалось, что входное отверстие расширяется медленно. Но это только казалось: через полчаса он уже мог пролезть туда до половины туловища.

И вот он снял ватник. Прислушался. Вытер пот со лба рукавом. Еще раз посмотрел на ружье и... полез в логово. Какой-то особенный запах волчьей псины ударил в нос. Он ощупал рукой впереди себя дно логова: оно было чисто, без подстилки. Он повел ладонью по дну вправо и, наткнувшись на мягкое, заgrabастал всеми пальцами волчонка. Звереныш попался так, что рука Сени перехватила ему горло, и тот захрипел. Сеня вылез. Разжал пальцы. Волчонок хлебнул несколько раз воздух и, сразу опомнившись, попробовал нырнуть в логово. Но Сеня прижал его обеими руками, и, несмотря на то, что тот скалил зубы, извивался, урчал, он перевязал его поперек живота пояском. Темно-темно-серый щенок, не видевший никогда человека, уже возненавидел его всем существом: он грыз ремешок, кусал землю, но ничего не мог сделать. Сеня завернул его в ватник и направился старым следом на верх яра. Теперь, на гору да с волчком, ползти по промоине стало труднее. Но надо было спешить, иначе он может встретиться со «знакомой» здесь, на волчьей тропе, — нос к носу!.. И снова — проклятая сорока! Но он спешил, спешил изо всех сил.

Когда он поднялся наверх, рубашка представляла сплошные лохмотья, а тело исколото и иссечено во многих местах; это не так страшно — пройдет, главное в том, что Сеня уже наверху. Он вновь срезал палку, привязал к ее концу ремешок от волчонка и потащил его. Волчонок упирался, то волочался на всех четырех лапах, то на боку; иногда он ухитрялся вцепиться зубами в ремешок и так тащился волоком, свернувшись калачиком.

Сеня шел быстро. Но когда волчонок начинал кувыряться, он останавливался, давал ему немного отдышаться и снова тащил его дальше. Шел так, чтобы ветер дул все время в спину. Так он дотащил волчонка до воронки, откуда следил за волками ранее, в первые дни. Здесь он развязал обессиленного и измученного волчонка, который уже и не пытался укусить, — он тяжело дышал, вздрагивая. Затем Сеня быстро выкопал маленькую ямку, в полметра глубиной, завернул волчонка в ватник и уложил сверток в ямку, закрепив ремешок колышком к земле.

Теперь Сеня сидел с ружьем в руках, лицом на ветер, в ту сторону, откуда тащил волчонка. Расчет у него был

таков: волчица пойдет по следу волчонка обязательно, пойдет немедленно, как только появится в норе; ветер будет от нее — ружья она не почует, а Сеню увидит только в нескольких шагах. Он сам шел на короткую и страшную встречу со «знакомой».

Прошло уже много времени — Сеня не знал, сколько прошло. Он не заметил, как солнце свалилось за полдник, как уже упала прохлада, но он сразу ощутил приближение вечера по уменьшению ветра. Ветер затихал. Это было очень и очень плохо. Но, как только он это подумал, он увидел... «Знакомая» на рысях бежала по следу детеныша, опустив голову. Сеня прижался к земле, сжимая в руках ружье. Волчица бежала, не раздумывая, торопясь, прямо и прямо на Сеню: она была готова на все. Вот уже двести метров... Сто... Она повернула голову и посмотрела в сторону, не останавливаясь. Вот уже Сеня видит широкий лоб, палкой опущенный хвост и горбинку на спине.

«Не поранить, — думал он, — не поранить. Или наповал, или совсем не попасть». На какую-то малую долю секунды он вспомнил Машу, но это было только на миг... «Знакомая» остановилась в десяти шагах от Сени с ходу, будто напоровшись на что-то. Она почуяла. Она подняла шерсть на спине и, чуть оскалив зубы, пошла шагом. Сеня увидел бледно-красные десны волчицы. О, она уже точно знала, кто взял волчонка. Знала! И Сеня выстрелил ей в грудь. На секунду дым закрыл волчицу от него. Он-то знал, что перезаряжать одностволку поздно, и выхватил кинжал, встав на колени. И увидел: «знакомая» пала на колени, уткнувшись носом в землю; она подняла зад на лапы, не желая падать совсем; она еще хотела встать и сделать прыжок — один-единственный, последний прыжок, чтобы вцепиться зубами и, не разжимая их, умереть. Но она встала на четыре лапы и... рухнула наземь.

Все было кончено. «Знакомая» лежала перед Сеней. А он еще с минуту все стоял на коленях с кинжалом в руках, с запекшейся от царапин кровью на лице, в изорванной рубахе; он тоже был страшен.

...Самца он убил на следу волчицы: Сеня тащил ее волоком метров сто и снова засел в засаду. Волк напоролся на него, подскочив на больших прыжках, не подозревая засады. Увидев Сеню, он резко повернул в сторону, бросившись наутек, но картечь ударила в бок.

— Трус! — презрительно сказал Сеня, подходя к мертвому самцу.

В логове оказалось еще три волчонка. Их Сеня убил

уже утром следующего дня. Он стащил матерых волков и тех трех волчат в воронку и потихоньку пошел домой, неся под мышкой живого волчонка, завернутого в ватник. Он освободил ему голову совсем, ослабив ремешок на шее. Может быть, потому, что волчонку было уютно и тепло, а может быть, исстрадавшись, он был уже благодарен за то, что его приютили, — он не кусался, не рычал, но на Сеню не смотрел, отворачивая мордочку в сторону и вниз.

Последние метры до своей хаты Сеня шел через огороды с трудом, пересиливая себя, чтобы не лечь прямо на картошку.

Маши не было дома. Сеня посадил волчонка под печку, снял остатки рубахи и брюки, подошел к колодезю во дворе, вылил на себя ведро холодной воды, немного по сидел, без мыслей, на срубе и только после этого стал мыться.

...В правление он вошел тихо, как и обычно, и постучал к Алексею Степановичу. Тот отозвался:

— Входите!

А когда Сеня вошел, пожал ему руку, улыбаясь.

— Алексей Степаныч! — обратился Сеня. — За волками подводу бы послать.

— Уби-ил?!

— Убил.

И только после того как привезли волков, а народ собрался глазеть на них, обсуждая и восхищаясь, Алексей Степанович оценил и понял, что сделал Сеня: на это могли решиться только три охотника вместе, не меньше. А Сеня постоял перед волками в задумчивости и, не обращая внимания на похвалы и восклицания, тихо произнес, глядя на «знакомую»:

— Вот и все... Вот и все...

Ему до боли жаль было расставаться с волчицей.

Гурей понял это по-своему и сказал:

— Это, Семен Степаныч, тебя осподь бог, обратно, спас.

— Глупый ты, Гурей Митрич, хоть и пожилой человек, — возразил Сеня.

И удивительно: Скворец ничуть не обиделся, а сказал в ответ так:

— Каждому человеку, Семен Степаныч, богом, обратно же, свой разум дан. — Он помолчал и с явной завистью продолжал: — Это, значит, по триста рублей за голову от государства — полторы тыщи, да за шкуры, обратно, не меньше шестисот. Эва! Больше двух тыщ! — Он почесал

в затылке, крикнул от зависти и поддернул брючишки, уцепившись одной рукой за переднюю пуговку, а другой — позади. Гурка-Скворец очень сожалел сейчас о том, что не он убил волков, и ему казалось, что он вполне мог бы это сделать. Но он только повторил еще раз: — Да-а... Более двух тыщ.

Алексей Степанович дополнил:

— Это не все, Гурей Митрич: полагается премия от колхоза — по овце за каждого матерого волка.

Но Сеня не слушал Гурку. Сеня смотрел и смотрел на «знакомую» не отрываясь и сказал еще раз, тихо, шепотом:

— Вот и все кончено...

Дома он вытащил волчонка из-под печки и задумчиво смотрел на него долго, долго. А рядом сидела восхищенная Маша.

Было это два года тому назад. Волчонок стал уже большим волком. Никому из чужих он не позволяет к себе прикасаться, кроме Кости. Алексей Степаныч все так же бесшумно руководит колхозом и часто заходит к Сене, домой. Тогда волк смотрит на председателя спокойно, с достоинством.

В общем, если хотите видеть ручного волка, заходите к Семену Степановичу Трошину прямо в колхоз «Светлый путь». Только имейте в виду, днем его не застать — он обязательно на работе. А если охотится, то придется подождать его денька два. Он все тот же, так же любит жизнь — вот эту, нашу, настоящую жизнь, что порою отражается и в капле.

Митрич

На стене висит охотничье ружье.

Бывает так: помотришь на ружье и что-то вспомнишь. И потекут мысли в прошлое. Всплывают в памяти мягкие вечера в августовском лесу, окружающем осоковое озеро, утренние зори весны, ласковая осень с золотисто-желтым ковром листьев или бодрый, как юность, беззаботно-веселый солнечный зимний день первой пороши. Много вспоминается. И везде ты проходишь не один. Кто-то встает в памяти среди этого прекрасного, родного и любимого.

А отлетающие журавли! Они напоминают почему-то о прожитых днях. И как хочется лететь с ними! Но когда услышишь первую трель скворца или жаворонка, не хочешь никуда улетать — ты стоишь и с замиранием сердца слушаешь. Слушаешь дыхание родных просторов, слушаешь и биение своего сердца и тот же крик журавлей, вернувшихся снова. Они вернулись! И журавлиная песнь уже не кажется такой печальной, как осенью. Нет, она радует и веселит в опьяняющем весеннем смещении перезвона трелей, далекого урчания тракторов, запаха набухающих почек деревьев и ласковых «барашков» молодого тальника, примостившегося на островке половодья. Нежные эти барашки! Нежные, как мочка уха ребенка.

И все это жизнь.

И все это вспоминается. И среди всего этого — люди. Много людей, разных. Много потому, что много лет прожито, много раз повторялись веселье весны, и красивые, по-своему печальные осени, и бодрые, а иногда суровые зимы. Но среди множества разных людей всегда кто-то неотступно живет в памяти.

...Тот весенний вечер во время половодья помню хорошо.

Уже почти стемнело, когда, покинув лодку и подкормив кряковую утку, я раскладывал костер на берегу половодья. Сумерки весной наступают, кажется, как-то сразу: то видишь далеко-далеко, а повозись чуть, забывшись, — через двадцать минут и соседний дубок еле рассмотришь. И вот уже остаются одни силуэты: опушка леса, кусты

орешника, одинокий сухой татарник на меже — все черно, все кажется крупнее, чем днем. В такие вечера природа в каком-то тихом, торжественном ожидании счастливого и большого — все ждет настоящей зеленой весны.

Совсем недавно в могучем раздолье половодья утонула зима, а уже вербы обозначились почками, пахнущими по-весеннему, и запах подснежников струился весело в воздухе, заставляя невольно улыбаться каждого, кто любит родное. Весенний тихий, безветренный вечер был наполнен звуками, но тоже тихими: пискнула где-то вблизи мышь; над опушкой прокричал запоздавший любовник-вальдшнеп свое скрипящее «хор-хор-хор»; кто-то невидимый шуркнул в кустах: ласка ли, хорь ли — неизвестно; просвистели утиные крылья, а издали, с острова, донесся разговор гусей, обсуждающих весенние дела. Но все эти звуки до того были осторожны, до того мягки, что тишина не нарушалась и оставалась такой же ласковой.

Но вот разгорелся костер, и окружающее совсем ушло в темноту, покрылось черной завесой. Лишь ближайшие кусты казались живыми — они шевелились и вздрагивали в играющих отсветах огня. Потрескивание костра уже не позволяло различать тонких звуков, зато как уютно на этом светлом пятячке среди всеобщей темени!

Вот тогда-то я и услышал, как кто-то медленно, не спеша подходит к костру; добрый ли человек, враг ли — неизвестно. Из темноты вырезалась фигура крупного человека.

— Огонек, — как-то задумчиво произнес он. И потом уж поздоровался: — Добрый вечер!

— Добрый вечер! — ответил и я.

Незнакомец снял с плеча ружье, сумку с селезнями и присел перед огоньком на колени; потом по-хозяйски поправил костер палкой. Все это он делал молча, смотря в огонь и будто не обращая внимания на мое присутствие. Казалось, он хозяин, а я гость, но ничуть не наоборот.

— Значит, охотиться в наши места заехали? — спросил он ровным баритоном.

Теперь он смотрел на меня. Было понятно: он с первого взгляда определил, что дело имеет с человеком не из здешних мест.

— Заехал, — говорю. — Назначили агрономом в Лисоватое. Послезавтра приступлю к работе.

— А-а... — протянул незнакомец неопределенно. — К нам, значит. Я-то из Лисоватого.

Затем он расстегнул ватный пиджак, вынул из-за пазу-

хи сверток, развязал его, достал оттуда краюшку хлеба, по солил и стал есть. Во время еды спросил:

— А вы откуда прибыли?

— Из Шустовалова.

— У вас-то там как?

— Насчет чего?

— Насчет колхоза. Всех — того?

— Все вступили.

— А у нас не все: двое отказались — уехали из села, в город.

Он замолчал снова. Перестал есть. Задумался. Потом вздохнул и, как бы застеснявшись своего вздоха, взглянул на меня. Что-то тяготило моего собеседника. И я решил продолжить прерванный разговор.

— А вы, — спрашиваю, — вступили?

— Вчера отвел лошадь... — Он вздохнул уже без стеснения. — Отвел... — А помолчав, добавил: — Жеребая...

— Жалко, значит?

— А как же... Думки разные. — Он положил на колено хлеб, почесал за ухом, чуть сдвинув трех на висок, и продолжал: — Привычка. Жеребеночком купил ее. Воспитал. Работал на ней... Отвел теперь. Совсем отвел. Нету лошади.

Он безнадежно махнул рукой, взял краюшку и снова принялся жевать. На левой ладони он держал разостланную тряпицу, в правой руке — краюшку хлеба; откусывая хлеб, он чуть наклонялся к тряпице, собирая крошки. Делал он все это так, как делают дети, когда едят халву. Ел и молчал.

Я тоже ел и посматривал на собеседника. С виду он был спокойным, неторопливым. В меру широкий нос, небольшая, но плотная борода как нельзя лучше подходили к могучим плечам. Глаз его не было видно под густыми сдвинутыми бровями; он казался суровым. Ему можно было дать лет пятьдесят пять.

— А давно купил лошадь-то? — спросил я.

— В двадцать шестом году. Жеребеночком, говорю, купил. Четыре года ей теперь.

— А до этого были лошади?

— Не было. При советской власти нажил, при советской власти и... прожил.

Закусывать мы кончили одновременно. У меня остался кусочек хлеба, и я по привычке бросил его недалеко от себя. А мой собеседник стряхнул крошки с тряпицы на ладонь, проводил их в рот и недружелюбно заговорил:

— Я так думаю: не пройдет коллективизация.

— Это почему же? — спрашиваю.

— Ты, видишь, кусок бросил, а надо... крохи беречь. Когда я подметаю ток, то, может, на такой кусок и намету всего-навсего. А ты выбросил.

По тому, как он неожиданно перешел на «ты», я понял, что потерял его уважение.

— Ну, крошки-то не экономия, — пытался я оправдаться.

— Не стой за кроху — и всего ломтя не станет. Слышал такую поговорку?

Мне нечего было возразить, и я только сказал:

— Конечно. Да.

— То-то вот и оно. И в колхозе так может получиться: один будет по зернышку собирать, а другой кусками выбрасывать. — Он немного помолчал и продолжал: — Опять же эти самые трудодни... Как это так?

— Ну, будут записывать, а потом распределять — кто сколько заработал.

— Здорово! — ухмыльнулся он. — Здорово: год работай, а там... Нет, ты мне дай квитанцию такую: проработал, дескать, день. И чтобы печать была.

Спорить я не стал, потому что и сам еще не знал, что лучше — просто записывать или давать квитанцию с печатью. А до трудовых книжек мы еще не додумались.

— И лошади, скажем, тоже... На моей вчера же работал Илюка Козодой. Всю в мыле пригнал. Ну, как это так? — спрашивал он не то у себя самого, не то у кого-то отсутствующего, но только ко мне этот вопрос не относился: он просто не считал меня лицом компетентным, видел во мне юнца со школьной скамьи. Однако я спросил прямо:

— Не верите в колхоз?

Он пристально посмотрел на меня. Подумал. Потом уж ответил совсем мягким тоном, не похожим на недавний:

— Как тебе сказать? Не то чтобы не верю, а... сумлеваюсь. — Он наклонил голову в задумчивости. — Оно ведь на всю жизнь. А как все получится — неизвестно. Сумлеваюсь.

Так, с наклоненной головой, он посидел еще немного и неожиданно сказал:

— Пойду.

— Домой?

— Домой.

— А на утреннюю зорьку не хотите остаться?

— Хватит: четырех убил.

Так же неторопливо он собрался, перемотав портянки, сказал:

— Прощевайте!

— Как же звать-то? А то просидели вечер, а...

— Митричем зовут, — ответил он уже на ходу.

— До свиданья!

Его чуть-чуть сутуловатая спина медленно потонула в темноте.

Где-то далеко прогоготал гусь. Костер затухал. Звезды стали еще ярче, и Млечный Путь перекинулся торжественным мостом через весь мир. В ушах прозвучало: «Сумлеваюсь... Не то чтобы не верю, а сумлеваюсь...» Именно тогда я и почувствовал остро, по-настоящему: началось новое, большое, началась борьба за нового человека. Почувствовал, несмотря на свою молодость.

Я разгреб остатки костра, подмел то место ветками сушняка, постелил сухой прошлогодней травы и улегся спать. Но уснуть сразу не удалось. Какая-то неловкость оставалась внутри от знакомства с Митричем, но что это такое — сразу не мог сообразить. И вдруг понял! Встал, отыскал со спичками тот, брошенный, кусочек хлеба, подул на него со всех сторон и положил в сумку.

Было мне в то время двадцать пять лет.

Колхоз «Заря» в Лисоватом входил в мой агрономический участок. Там я и поселился.

Однажды при встрече спрашиваю у председателя Лисоватского сельсовета Сучкова:

— Виктор Филатьевич! Какое ваше мнение о Митриче?

— Коршунков?

— Да.

— Василь Митрич. Та-ак! А что? — спросил он еще раз и, как показалось, посмотрел на меня подозрительно.

— Знакомый.

— Контра чистая ваш Митрич. — И с откровенной неприязнью осмотрел меня с головы до ног. Он сдвинул широкую кепку на затылок, засунул обе ладони за узкий кожаный поясок и пояснил: — Во всех мероприятиях контра.

— Кулак?

— Если бы кулак — раскулачили бы. Не придерешься. А контра.

— Объясните поподробнее, — попросил я.

— Поживешь, молодой человек, — может, и увидишь.

ря с ним связался. «Знакомый!» — ухмыльнулся он, сдвигнув губы на одну сторону.

По официальному тону председателя и по иронической улыбке можно было легко почувствовать, что неприязнь к Митричу в какой-то степени перешла и на меня. Сучков ушел, даже не попрощавшись.

А недели через две после этого случая мы с председателем колхоза, Махровским Иваном Степановичем, объезжали поля. И увидели такую картину. Пар десять лошадей, запряженных в бороны, стояли на отшибе, неподалеку от трактора. Никого около них не было. А у трактора собралась группа колхозников, вчерашних единоличников. Среди них был и Митрич. Шел какой-то большой спор. Мы услышали голос Митрича:

— Тогда слазь к чертовой матери!

— Это как так — слазь? — кричал тракторист с сиденья. — Ты меня не сажал!

Мы подъехали. Сошли с тарантаса. Спор сразу прекратился.

— В чем дело? — спросил Иван Степанович.

Никто не ответил.

— Почему не работаете? — повторил Иван Степанович. Заговорил Митрич:

— Если так работать — лучше не работать. Это что? — указал он на сеялки. — Одна сеет, а другая портит. Вы же нас так угробите.

Как раз в этот момент и подъехал председатель сельсовета Сучков. Он, не слезая с седла, крикнул:

— Опять против! Опять не так!

— Опять не так, — ответил Митрич и, отвернувшись от нас, смотрел вдаль, в поле.

— Чего ты с ним валандаешься? — обратился Сучков к Ивану Степановичу. — Выгони ты его из колхоза!

Иван Степанович ничего не ответил. Он вместе со мной осматривал обе конные сеялки, спаренные для тракторного сева. Спокойный, как всегда, скупой на разговоры, он держался за короткий русый ус двумя пальцами и о чем-то думал. Потом посмотрел на меня, слегка прищурившись, будто спрашивая: «Ну, новый агроном, что скажешь?»

— Попробовать надо, — говорю ему, отвечая на взгляд.

— Ну, давай попробуем. Заводи, — сказал он трактористу.

Тот завел трактор и потихоньку поехал. Мы пошли за сеялками. Высевающий механизм одной из сеялок то рабо-

тал, то вдруг начинал стучать, сотрясая сеялку, и переставал выбрасывать семена. Получались невидимые орехи, обнаружить которые можно только после всходов. Мы остановили агрегат и оглянулись. Все боронильщики стали расходиться по местам; один из них безнадежно махнул рукой и выразился непечатным словом. Митрич шел к нам, а рядом с ним ехал верхом Сучков.

— А куда выгонишь? — спрашивал у него Митрич.

— Место найду. Раз ты против советской власти...

Митрич остановился около нас и перебил Сучкова, глядя ему прямо в лицо:

— Такая советская власть, как ты, мне не нужна.

— А! Та-ак! Без контрреволюции не можешь слова сказать! Будьте свидетелями, — обратился он к нам.

— Опять таскать будешь, — угрюмо и зло сказал Митрич. — Не поймешь: мы ведь через твои дела перво-наперво и видим советскую власть.

— А какая же тебе нужна советская власть? — горячился Сучков.

— Вот такая, — указал Митрич на Ивана Степановича.

— Может, прекратите? — спросил у спорщиков Иван Степанович.

— Вот это поддержал! — воскликнул Сучков. — Развалишь ты колхоз.

— Нет. Не развалю.

— В сельсовете о тебе вопрос поставлю.

— Ставь.

— И поставлю! — Он отъехал от сеялок, но сразу же вернулся и спросил: — Сеять будете или так стоять?

— Ремонтировать сеялку будем, — ответил Иван Степанович.

— Исправную?! Ремонтировать?! — воскликнул Сучков.

— Исправную. Ремонтировать, — нехотя ответил Иван Степанович и обратился ко мне: — Что будем делать?

— Придется разбирать. С полдня простоим — ничего не поделаешь.

— Ведь сеет же, сеет! А вы — ремонтировать! — озлился совсем Сучков и помчался в галоп от сеялки.

Все помолчали.

— Прямо замучил, — заговорил первым Иван Степанович. — Шагу не даст ступить по-своему, а сам не смыслит. — И спросил, глядя в землю: — Ну что ты с ним будешь делать?

— В газету написать, — сказал я. — Новые формы хо-

зяйства — по-новому и руководить надо. Раз написать, два написать — поймет, исправится.

Митрич посмотрел на нас поочередно, почесал висок и заключил:

— Из свиной щетины кудрей не завьешь. Не способен. Сеялку отремонтировали.

А к концу посевной получили новенькую тракторную сеялку. Митрич стал сеять на этой сеялке, хоть и видел-то ее первый раз в жизни. Он ровным счетом ничего не понимал в механизме, а только следил за тем, чтобы семена сыпались ровно и заделывались хорошо. В противном случае он останавливал трактор и категорически запрещал двигаться вперед. Даже секретарь райкома, а не то чтобы какой-либо уполномоченный, не смог бы заставить Митрича поступить иначе. В таких случаях он посылал кого-либо из ребятешек или шел сам за мной, за Иваном Степановичем или за бригадиром тракторного отряда.

Все детали машины он называл необычно, по-своему: шестеренки — «зубовые колесики», сошники — «клевы», высевающие катушки — «рубельки» (видимо, от слова «рубель»). Только колеса сохраняли свое настоящее название, известное еще прадедам Митрича. К слову сказать, и тракторист, молодой малый, тоже ничего не понимал в тракторной сеялке. Вот так и сеяли в те давно ушедшие в прошлое времена. Трудно тогда было агроному, а еще труднее председателю колхоза.

И все-таки по настоянию Сучкова на заседании сельсовета вынесли Ивану Степановичу выговор «за срыв сева исправной сеялкой» и предложили: Митрича «снять с сеялки как сомнительного в политической плоскости вопроса». Сучков голосовал это предложение трижды, то есть до тех пор, пока не получилось большинства.

Вскоре в районной газете появилась моя статья «Самодур Сучков». Я решил заехать к Митричу домой и показать ему статью самолично. Но он встретился мне по дороге. В руках у него был посошок, за спиной — сумка.

— Далеко? — спрашиваю.

— В райком.

— Не ходи, Митрич. Вот смотри. — И я показал газету.

Он здесь же медленно прочитал, шевеля губами и времени времени почесывая висок. Потом расправил бороду, надвинул картуз плотнее и сказал:

— Здрóво. А все-таки пойду. Это дело, — он указал на газету, — потянется далеко. А надо сразу.

Отговаривать его я не стал — знал, что бесполезно.

Секретарь райкома Некрасов принял Митрича хорошо Усадил его в кресло.

— Как вас величать? — спросил он вначале.

— Василь Митрич Коршунков — кавалер Георгиевского креста.

— Постой, постой! Что-то я вспоминаю... Где-то я слышал...

— «Контра», — напомнил Митрич.

— Гм... Да. Точно — «контра». — Теперь уже Некрасов смотрел на Митрича испытующе. — Что же вы хотели?

— Повидать вас хотел.

— Ну, вот я.

— Значит, такое дело. Не получится ничего из колхоза: без хлеба можем остаться.

— Не понимаю.

— Тут и понимать нечего.

— Вы что, против колхоза?

— Нет. Не против. Но сумлеваюсь.

— В чем?

— И в вас вот сумлеваюсь.

— Это дело ваше, — с оттенком недружелюбия сказал Некрасов.

— Ясно, мое. Только не обижайтесь. Я правду говорю. К примеру, вы главный райком. А почему Сучкова допустили к советской власти?

— Выбрали, — неопределенно ответил Некрасов.

— То-то вот и оно. Вам же и поверили. Вы же тут обсуждали, а мы вам верим. Вот я и сумлеваюсь теперь.

— Вот оно что! Да-а, — протянул Некрасов.

— Да. Были, значит, кулаки — Сучкову надо было их осаживать. Осаживал. Нас не касался. Теперича кулаков нету, а он привык осаживать. Ну и... не туда прет. Не может простого сумления отличить от контры.

— Так, так. Говорите, говорите!

— А я все сказал: сумлеваюсь и в вас. Должны видеть все до тонкости.

Некрасов развернул газету со статьей о Сучкове, Митрич внимательно следил за собеседником и молчал. Потом секретарь райкома посмотрел в окно и, задумавшись, сказал:

— Да... Сучков часто говорит, что он «стоит на платформе советской власти»... А получается вот как.

— Не верьте вы ему. Не верьте. Он, может, и стоит на платформе, да поезд-то давно уж ушел дальше, а он все стоит.

Некрасов рассмеялся. Но Митрич не улыбнулся. Он сказал:

— Ничего тут смешного. Все правильно. — И, кажется, даже обиделся: взял картуз, сумку и встал, приготовившись уходить.

Некрасов тоже встал из-за стола, усадил Митрича, отнял картуз и сумку и сказал:

— Все рассказывайте подробно. Все. С самого начала. Как жили до колхоза, как дела в колхозе, дома.

— Так, значит. Кобылу я отвел в колхоз жеребую. Теперича ее помаленьку стал забывать. Ну, трудно забыть такую лошадь: иной раз заскребет в душе так нудно — не без того...

И Митрич рассказал обо всем, что случилось в его жизни за последний год.

После того, как Сучкова сняли с поста председателя сельсовета, он, выпивши, встретил меня по пути в правление колхоза, остановился, посмотрел в упор и произнес презрительно:

— Писака... Хуже контры. — Потом взялся рукой за затылок, смяв фуражку, скривил тонкие губы и воскликнул: — Была советская власть — нет советской власти! Все! — и пошел дальше покачиваясь.

Он, бедняга, и не подозревал, что кроме меня в его катастрофе виноваты и Митрич, и секретарь райкома, и Иван Степанович, с которым беседовал наедине Некрасов. Мне почему-то было жаль Сучкова, опоздавшего, по выражению Митрича, на поезд и не понявшего этого. Он не стал пьяницей. Нет. Он просто попил несколько дней с горя и бросил. Из колхоза никуда не ушел и работал заведующим фермой, а несколько лет спустя — кладовщиком.

А Митрич так и жил — с виду спокойный, но внутренне напряженный.

Шли годы.

Колхоз «Заря» жил неровной жизнью: иной год на трудодень дадут подходяще, а при недороде — граммов триста — пятьсот хлебом и около полтинника деньгами. В такие годы Митрич становился угрюмым. На общих собраниях он говорил мало, коротко, но всегда ругался: и председателю Ивану Степановичу, и райкому, и агроному — всем доставалось. На одном из отчетных собраний, когда Иван Степанович сообщил о недороде яровой пшеницы

как причине маловесного трудодня, Митрич попросил слова и спросил:

— Зачем сеем яровую пшеницу, если она у нас спокон веков не родила?

— План, — коротко ответил Иван Степанович.

— Так и будем без хлеба, — заключил Митрич при общем одобрительном гуле собравшихся.

— Надо искать пути повышения урожая яровой пшеницы, — вступился я за Ивана Степановича, — а это не так просто.

— Вот и ищи эти самые пути. Найдёшь — тогда и дай сей, — сразу возразил кто-то из задних рядов.

И вдруг Митрич неожиданно вышел к столу и сказал, обращаясь к президиуму, будто говоря от имени всех:

— Значит, так: деды пробовали сеять — не родилась, мы пробовали — не родилась, а вы на моем пузе опыты с яровой пшеницей... Не будет дела из нашего колхоза.

Ну, что ему ответить? Мы переглянулись с Иваном Степановичем. Потом он посмотрел в окно и застучал пальцами о стол: дескать, нечего ему ответить, попробуй ты. Приходилось говорить о том, что мы не сделали всего, что надо сделать для урожая яровой пшеницы, что виноваты и мы и колхозники. Но Митрич еще раз встал и сказал в заключение:

— Уж как апельсин хорош! Да нельзя же его у нас, в Воронежской, сажать. Нельзя? Конечно, нельзя. А скусно. Ой, скусно!

Сдержанный шепот прокатился по собранию. Послышался легкий смешок.

А вечером, после собрания, мы сидели с Митричем на завалинке и разговаривали по душам.

— Кто виноват? — спрашивал Митрич прямо, без обиняков.

— Планы не те, — отвечал я.

— А ты пиши, стучи, говори там наши слова: «Не родит, мол, спокон веков». Пиши в газеты — ты умеешь. Ты напишешь, другой напишет — сразу поймут. Ведь хотят же там, вверху, хорошей жизни народу? — спрашивал он и поднимал палец вверх. — Хотят, — отвечал он, и я подержал его кивком головы. — Хотят, — подтверждал Митрич еще раз с полной уверенностью. — Откуда же у вас такой рыбий закон: «Плыви — молчи, лежи — молчи»?

— Не в этом дело, Митрич. Ученые говорят, что яровая пшеница будет по пласту родить, что «белое пятно», где

на якобы не давала урожая, выдуманно, что она должна юдиться. Надо пласт создавать из многолетних трав.

— Не будет она родить,— категорически заявил он.— Народ лучше знает. Не будет. Ее «швейка» заедает (так он называл вредителя яровой пшеницы — шведку). А «белое иятно-то» не у нас, а в мозгах того ученого, который народа не слышит. А мы от этого в сумленье входим.

Вот так Митрич всегда и сомневался, всегда искал разрешения своего сомнения. Иногда мучительные вопросы оставались неразрешенными, и он надолго замолкал. Но работал ежедневно — от зари до зари. Даже если уходил на охоту в дни особо сильных сомнений, то только на зорьку, а к утру — в колхоз, на работу. Сомнения же свои он мог высказывать любому. Приедет, например, какой-нибудь уполномоченный из области, Митрич и с ним может сразиться.

Однажды после такого спора уполномоченный из области в присутствии Некрасова спросил у Ивана Степановича о Митриче:

— Что за колхозник?

— Работник хороший,— ответил Иван Степанович коротко, как всегда,— но... с душком.

— Это как понять?

— Работает хорошо, но всегда недоволен чем-нибудь...

— Чем именно? Точнее.

Иван Степанович помялся. Ответил не сразу:

— Недостатками... неправильным руководством... планированием. Мало ли чем...

— Был раскулачен?

— Нет. До революции — бедняк. С двадцать шестого года — середняк.

— Странно! — удивлялся приезжий руководитель.— Колхоз уже десять лет существует, а у вас такие... митричи. Запустили. Массовую работу запустили.

— Ничего странного,— не особенно смело, но с достаточной уверенностью возразил Иван Степанович.— Ему почти никогда невозможно возразить — всегда в точку.

— Значит, и против планирования агитирует тоже «в точку»?—И уполномоченный в упор рассматривал Ивана Степановича.

И Иван Степанович решился:

— В точку, да. Не родит же яровая пшеница? Нет. А кукуруза родит, да ее нам не дают. Колхозники-то в годы недородов живут усадьбой. А что на усадьбе? Картофель... кукуруза.

После этого и уполномоченный, и Некрасов, и Иван Степанович замолчали. Они смотрели в разные стороны. поочередно барабанили пальцами по бочке, около которой стояли на току, потом закурили и начали говорить о погоде, о сроках уборки, о заготовках — в общем, о самых важных делах. Интересно, что Некрасов совсем не вмешивался в этот разговор — он изредка улыбался, будто говоря: «А посмотрим, что извлечет уполномоченный из таких прений». Потом-то они, может быть, между собой и говорили на ту же тему — не знаю. Наверно, говорили. Умный был человек!

А Митрич в тот день продолжал скирдовать снопы. Он стоял на скирде, пропуская через свои руки, может быть, шестую тысячу снопов за день, и, конечно, ругал своих помощников-скирдоправов:

— Ну, как кладешь гузырь?! Куда затынул? Ямкой сложишь — мокрость пройдет до дна... Я чего сказал?! Надо все планово делать. Планово,— повторял он несколько раз, подразумевая под этим «хорошо», «толково».

Никто не видел Митрича уставшим. Никогда он не спешил, но и не сидел без дела. И все-таки ему никто из приезжавших (уполномоченных или другого начальства) не доверял, видя в нем человека ненадежного. Этому отчасти способствовал и Сучков, работавший с тысяча девятьсот тридцать восьмого года кладовщиком колхоза; он при всяком удобном случае произносил свое слово «контра» и добавлял:

— У нас народ — беда! Любому руководителю шею свернут. С таким народом выйдешь в передовые — держи карман шире!

Но, несмотря на утверждение Сучкова о народе, свертывающем шею «любому руководителю», Иван Степанович бессленно оставался председателем колхоза. Каждый год на отчетных собраниях его разбирали «по косточкам», ругали напрямик, обвиняли в смертных грехах — «сеет не то, что надо сеять», «денег мало дает на трудодень», «свиньи убыточны». Послушает иной раз такое кто-либо из районного руководства да и поставит вопрос в райкоме о переизбрании председателя. Так действительно и случилось однажды, когда сам Некрасов чуть-чуть не ошибся, но колхозники его поправили.

Дело было так. Приехал он на отчетное собрание. Сначала, как и полагается, сделал доклад о работе Иван Степанович. Потом критиковали председателя по всем швам. Сильно ругали! Видит Некрасов — недоволен народ. От-

крылись ему и недостатки, которых он не замечал раньше. Вот и поставил вопрос о замене председателя. Тут-то и началось.

— Кто имеет слово по вопросу о замене? — спросил председательствующий на собрании старший конюх Егор Ефимыч Ермолов.

Никто не отвечал. Молчали. А потом из заднего угла при общем молчании послышались громкие возгласы, совсем не относящиеся к повестке дня:

— Мишка!

— А?

— Ты быка загнал?

— Загнал. А что?

— Как «что»? Бык же.

— Ясно, бык.

— Кто имеет слово? — повторяет вопрос Егор Ефимыч. Он стоит за столом президиума, чисто выбритый, высокий, жилистый, очень крепкий, несмотря на свои полсотни лет, и ждет ответа. — Кто имеет слово?

В ответ — голоса:

— Покурить бы.

— Уши попухли от недокура!

— Перерыв! Надо перекур.

А от стены кто-то заговорил с этакой тонкой иронией:

— И что это у нас за председатель колхоза! На собрании — не покури, в клубе — не ругнись, в коровнике — фартуки белые на доярках. Тьфу!

— Конечно, перерыв надо, — перебил его другой голос без всякой, казалось, связи.

— Объявляю перерыв! — крикнул Егор Ефимыч густым басом, отлично идущим к нему.

Да и что оставалось делать председательствующему, если поднимается галдеж и никакого укороту сделать нельзя — хоть звонок разбей. Егор Ефимыч хорошо знал народ своего колхоза.

Почти все вышли из клуба, разбились на группы и разговаривали уже тихо. Потом от одной из таких групп отошел Митрич и направился прямо к Некрасову. Он подошел к нему и заговорил, отведя его чуть в сторону:

— Я прошу слова насчет председателя.

— Пожалуйста! Вот начнем сейчас — первым и выступите.

— Нет, я вам хочу сказать. Одному. — И, не обращая внимания на удивление собеседника, начал так: — Иван Степаныч — человек партийный. Знаем мы его с самого

малу, с пастушонка. В подпасках он у меня ходил. Понимаете: сирота.— И замолчал, ожидая того, какое действие произведут эти слова.

— Таких биографий много,— сказал Некрасов.— Не надо смотреть, как руководит. Свиноводство-то в плохом состоянии? В плохом. В поле...

Но Митрич перебил без стеснения:

— Конечно. Географией таких много. И толк не из каждого выходит.— И продолжал начатую ранее речь: — Сирота, значит. В комсомолах ходил — телят пас, до колхоза. В партию поступил, тоже до колхоза,— на «фордзоне» работал в СОЗе¹. А потом уж, потом выбрали в председатели. Правильно: география его без образования. Но скажу: книжек у него полон дом. И такие толстючие есть — как саман. Прямо — саман!

— Да вы же сами уничтожили его своей критикой! — воскликнул Некрасов.

— Ну, что вам сказать! — воскликнул уже и Митрич, хлопнув руками по бедрам.

Подходили к ним поодиночке и другие. Прислушивались. Курили, конечно, весьма сосредоточенно. А Митрич, оглядываясь на подходивших, продолжал убеждать собеседника:

— Разве ж мы его изничтожили? Нет. Саду у нас сорок гектар: при ком посажено? Коровы: где лучше? А? Мы все это понимаем, видим. А раз видно, то чего об этом и говорить! Нечего об этом язык чесать.

— Вы же, вы сами ругали его десять минут назад,— обратился Некрасов к окружающим.

Все почувствовали некоторую неловкость. По взглядам было видно, что каждый так и думал: «А ведь и правда — сами же разделали Ивана Степановича под орех». И вот уже большинство собрания окружило Митрича и Некрасова. Лишь Иван Степанович не выходил из клуба, догадываясь, что разговор идет о нем, да счетовод из учтивости оставался с ним в помещении. От такого скопления свидетелей в разговоре «с глазу на глаз» Митрич постепенно терял дар речи, как и всегда: в этих случаях он мог сказать разве две-три фразы. И он сказал напоследок, незаметно перейдя на «ты»:

— Такое дело, понимаешь... Был у меня сын, Павел. Помер он — двое внучат при мне выросли. И мать ихняя померла... Помер.— Он прямо смотрел в глаза Некрасову

¹ СОЗ — артель совместной обработки земли.

и закончил: — А ведь я его раза два порол ремнем, Папутку-то. Разве ж я его не любил... сына?

Общее молчание прорвалось сразу со всех сторон:

— Мы ругали, мы и уважаем!

— Не желаем менять Ивана Степаповича!

— Только колхоз поднялся на ноги и — менять!

— Не на-адо!

Из зала клуба вышел счетовод и зазвонил колокольчиком, приглашая к продолжению собрания.

Входили, переговариваясь, балагурия, спеша докурить остатки сигарок, чуть задержавшись для этого в дверях. В зале стоял шум. Казалось, собрание будет бурным.

Еще раз прозвонил звонок. И снова тот же вопрос Егора Ефимыча, заданный уже со вздохом:

— Кто имеет слово?

В зале тишина.

— Кто имеет слово?

Слышно — жужжит муха на стекле окна. Вслед за вопросом Ермолова послышался полусшепот женщины:

— Осподи! Вот уж еще пристал!

Сказано это тихо-тихо, но все услышали и поняли, что относится это к председателствующему. Сразу взрыв хохота! Некрасов смеялся со всеми вместе. Егор Ефимыч тоже смеялся, хотя и позванивал вяло звонком, и наконец спросил:

— Что же будем делать?

— Резолюцию писать, — ответил за всех Митрич.

— Сперва работу надо признать, — вставил Сучков, ожидавший бури и втайне мечтавший о председательском месте (работать кладовщиком он считал ниже своего достоинства, не подозревая того, что находился именно на своем месте).

— Как признаем работу? — спросил у собрания Егор Ефимыч.

— Хорошей! — крикнуло сразу несколько голосов, будто сговорившись.

— Голосую!

Признали работу хорошей, а дальше, в резолюции, шел длинный перечень недостатков, такой длинный, что не укладывался на двух листах.

Вот так и получалось: Иван Степанович оставался бесшумным председателем колхоза с начала его организации.

Уже сад стал доходным, а там и на конопле, в низах, стали получать до двухсот тысяч дохода, бахча приносила не один десяток тысяч. Год от году доходы росли и уже

перевалили через два миллиона, трудодень через восемь рублей перескочил, не считая хлеба, — колхоз стал самым лучшим в районе, а Митрич... все ругался и всегда был чем-либо недоволен. Он даже и на Ивана Степановича ходил жаловаться в райком, этот беспощадный старик.

...Внуки Митрича, Николай и Петр, выросли, казалось, незаметно: то были недавно мальчишки, а то уже оба на машинах — Николай на тракторе, Петр на комбайне штурвальным. Оба плотные, коренастые — «в дедову породу пошли», как говорил Митрич не без удовольствия. Может быть, им иной раз и хочется поспать подольше, да дед тербит. У него правило: вставать до восхода солнца. Людей, которые встают после солнышка, он просто считал лентяями, недостойными земной жизни. Такая уж философия была у Митрича. Но как бы там ни было, а жизнь все улучшалась и улучшалась. Ребята стали хорошо зарабатывать, Митрич не хотел от них отставать — в дом пришел достаток. И Митрич стал подумывать, что пора женить внуков. Он высказал мне эту мысль спокойно, как решенное, выкладывал расчеты по расходам на это важное дело и заключил:

— Иначе нельзя. Разве ж это работа? Ему вставать на смену, а он только-только от соловьев прибыл... Да и старуха моя... того... слабеет: молодую хозяйку надо в дом.

И все это говорилось просто, обыденно, без тени намека на то, что и самому Митричу идет шестьдесят восьмой год, что он воспитал двух внуков, что это было очень трудно, что были годы бесхлебья, когда выручала усадьба. Ничего этого Митрич не говорил и, видимо, об этом не думал. Он только частенько ругал ребят, которые, как ему казалось, работают вполсилы. Да все так же высказывал свое недовольство непорядками в колхозе, в районе, в области и, прямо скажу, добирался иной раз до самого правительства. Так однажды он мне и сказал:

— Дали нам трактора и разные машины — спасибо! В ноги могу поклониться за то. Вот могу поехать в самый Кремль, стать на коленки и поклониться. Но... — тут он разводил руками, поднимал мохнатые брови в удивлении, — но налог-то с колхозников неправильный: с земли надо брать, а не со скотины. И еще скажу: да дайте же нам возможность сеять то, что нам хочется... Ну? Как? — спрашивал он в упор, не опуская бровей, глядя открыто и доверительно мне в лицо и отряхивая колени так, будто он только-только встал с земли.

Посмотрит, посмотрит Митрич так — и улыбнется. А я

высказывал ему свое искреннее убеждение в том, что в социалистическом государстве необходимо планировать сверху. Мы спорили, но Митрич оставался при своем мнении, настойчиво высказывая его из года в год.

А некоторые люди, из районного руководства, услышав такое, не спорили с ним, а утверждали, что «митричи» — люди опасные, подрывающие доверие к общественному плановому хозяйству. И Сучков со всей категоричностью произносил снова свое неизменное «контра». Не было доверия к Митричу со стороны начальства.

Но мы с Иваном Степановичем понимали, что Митрич очень хорошо знает землю колхоза, помнит тысячи разных местных примет, почти точно определяет сроки сева разных культур, поэтому и шли к нему сами за советом. И кроме того: куда ни поставь Митрича в колхозе — он все сделает только отлично. Он в совершенстве владеет мастерством скирдоправа, знает толк в выпасах, точно знает, в каком поле можно пахать глубоко, а в каком нельзя; никто лучше его не наладит упряжь или телегу. А к его «особым» мнениям и постоянным сомнениям волей-неволей прислушивались, обсуждали между собой, иной раз спорили. Иногда Митрич сам приходил в правление и спрашивал у нас с Иваном Степановичем:

— Никак завтра собираетесь просо сеять?

— Даем наряд, — отвечаем.

— Обождите: бобовник не зацвел.

— Задержим же сев! — воскликнет Иван Степанович.

— И правильно задержите. Бобовник, он зацветает, когда земля нагреется. А просу в холодной земле — мгила.

Митрич уходит, а мы решаем: часть посеять «по Митричу», а часть — по-своему. И получается «по Митричу» лучше — урожай больше.

Но Митрич старел. Незаметно, но старел помаленьку — белели все сильнее волосы, баритон стал отдавать хрипотцой. И все же это был еще сильный старик: по-прежнему он ежедневно работал так, что дай бог молодому так работать. А по праздникам надевал очки с ниточками вместо заушников и читал газету или слушал хороводные и протяжные песни. Сидел на завалинке, закрыв глаза, и, не снимая очков, слушал. Послушает, послушает, встряхнет головой, скажет:

— Ух ты! Какой голосище-то у Мариши. Вот ведь какие девки бывают на белом свете! — и снова почитает газету.

Водки он не пил совсем никогда. А Кольку, внука явившегося раз пьяным в хату, выпорол ремнем без каких-либо раздумий, несмотря на то, что парню шел двадцатый первый год. Мало того, что Николай два дня подряд украдкой почесывал зад, Митрич еще и припугнул его:

— Вот пойду в этот самый твой комсомол да скажу: напился, мол, сукин кот, — они тебе там на собрании гуртом еще добавят ремня.

— Ну уж... Ладно, — ворчал Николай.

— То-то вот и ладно. Иван Степанович поумней тебя, а видал ты его пьяным?

Николай молчал.

— Не видал, — отвечал за него дед и задавал вопрос: — Понятно?

— Понятно, — сдавался внук.

— Ее, дуру чертову, водку, пить-то надо с умом. Без настоящего ума к ней и прикасаться нельзя... Молод еще.

После этого случая у них в семействе ремень получил особое название — «вырезвитель».

Так вот и жил Митрич со своими правилами, простыми и четкими: любя внуков, он их не баловал; работая не покладая рук в колхозе, возмущался недостатками; любя советскую власть, иногда поругивал и ее, если считал что-то неправильным согласно своему убеждению и хозяйственным соображениям. При этом ему совершенно было неважно, что о нем подумают (по крайней мере, так казалось со стороны).

...В те памятные дни Митрич был оживленным — он еще и еще раз обсуждал с ребятами вопрос о свадьбе. Купил дополнительно кабана, откармливал бычка, ездил за покупками. Для меня все же оказалось неожиданностью, когда он, войдя к Ивану Степановичу, сказал:

— Ну что ж... К тебе, Степаныч. Ребята просят в сваты. Николая сватать, за Маришу.

Это был особый знак уважения и почтения. И Иван Степанович, несмотря на занятость, не отказал. Свадьба была назначена на последнее воскресенье июня — самое удобное время, когда и прополка закончена и пары готовы, но уборка еще не начиналась, а сено в копнах. Все было предусмотрено, чтобы не нанести ущерба в тракторном отряде и в колхозе. Да и время хоршее — зелень, цветы, тепло: гуляй хоть сутки напролет.

О водке тоже договорились: гостям — до отвала, хозяевам — в меру, «по мере возможности», как выразился Митрич.

До свадьбы оставалась одна неделя. Все было готово.

И вот...

Среди дня, во время обеда, кто-то неожиданно застучал в окно, застучал кулаком в переплет рамы так сильно, что, казалось, сейчас посыплются стекла.

— Кто? — спросил я, вскочив из-за стола и подбегая к окну.

— Открывай! Беда! — крикнул Иван Степанович.

Я выскочил на улицу. Он положил мне на плечо руку и чуть сжал. Рука его слегка дрожала.

— Одевайся! Война!

Черная туча наплыла на солнце и мрачной тенью потолзла над селом.

Кто-то проскакал по улице верхом. Где-то заголосила женщина. Беспokoйный, тревожный, как при напасти, говор пошел по селу. Завыла собака, днем завыла. Очень редко воют собаки днем. Люди спешили с поля: тарактели брички, звенело привязанное позади телеги ведро.

К правлению колхоза собирался народ. Люди шли туда, где определялась их судьба, шли так, будто там, в правлении, еще могли что-то сделать, чтобы предотвратить лихо. «А может быть, это еще и неправда», — думал каждый.

В правлении — уже битком. Репродуктор, потрескивая, молчал. Кто-то сказал, нарушив тяжелое молчание:

— Как же это так: мы с ним договор заключили, а он — вон что?

— Значит, подлый, собака, — ответил угрюмый голос.

И снова тишина. Курили. Изредка перебрасывались односложными фразами. Все ждали голоса из репродуктора. А репродуктор потрескивал и молчал.

Но вот все услышали позывные Москвы, потом голос Вячеслава Михайловича Молотова. Он обращался к народу.

Война...

Враг напал на Родину.

Митрич стоял рядом со мной. Картуз он держал перед собой, опустив руки. Белая прядь волос перекинулась на щеку. Он стоял молча, не шевелясь, склонив голову, будто сосредоточенно смотрел в землю.

Так он стоял все время, пока говорил Молотов, не шевелился и тогда, когда говорил Иван Степанович и другие. А когда закончился стихийный митинг, Митрич посмотрел на меня, откинул прядь волос, надвинул картуз.

Он что-то хотел сказать, но, видимо, трудно это было ему сделать. Я тоже смотрел ему в лицо. Оно было сурово и... спокойно. И вот он сказал то, что хотел:

— Ребят собирать надо. Пойду.— И пошел размеренным шагом, совсем не по-стариковски.

А через день провожали новобранцев. Провожали всем колхозом — от мала до велика. Женщины плакали. Новобранцы пели песни. Играла гармонь. Старики шли молча, угрюмые, знающие, что такое война. Вдруг неожиданно все затихло, все шли молча, семейными группами растянувшись по дороге. Но вот... ударила снова гармонь. Ударила... плясовую. Русскую!

Ах, гармонь, гармонь! Простая гармонь! Великую службу несешь ты на нашей земле. Это твоя теплая, радость струится в цветущем вишняке, когда первая любовь зарождается в душах молодых парней и девушек, это ты отщелкиваешь частушки, от которых парень краснеет, пьяница прячется на задворках, а лодырь волей-неволей идет на работу; это под твои захватские переборы выскакивают обличительные четверостишия, такие, что самому госпо-ду богу становится тошно; это ты врезаешься «барыней» в человека, так что трясутся поджилки, и все равно не выдержать никому, кто родился в России, — все равно пыль из-под каблуков полетит!.. Это твои печальные звуки раздаются по осеннему заморозку, придавившему последнюю траву, и тогда кажется: идет где-то парень и тоскует о том, что не женился, а жениться край надо; идет этот парень и жалуется белому свету: ой, как надо жениться! Это ты, гармонь русская с заемными басами, бодрешь народ на току в самые тяжелые страданные дни; это на твоих белых ладах, перекрывая дальний рокот тракторов, подыгрывает жаворонкам тракторист, свободный от смены. Да что там говорить! Тебя и соловей не боится: ты играешь любовную, а он рядом, тут же в кустах шиповника, поет свое, но очень похожее по настроению и смыслу. Но ты же — ты, гармонь! — в предвечернем затишье боя, под глухую, далекую бомбежку прибавляешь силы утомленному солдату и напоминаешь ему о нежных и ласковых березах у колхозной околицы, о родных бескрайних полях, о милых сердцу людях, о Родине. Вот какая у нас гармонь!

Только ведь это я сейчас так говорю, а тогда я просто услышал плясовую и повернул лицо к Митричу. Рядом с ним, с котомками за плечами, шли оба внука. Митрич посмотрел на меня, потом на Петра и вдруг, как мне показав-

лось, улыбнулся. Да, он улыбнулся, толкнул Петю в бок и сказал:

— А ну, Петруха, покажи нашу породу! — и неожиданно ударил картузом о дорогу.

Петя снял котомку, обеими руками поплотнее закрепил на голове кепку и пошел в пляс. Нет! Никто в Лисоватом так задорно не плясал до рождения Петьки! А с виду — скромный белокурый паренек с удивляющимися всему на свете глазами. Он не знает, что такое война. И дед это чувствует, дед хочет, чтобы он подольше не знал этого, и кричит:

— Наддай, Петруха! Дроби! Дроби больше! Не плачь, бабы-девки, — Расею никто не поборет!

...Потом снова шли, то переговариваясь, то молча. Так и дошли до станции: плакали, плясали, молчали и думали, думали об одном: «Что-то будет?»

...Первый звонок. Тишина. Провожажущие стоят у вагонов.

— А телушку продай, — говорит колхозник лет сорока своей тихонько плачущей жене. — Хлеб расходуешь с умом... Война войной, а ребятишкам жрать надо. А обо мне что печалиться? Обуют, оденут, накормят. Не один иду — не плачь...

— Ничего, Коля! — говорит Митрич. — Придешь — оженим. — Он смотрит на невесту Николая, стоящую рядом, и спрашивает: — Ждать будешь, Мариша?

— Буду, — отвечает та и плачет.

У Николая навертываются слезы, и он, обнимая, целует невесту.

— Вот видишь: будет ждать. Не горюй — все будет, как и должно быть... планово, — произносит Митрич.

Второй звонок. Мертвая тишина. Гудок паровоза. Несколько женщин бросились с воплями к подножкам вагонов, а одна из них обняла поручни и запричитала старинное причитание:

— Улетает сизый голубь, улетает в бурю. На кого-то спокидает он свою голубку! На кого ж ты спокидаетшь деток-голубяток да под той ли черной тучей — горькою судьбою? Ой вы, тучи, черны тучи, облаки небесны, схороните мого мила, спрячьте от напасти...

— Гражданка! Поезд отправляется, — строго и официально заявил кондуктор и решительно, силой, оттащил женщину от вагона.

Голос кондуктора был сухим, строгим, и многим было не по себе от этой строгости, пока не увидели, что по ли-

цу кондуктора текли слезы. Все плакали. Только Митрич стоял, смотрел на ребят и советовал мягко, ласково и, казалось, спокойно:

— Главное дело — портянка, должна быть сухой всегда, постиранной. Нога в холе — телу вольно. Это — само главное для солдата. И'о кроме того: случаем придется с пищей туго, то в тот день затягивай «вытрезвитель» сразу на две дырки — способней в походе будет. Солдатская жизнь, она, брат, наука. — Последние слова он сказал уже тогда, когда поезд тронулся, и он немного прошел за ним по перрону.

И вот поезд отошел. А люди все стояли и стояли и смотрели вслед. И вдруг у Митрича тоже покатались слезы. Он не рыдал, даже не всхлипывал: просто катились слезы по внешне спокойному, суровому, трудовому лицу, которое каждый день видит восход солнца. Ребята уехали, не для кого казаться бодрым — вот и покатались слезы.

...Через две недели провожали на войну и Ивана Степановича. Всем колхозом проводили. Говорили речи, обещали, что колхоз останется передовым. А Ивану Степановичу надо было говорить ответное слово. Он встал на табуретку, сказал:

— Дорогие мои товарищи! Дорогие старики! Мы... — Он не смог дальше говорить и неожиданно, будто торопясь, у всех на глазах, приложил платок к глазам. — Мы... будем воевать хорошо.... Прошу вас... Больше хлеба!

Колхоз плакал...

Если вы, дорогой читатель, видели, как плачет колхоз, провожая на войну любимого председателя, то поверите и мне, что очень трудно это описать: слишком дрожит все внутри человека, когда он вспоминает такое. Слезы народные жгут сердце. Это не были слезы неверия и слабости. Нет! Это были те самые, знакомые всем нам слезы, которые потом перешли в ожесточенную ненависть к врагу. В начале войны наш народ не умеет ненавидеть, так же как умеет прощать после войны.

— ...Больше хлеба! — повторил еще раз Иван Степанович уже твердым, окрепшим голосом, повторил громко, во всю свою силу, так, будто хотел, чтобы его слышали все колхозы.

— Будет хлеб! — крикнул Митрич. — Не сумлевайся.

— Будет! — повторили эхом старики и женщины.

Молодежи призывного возраста среди провожающих уже почти не было.

Шла война. Председателем колхоза избрали Егора

Ефимовича Ермолова — бывшего старшего конюха. Руководил он, исходя из одного плана — хлеб фронту. И это было всем понятно. Бывало, идет он раненько, перед рассветом, вместе с бригадиром вдоль улицы, увидит — из трубы дым не идет, заходит в хату и говорит, почесывая морщинистую бритую щеку:

— Слышь, Марья! Может, пораньше бы истопила печку? Опоздать можешь.

И Марья, работавшая восемнадцать часов в сутки, стыдливо опускает глаза и отвечает:

— Проспала, Ефимыч, уж ты не сердчай...

— Ну, к чему! — И уходил.

Ложился Ефимыч позже всех, вставал раньше всех, а если надо было, то сам и косил и пахал. Очень крепкий человек!

А война шла. С фронтов приходили печальные вести: враг продвигался с угрожающей быстротой. Наши войска отступали. Осенью, в слякоть и изморозь, застревали автомашины отступающих войск, проходила пехота, измученная, угрюмая. А в колхозе рыли картошку, спеша убрать до морозов. Женщины, старики и дети копались в грязной и мокрой земле посиневшими руками, сносили картофель в бурты, а вечером отправляли собранное в ближайшую воинскую часть, с последующим переоформлением в отделе заготовок.

Бывало, напекут в обед картошки, сядут есть тут же, в борозде, и молчат. Потом кто-то из женщин скажет, вздохнув:

— Отступают.

— Отступают, — подтвердит другая.

Алена Вишнякова, хрупкая с виду женщина, проводившая мужа и сына, потихоньку заплачет. Но подходит Митрич, одетый в зимний кожух и плащ, и говорит душевно, но строго:

— Нельзя. Ему от этого будет хуже. Право слово, такая примета есть. Прекрати, Алена, прекрати. Что ты, аль добра ему не желаешь?

И Алена переставала плакать, потому что плакать о живом — плохая примета: Митрич знает лучше.

Иногда Митрич выходил на дорогу, когда женщины, отдыхая, засыпали замертво, смотрел на проходящие войска, думал, взвешивал. Низко нависали над землей осенние косматые облака, мжил, как через мелкое сито, дождик-моросей, хлюпала слякоть под разбитыми солдатскими сапогами, измесившими эту грязь от Польши до колхоза

«Заря». Солдаты шли, кого-то проклинали, кто-то кого-то ругал матом. Митрич подходил ближе и обращался к ближайшему солдату:

— Ну, как там дела-то, ребятки?

— Прет, собака...

— Как же теперь, ребята? А?

— Вот... говорят, закрепляются наши, — неуверенно отвечает солдат.

— А зачем же вы того... уходите? Как же так, ребята? — И горечь слышалась в словах Митрича, и упрек, и тяжкое сомнение, какого не было у него еще никогда, никогда за всю долгую жизнь.

Солдаты уходили от этого упрека, понурые и молчаливые. А Митрич все стоял и стоял у дороги, провожая их взглядом. А потом шел снова рыть картошку, рыл до сумерек скрюченными пальцами и рассказывал женщинам:

— С командиром роты говорил. Сказал: «Закрепляются»... Закрепятся и — хоп! — крышка. Уж командир роты знает!

Конечно, выдумывал он все это сам и усердно распространял среди женщин. Но чаще он оставался угрюмым, молчаливым. Старел он буквально неделями. А к весне тысяча девятьсот сорок второго года уже ходил с палочкой, тяжело на нее опираясь. Печальные вести все ниже и ниже гнули Митрича, но он неизменно вставал рано, даже раньше Ефимыча, выходил в поле, «разламывался» помаленьку и работал, работал. В ту весну он был ответственным за качество сева тракторными сеялками, поэтому находился при них неотступно.

Однажды, во время сева, к сеялке подъехали на военной тачанке два солдата.

— Здорово, дед! — поздоровался невесело один из них.

— Здорово, солдат! — ответил Митрич.

— Давай нам проса пару мешков. Шамать нечего — от снабжения отстали. Обрушаем — пшено будет.

— Поди в правление и спроси, — резонно заметил Митрич. — Это не мое, а колхозное.

— Может, и сеять-то не стоит, — заговорил второй.

— Как так? — спросил дрогнувшим голосом Митрич.

— Так — через месяц-другой, может, и сюда докатится, — ответил первый солдат.

Митрич преобразился: он вытянулся, выпрямился, посмотрел вдаль, в поле, потом на сеялки, на бурт мешков с просом, на солдат этих двух, воткнул свою палку с чистиком на конце в землю, расправил плечи и сказал:

— Подойди ко мне, солдат.

Подошел тот, что заговорил первым, и спросил:

— Ну? Насыпáть, дедушка?

И вдруг, неожиданно, Митрич ударил его в лицо кулаком. Ударил со всей былой силой. Ударил так, что солдат упал навзничь.

— Какой части?! — заревел Митрич на второго. — Какой ты солдат, если не веришь... твою мать!!!

И второй солдат опустил голову. Потом очухался и первый; он посидел на земле, вытер рукавом кровь с лица и стал искать глазами ушанку, но встретился взглядом с Митричем, наклонившимся над ним. Тот помог ему встать и сурово спросил:

— Ну, как?

— Эх, дед, дед! — с горечью ответил тот. — Самим тошно и... стыдно. — И ударил ногой по земле с озлоблением. Потом нагнулся, взял в горсть земли, сжал зубы так, что выступили на челюстях желваки, и сказал: — Наша земля-то... Тошно, дедушка!

— Тошно? А нам-то, а твоему отцу, твоей матери не тошно? Не должен ты сумлеваться, сукин ты сын! Закрепляются. Понимаешь: закрепляются... Мне генерал говорил, сам генерал. А сюда не придет он. За Дон не придет!

Трактористке-девушке Митрич строго-настрого приказал молчать об этом случае. А в бригадном стане рассказывал так:

— Подъезжают двое солдат. Спрашиваю у них: «Как там дела?» Отвечают: «О! На Дону такую силищу скопили, что не только немец, а даже все государства пойдут, и то — ни можно». «Ну, говорю, нате вам за такие добрые слова ведро проса. В ступе протолкете — каши наварите». Хорошие ребята! — Но все же добавлял: — Только кое-кто, из слабых нутром, распустились маленько, отступаючи. Ну, теперь-то все пойдет планово. Главно дело — хлеб им надо.

То ли Митрич в раздумьях сам дошел до той мысли, что Дон будет гибельным рубежом для врага в этой местности, то ли краем уха услышал в частых разговорах с военными, но случилось все именно так — немца здесь через Дон не пустили и начали бить его беспощадно. И до Лисоватого враг действительно не дошел, хотя был в Воронеже. Митрич, казалось, ободрился, повеселел, но без палки уже не мог ходить. Однако палка палкой, а на душе нет того камня, что лежал и давил. К тому же от Николая получил письмо, утешающее, бодрое. А Петр писал: «По легкому

ранению определили в госпиталь. Прележу месяца три, а там отпустят, наверное, домой». Какое уж там у него ранение — молчал, но главное — жив.

Пошли добрые вести одна за другой. Немца погнали обратно. А хлеба требовалось все больше и больше. Все понимали это без слов. Не хватало лошадей — стали запрягать коров колхозников; не хватало семян в колхозе — свозили свое собственное зерно, сберегаемое и хранимое про черный день; не хватало людей — каждый трудился за троих. Митрич, несмотря на преклонный возраст, работал ежедневно. И никаких сомнений у него не возникало. Никаких!

Но вот отгремели орудия. Прозвучала по стране радость победы. Начали приходить домой оставшиеся в живых. Вернулся Иван Степанович без левой руки и через неделю принял снова колхоз. Пришел Николай, в чине лейтенанта с пятью орденами, и сел за руль трактора. Вернулся и Петр, без ступни — на протезе, но тоже занял свое место штурвального на комбайне.

Все налаживалось. А Митрич вдруг, для всех неожиданно, заговорил своим давнишним, довоенным языком. На общем собрании в присутствии нового председателя райисполкома Тачкова он сказал:

— Неправильно! Мы в войну и половины пшеницы яровой не сеяли, а хлеба давали больше. А люцерна! На кой ляд ее? У нас спокон веков проса рожаются, а нам люцерну да яровую пшеницу суют.

— Да вы, дедушка, что: против основы нашей жизни, против планирования идете? Вы уже старый — не понимаете. А если понимаете, о чем говорите, это еще хуже, — убеждал Тачков.

— Я еще не стар: семьдесят седьмой только. Люди до ста живут. Только я говорю: или там вверху не видят, что нельзя сеять то, что не надо? Сколько лет об этом говорю!

— Мало ли что вы захотите, дедушка. Может быть, вы советской власти не захотите.

И Митрич уже кричал в сердцах:

— А какая же это советская власть — проса рожаются, а их нам дают сеять столько, что и гулькин нос кашей не намажешь. Сумлеваюсь! Не пойдет так дело. Контроль ну-жен, слов нет, но чтобы сеять то, что родится.

Старые, старые, давно знакомые речи Митрича!

А новый председатель исполкома уже спрашивал шепотом Ивана Степановича:

— Что это за дед? Что он делал во время войны?

— Обыкновенный колхозник, — отвечал Иван Степанович тоже шепотком. — Делал то же самое — работал.

— Хвостизмом от тебя пахнет, товарищ, председатель колхоза.

— «Сумлеваюсь», — возражал, улыбаясь, Иван Степанович, подражая Митричу.

А после собрания мы втроем засиделись в правлении. Иван Степанович говорил председателю райисполкома:

— А подумать хорошенько — Митрич-то и прав. Что важно? Больше получить хлеба и кормов. А это значит — не сеять таких культур, которые дают плохой урожай.

Нечего было возразить против этих слов. И все втроем решили: посеять сорок гектаров проса «сверх плана» за счет «погибшей» люцерны, а озимые увеличить (опять же «сверх плана»), используя картофелище и площадь после уборки чечевицы.

Только Митричу этого было мало. Он главному (главному!) агроному райзо сказал однажды после лекции:

— Мы твою структуру не понимаем пока. Сперва хлеб требуется всем и мясо, а потом эта самая, как ее, структура.

— Ты, дед, ставишь вопрос вверх ногами, — горячился агроном.

— Так и надо. Попа если поставить вверх пятками, тогда только и узнаешь; что он в портках ходит.

А агроном уже ворчал вполголоса:

— Эх-хе-хе! Корявая старина... — и начинал все снова, искренне предполагая, что его не понимают.

И удивительнее всего то, что Митрич продолжал терпеливо слушать. Слушал каждый год по несколько раз, сомневался и возражал. Возражал всегда.

...Но вот уже и подошло время, когда Митрич не смог нести обычной для него физической работы, — пришла старость. А не работать он не мог — шел в поле и все-таки работал. Иван Степанович все это замечал и думал о том, как облегчить труд Митрича. Наконец он вызвал его к себе и говорит:

— Василь Димитриевич! Бахчу некому охранять. Нужен надежный человек. Может быть, станете... сторожить?

Митрич, в пропотевшей пятнами рубашке, оперся подбородком на палку, посмотрел в пол, подумал. Потом поднял глаза на Ивана Степановича, увидел, что председатель-то тоже совсем седой, прикинул, что Ивану Степановичу уже за пятьдесят пять, и сказал:

— Что ж поделаешь... Бахчу надо воспитывать. Надо. Дело твое — кого поставить.

И стал жить в поле, в шалаше.

Ночами Митрич не спал — ходил по бахче, а если слышится шорох, стрелял из ружья вверх и кричал: «Держи, держи его! Егор! Забегай справа!» Никакого Егора с ним не было: это он так — для остротки.

Ребятишки, конечно, шалили, подползая на животах и откатывая арбуз в овес, и ночные крики Митрича регулярно повторялись. Охранял он добросовестно. Утро он встречал так: дождется восхода солнца, трижды, по привычке, перекрестится на него, умоется родниковой водой и пойдет осматривать бахчу. Крал ли кто, заяц ли обгрыз зеленую дыню, волк ли полакомился спелой дыней — все заметит Митрич. То сорняк вырвет при обходе, то плети поправит, то арбуз перевернет для созревания. Потом, к вечеру, доложит обо всем Ивану Степановичу: какой урон за ночь и что сделано днем. После утреннего обхода сноха, Мариша, жена Николая, занесет завтрак. Митрич позавтракает и ложится спать на часок-другой.

И вот однажды случилось так. При утреннем обходе бахчи Митрич почувствовал, что ноги как-то отстают от него — сделались тяжелыми, непослушными. За всю свою жизнь Митрич ни разу не болел никакими болезнями, а тут вдруг, ни с того ни с сего, ноги отяжелели. Мариша принесла завтрак, стала у шалаша и смотрит на деда. Он увидел осот в междурядьях и захотел уничтожить, как это делал обычно. Попробовал выдернуть — никак. Еще раз попробовал — не выдернул. Постоял-постоял около сорняка, покачал головой, глянул на восход и вслух спросил сам себя:

— Что же это ты, Василь Митрич Коршунков? А?

Потом обернулся к шалашу, увидел Маришу и пошел к ней. Шел медленно, волоча ноги, зачеркивая носками свой последний путь по полю. Подошел. Сел. Сказал:

— Вышел конь из упряжки — и пустую бочку не везет...

— Что с вами, дедушка?

Он посмотрел Марише в глаза, светло улыбнулся и без какой-либо горечи сказал:

— На днях помру, Мариша. Подводу мне — домой надо.

Дома приказал себя искупать, постелить на кровать чистое белье, надеть смертную рубаху, припасенную покойницей женой, зажечь лампадку. И лег сам, без чужой

помощи. Зашли соседки-сверстницы, засветили две свечи и предложили Митричу позвать батюшку.

— Не грешил я — не в чем каяться, — ответил им Митрич. — Бог, он на меня в обиде не будет... И не особо дружно мы с ним жили... а обижаться... ему... не на что.

Он говорил все реже и реже. Лежал, смотрел в потолок и — странно! — изредка улыбался, расправляя брови и чуть поднимая их вверх. Умирал человек и улыбался. Улыбался суровый всю жизнь, обыкновенный человек, не свершивший ни одного героического поступка.

Неожиданно он поманил к себе Николая. Тот пошел.

Медленно заговорил Митрич:

— Коля!.. Хоть ты и партийный, а... может, попа-то ко мне позвать... Грех вспомнил: солдата... ударил... — И Митрич замолк.

Даже если и позвали бы священника, Митрич уже не смог бы ничего ему сказать о своем грехе. Он умер.

В осенний ясный и тихий день проводили Митрича на погост. В числе других шли и мы с Иваном Степановичем. Легкая паутина плыла в воздухе. В чистом светло-голубом небе курлыкали невидимые журавли, парящие в высоте. Ласточки, собираясь к отлету, уселись на телефонные провода, будто и задержались они для того, чтобы проводить Митрича: сидели рядами, как черно-белые живые бусы, и осенним прощальным щебетанием заполняли село.

И не было ни у кого слез: так провожают из жизни человека, который сделал все, что мог сделать, для которого поэтому и смерть — естественный конец, поражающий своей простотой и ясностью. И если бы кто-либо стал горевать, то самому Митричу, будь он снова жив, было бы обидно. Но, верьте, было у меня необычное для этого случая чувство, которое я и сам, пожалуй, еще не определил тогда точно: это было чувство благодарности за то, что он жил рядом со мной.

А в поле в это время тяжелым и сочным земным грузом лежали, будто нарочито разбросанные богатой осенью по бахче, громадные арбузы и дыни. Воткнешь нож в такой арбузище, а он лопнет вдоль, не дожидаясь движения ножа, лопнет в нетерпении, брызнув сахарным соком. Декать, берите, поминайте Митрича! И вот лежат розово-красные куски арбуза, они тоже свидетельствуют о мощи земли и людей, работающих на этой земле. Осенью всякие плоды земли очень хороши! Они — для жизни.

Здравствуй, жизнь!

Прошла зима. Наступила весна.

За несколько дней до весеннего сева мы с Николаем ушли на охоту по селезням. И снова был вечер. Был и костер.

Настрелявшись вдоволь, мы улеглись спать рядом. Николаю — около тридцати, мне — скоро полсотни, а мы с ним большие друзья. Он теперь бригадир тракторного отряда в том же Лисоватом, в колхозе «Заря».

И я рассказал Николаю, как четверть века назад вот на этом самом месте впервые встретил Митрича. Лежал со мной рядом богатырь-тракторист, лейтенант запаса Коршунков, и слушал. А потом сказал:

— Вот ведь как трудно было расстаться с лошадью... Ну, дай мне сейчас эту самую лошадь! Что делать с такой обузой? Куда ее девать? — Он помолчал и добавил: — А насчет хлеба — правильно. «Не постой за кроху — всего ломтя не станет».

Была та самая ласковая тишина, когда все живое ожидало настоящей зеленой весны. Так же вдали прогоготали гуси, так же свистели крылья невидимых в темноте уток, так же струился запах подснежников, как и каждую весну. Весна повторяется. Но каждую весну появляется новое в человеке. И в этом — большая доля счастья людей, живущих на земле.

Соседи

Пожалуй, не каждый в селе скажет, где живет Макар Петрович Лучков. Но только произнеси «Макар-Горчица» — любой младенец укажет путь к его хате. Почему такое прозвище ему дано, не сразу сообразишь, но колхозник он по всем статьям приметный. Главное, работает честно. Пьянства за ним никогда не замечалось, но годовые праздники он справляет хорошо, прямо скажем, совсем не так, чтобы лизнул сто граммов — да и язык за щекву. Нет. Например, за первое и второе красное число майского праздника литра три-четыре самогонки он ликвидировал полностью. При этом говаривал так: «Попить ее, нечистую, всю, пока милиционер не нанюхал». И правда, выпивал всю. Однако сам Макар Петрович никогда самогонки не гнал, а обменивал на свеклу без каких-либо денежных расходов. В компанию большей частью он приглашал соседа, Павла Ефимыча Птахина. В таком случае он говорил жене Софье Сергеевне:

— Сергеевна-а! Покличь-ка Пашку-Помидора.

Та никогда не перечила — знала, что раз праздничное дело, то Макар обязан «поить все». Павел Ефимыч приходил. Приносил с собою либо бутыль, либо кувшин, заткнутый душистым сеном или чабрецом, завернутым в чистую тряпицу, и говорил степенно и басисто:

— С праздником, Макар Петрович!

Он ставил кувшин на лавку, снимал фуражку, разглаживал обеими руками белесые волосы, заправлял украинские усы, но пока еще не садился.

— С праздником, Пал Ефимыч! — отвечал Макар Петрович. — А что это ты принес, Пал Ефимыч? — спрашивал он, указывая на кувшин.

В ответ на это Павел Ефимович щелкал себя по горлу и, широко улыбаясь, добавлял:

— Своего изделия.

— А-а!.. Ну, милости просим!

После этого Павел Ефимыч садился за стол. Они пили медленно, долго. Два дня пили. Ложились спать, вставали и снова сходились. Начиналось это обычно после торжественного заседания, на которое, к слову сказать, ни тот, ни

другой никогда не приходили выпивши. Наоборот, там они всегда сидели рядом в полной трезвости, следили за всем происходящим внимательно, с удовольствием слушали хор или смотрели постановку, а уходили оттуда уже в праздничном настроении.

Надо заметить также, что никто из них никогда пьяным не валялся. А так: чувствуют — захмелели, — переждут, побеседуют, попоют согласно, потом продолжают, но опять же по норме. Но при обсуждении любых вопросов они оба избегали в эти дни говорить о большой политике, даже если это приходилось косвенно к разговору. Инóй раз, правда, Макар Петрович и расходится:

— Я, Пал Ефимыч, пятнадцать лет работаю конюхом. Понимаешь: пятнадцать! — Он поднимал палец вверх, вздергивал волосатые брови, наклонял голову, будто удивившись, и сердито продолжал: — Были председатели за это время разные, но такого... Ты ж понимаешь, Пал Ефимыч, какое дело: конопли на пути не могут приобрести — из осоки вьют пути. А? Свил сегодня, а через три дня оно порвалось. Я этих пут повил тыщи — счету нет. И просил, и говорил, и на заседании объявлял им прямо: «Что ж вы, говорю, так и так, не понимаете, что в ночном без пута — не лошадь, а обыкновенная скотина. Я ж говорю, все посевы могут потоптать». Где там! Не берут во внимание...

— Не берут? Ай-яй-яй! — поддерживал Павел Ефимыч.

— А вот если я, — горячился Макар Петрович, — напишу в центр: так и так, мол, из осоки заставляют пути вить, не могут гектара конопли посеять. Знаешь, что ему будет?

— Кому?

— Да председателю.

— А что ему будет, Макар Петрович? Он мужик неплохой.

— Осоковым путем да вдоль...

— Эге, Макар Петрович! Мы с тобой уговор имеем — при выпивке о политике ни-ни! А ты — в центр. Об этом надо в трезвости.

— И то правда, — успокаивался Макар Петрович.

Одним словом, в праздничные дни никаких разногласий у них не было. Даже если и возникал какой-нибудь спор (чаще со стороны Макара Петровича), то прекращался он как-то неожиданно.

— Ну об чем речь, Макар Петрович? — скажет Павел Ефимыч. — Да разве ж нам в такой праздник перечить друг другу? А?

Тогда Макар Петрович вдруг встряхивал головой, закрывал глаза и затягивал сразу на высокой ноте:

— Шу-умел ка-амы-ыш, де... (тут он делал короткую паузу и набирал полные легкие воздуха)... ре-е-евья гну-улись!

А Павел Ефимыч склонял голову набок и подхватывал:

— ...де-е-еревья гн-ну-улись...

Люди услышат такое и говорят промежду собою: «Вот, ескать, по-соседски живут. Добрые соседи — Макар-Горница и Пашка-Помидор. Добрые!»

Но как ни говорите, а это все одна сторона жизни. А вообще-то во многом у них с Павлом Ефимычем разница. И большая разница: и по характеру и по хозяйству. И к председателю колхоза относятся по-разному, что, как вы уже заметили, проскальзывает даже при выпивке, несмотря на обюудный уговор.

И лицом они разные.

Макар Петрович усов не носит. Нос у него длинный, лаза чистые, светлые, прямодушные, а брови волосатые. Так что, если вы его встретите первый раз, то из-за своих бровей он покажется суровым; а взгляните ему в глаза поуще — и вы сразу скажете: «Чистая душа — человек». И по обувке его можно приметить: на нем всегда сапоги шорок пятого номера, потому что ни в валенках, ни в ботинках в конюшне или в ночном работать не будешь. Роту он высокого, чуть сутуловатый и весь какой-то коститый, сразу видно, что кость у него прочная, выносливая; а такую кость черт знает что можно навалить — выдержит. Нет, если разобраться до тонкости, то, ей-богу же, ничуть не зазорно, что Макар Петрович два дня в году пьет по-настоящему за все свои остальные трудовые дни.

Павел же Ефимыч, наоборот, усы, как уже известно, носит по-украински, а бороду бреет; глаза у него остренькие, серые, хитроватые, брови жиденькие; лицо круглое, красное, можно сказать, сдобное. За такое обличье он и прозвище получил в юности — Помидор. Весь он какой-то круглый со всех сторон. Думается, положи ему мешок на плечи — соскочит. И руки у него не такие крупные, как у Макара Петровича. И обувается не так, как Макар Петрович: летом — ботинки солдатского покроя, зашнурованные ремешком, а зимой — валенки.

Кроме всего прочего, Павел Ефимыч совсем не курит, а Макар Петрович никогда не расстается с трубкой.

Теперь о хозяйстве. Главное, конечно, — корова. Коро-

ва была и у того и другого. Но это очень и очень разные животные.

У Макара Петровича коровенка немудрящая. Ростом — подумаешь, телушка; длинношерстая, пузатая, но все-таки особенная. Не по молоку особенная, а по характеру. Иной раз взберется по навозной горке к самой крыше сарая, станет под солнышком и, пережевывая жвачку, смотрит на окружающий мир. Иногда ляжет на теплом навозе, который свален в кучу для кизяков. Ляжет там и шумно пытит, закрывши глаза. Однако, если ее испугать, — крикнуть или свистнуть, — то она бешено вскакивает и во всю мочмчится, задравши хвост, вниз и дальше. В общем, корова нервная, с телячьим характером, — бывают такие коровы хотя, правда, и редко. Сергеевна доила эту корову, только спутав ей ноги. Иначе, если и надоит какую пару литров молока, то коровенка обязательно разольет его одним выбрыком.

У Павла Ефимыча корова была самая обыкновенная. Молока давала много, на навозную кучу не лазила, а по характеру была такая, что даже от ружейного выстрела не вильнет хвостом. Ну просто — корова, в ней только и интересу — молоко. Может, конечно, кто-нибудь скажет, что это и есть главный интерес в корове — молоко. Так-то оно так, но не всегда. Более того, в этом самом вопросе между соседями были довольно большие расхождения.

Сидели как-то наши добрые соседи на завалинке рядом. День был воскресный. А в такие дни они частенько беседовали меж собою не только о каких-нибудь мелочах, а и о политике, и о коровах вообще, и о том, какой главный интерес в корове, в частности. Тут шел душевный разговор. Так было и в тот день. Макар Петрович подошел к хате Павла Ефимыча и сказал:

— Сидишь, значит.

— Сижу. Гуляй со мной.

— И то правда — отдохнуть. — Он сел и первым делом начал набивать трубку самосадом.

— И что ты ее, Макар Петрович, сосешь, непутевую? — спросил Павел Ефимыч. — Курил бы хоть сигарку. А то — ишь ты! — сипит, как форсунка.

Правда, когда Макар Петрович посасывал трубку, то она действительно «сипела». Но он возражал так:

— А что? То сипит смак, есенец самый. (Он иногда любил вставлять ловкие, по его мнению, словечки.) А что насчет сигарки говоришь, то по душам скажу: не накурюсь я ею досыта.

— А не все равно?

— Э, не-ет. Цигарка, та берет одну поверхность. А из трубки потяну — чувствую, берет. Если же еще приглотнуть малость, то и вовсе хорошо, бере-ет! То есть самый витамин из трубки доходит, чувствую.

— Ну, кури, — согласился Павел Ефимыч. — Кури, раз душа требует. Само собой: кому что идет. Вот финагент наш тоже трубку курит.

Слово «финагент» сразу навело собеседников на размышления. Макар Петрович приглотнул из трубки и заговорил, будто продолжая когда-то начатый разговор:

— Дак вот я — о коровах. Это ж получается неправильно... И моя корова, по-ихнему, дает доход в три тысячи и твоя. И я за нее плати четыреста налога, и ты за свою — четыреста. Возражаю. Это политически неправильно.

— А ты заведи хорошую, ярославку, как у меня.

— Э, нет, Пал Ефимыч. Я докажу. Я, может, и сам понимаю, что моя корова не соответствует действительности. Так. Но учти: ни свет ни заря я ухожу на конюшню, а затемно прихожу домой. Если же еду в ночное, то забегая только поужинать. Сергевна тоже: раненько — в колхоз, а домой — вместе со стадом. Кто будет держать уход за хорошей коровой? Некому. Девку замуж отдал, парень на сверхсрочную остался.

— А я что ж, по-твоему, не работаю в колхозе? — уже хмурился Павел Ефимыч.

— Работаешь, слов нет. Но ты же, Пал Ефимыч, даже от ездовой должности отказался — без коней на работу ходишь.

— А как же? У меня хозяйство: корова, овчонки, куры, свинка, пчелки. Кто ж будет ухаживать?

— Нет, Пал Ефимыч. Это в корне неверно. Аленка у тебя прицепщица, Володька — на элеваторе, на зарплате, сам — хочешь выйдешь на работу, хочешь — нет. Баба — до минимума дошла и хорошо.

— Это как то есть?

— А так: в хозяйство больше вникаешь. У тебя курс в личное дело.

— А ты дай мне десять рублей на трудовень. Может, я тогда...

— А где я тебе их возьму? — уже слегка горячился Макар Петрович.

— Не ты, а они.

— Кто — они?

— Ну, правление, что ли... Тот же председатель.

— Да-а-а это ж мы и есть! — воскликнул Макар Петрович и еще энергичнее потянул из трубки. — Все гуртом если, как один, на работу, тогда, может, и трудодень будет прочный.

— Будет! Держи карман шире, — осаживал Павел Ефимыч. — А тут, — он показал пальцем через плечо, во двор, — тут дело надежное. А налог — что? Купи хорошую корову — оправдает... Слов нет, налог, конечно, большой.

— Да мне больше четырех литров молока и не требуется. Зато моя корова — золотая по выносливости. Она и под кручу к речке сама спустится, напьется, сама же и выскочит обратно наверх и — во двор. А твоей надо носить воду за полкилометра.

Но Макар Петрович чувствовал, что говорит совсем не то, что надо, и от этого еще больше горячился. Однако настоящих слов для опровержения соседа не находил. К тому же, откуда ни возмись, подошел финагент Слепушкин.

— Здорово были, соседочки! — поздоровался он и сразу раскрыл записную книжку. — До вас, Макар Петрович. Должок по налогу значит — триста.

А Макар Петрович и так уже был не в себе.

— Ты мою корову видал? — спросил он с сердцем. — За что я плачу? Она сама стоит семьсот, а за нее налогу четыреста. А вы не понимаете самого коренного вопроса?

— Не наше дело политику переиначивать. Не нужна корова — продай. Мы должны личное хозяйство того... к уклону. И налогов будет меньше.

— Налог того... — вздохнул Павел Ефимыч. — Трудноват, конечно. Ну, я-то расплатился.

— А я возражаю! — закричал Макар Петрович. — Понимания у тебя, товарищ Слепушкин, нету.

— Я что... Мое дело — взыскать.

— А! Взыскать! Ну взыщи, взыщи. Где я тебе столько денег возьму?

— Не знаю. Это не мое дело, а твое.

— Я тоже не знаю. Почему мало денег на трудодни дают? Я день и ночь работаю в колхозе. Я пятнадцать лет у коней живу.

— Вот я и говорю, — вмешался Павел Ефимыч. — Если на трудодень надежи нету, то без хозяйства нельзя.

— Как это так надежи нету? — рассердился Макар Петрович. — Не в том дело. Председатель наш не соответствует действительности. Настоящего надо выбирать.

— Ну, это ты далеко заходишь! — возразил Павел Ефимыч, посматривая, однако, на Слепушкина. Он при этом подумал: «Передаст еще наш разговор председателю — хлопот не оберешься, и отношение может попортиться».

— Не-ет. Не далеко захожу, а в самый раз. Ты ж понимаешь, товарищ Слепушкин: пута — несчастного пута! — не может организовать, вью из осоки. Разве же с ним будет трудодень! — Макар стучал трубкой по ладони и говорил все горячее. — Я по любой подводе — приезжай она за сто километров — председателя узнаю. Узда хорошая, сбруя хорошая, путо на грядке привязано дельное — значит, и председатель того колхоза дельный. А у меня сердце разрывается, когда я начну лошадей обратывать в тряпичные узды да осоковые путы вязать. Не можно так дальше! — воскликнул он. — Где я возьму, Слепушкин, денег? Негде.

Макар замолк неожиданно и засипел трубкой. Слепушкин не наседал — знал, что Макар заплатит, — и тоже молчал и сосал трубку, но с удивительным спокойствием. А Павел Ефимыч кряхтел и потирал бока. Так же неожиданно Макар Петрович сказал:

— Заплачу. Нельзя не платить, сам понимаешь.

— А говоришь — где деньги взять? — уже с улыбкой сказал Слепушкин.

— Это не твое дело, а мое, — угрюмо ответил Макар Петрович.

— А и правда, Макар. Где ж ты столько денег возьмешь? — участливо спросил Павел Ефимыч.

— Я свою обязанность нутрем сознаю... должен я найти.

— То правильно. Хозяин знает, где гвоздь забить, — согласился сосед.

— Знаю. Конечно, знаю. Но только, — он выпрямился, стукнул трубкой о колено так, что посыпалась зола с искрами, — только неправильно это. В корне неверно: и за мою корову четыреста, и за твою столько же, да прибавь еще за усадьбу. Ты, Пал Ефимыч, не обижайся. Но это вопрос самого главного интереса в корове.

Павел Ефимыч и правда задумался. Посидел, посидел и говорит:

— А кто ее знает... Оно, наверно, неправильно. Но ты ж не Верховный Совет?

— Как так — не Верховный? Я — народ. Мы это понимаем. И там понимают. — При этом Макар Петрович указал вверх трубкой. — Должны они правильную линию на-

думать. Там люди-то — во какие головы! — Он растопырил руки над головой и добавил: — Ум! Если туда написать все это, товарищ Слепушкин, то поймут, ей-бо, поймут.

Но Слепушкин встал, попрощался и ушел, не говоря ни слова: он, видимо, боялся дальнейшего углубления вопроса. «Макар-Горчица наговорит, — подумал он. — Макар и секретарю обкома скажет, что захочет. С ним и влипнуть недолго».

А Макар Петрович продолжал свое:

— Если добавить про рваные узды да про осоковые пути — тоже поймут.

Павел Ефимыч явно не верил Макару Петровичу и тут же высказал это:

— Пока туда-сюда, то да се, а свое хозяйство надежнее... А там посмотрим.

— Ну посмотри, посмотри, — сказал Макар Петрович сердито. Он сдвинул брови, сунул трубку в карман, буркнул: — Прощевай покедова, — и ушел.

Вот так они поспорили и разошлись. Разговор, конечно, крупный, разногласия большие.

Обычно не проходило и нескольких дней, как соседи снова сходились, снова спорили и обсуждали. Но на этот раз Макар Петрович отпросился в правлении на два дня и, никому ничего не сказав, ушел ночью. Сосед вроде бы ненароком спросил у Сергеевны:

— Мужик-то где?

— В городе. Повел корову продавать.

— Корову! — ужаснулся сосед. — Продавать?!

— Продавать.

— И ты допустила?

— Обоюдно согласились.

— А как же дальше?

— Там дело покажет, — уклонилась она от ответа.

Павел Ефимыч покачал, покачал головой и ушел в задумчивости, тихо разговаривая сам с собой:

— Корову продавать... Продать корову... Мыслимо ли это дело — без коровы?.. А может, купит хорошую?.. Да где он денег-то возьмет!.. А? Как это так — продать корову!

Тем временем Макар Петрович продавал корову на базаре. Один базар прошел — никто не купил. Вывел на второй базар. Продавал он ее прямо-таки артистически.

— Ты подумай, — говорил он покупателю, такому же, как и он, костистому колхознику, но с окладистой бородой, — это ж не корова, а мысль! Корму ей — горстку, теплого не пьет — давай из речки или прямо колодезную, ключевую; холод ей нипочем. С такой коровой всей семьей в колхозе будешь работать, а молочка — само мало — четыре-пять литров в день. Молоко жирное... Смотри хвост — перхоть желтая! Ребром прочная. Корова ласковая, правильная корова: двор знает, шататься не любит. И не то чтобы тугососая, а в самый раз для бабьих пальцев сиськи приделаны. В самый раз. Все статьи правильные. Я бы ее ни в жисть не продал, но финансовый мой вопрос не соответствует действительности.

А покупатель ходил вокруг коровы, щупал ее, гладил. Он уходил и снова возвращался, снова щупал и все повторял одно и то же:

— Не оманешь — не продашь... Не оманешь — не продашь...

Макар Петрович не возражал против такой базарной истины и говорил:

— Смотри сам! Свой глазок — смотрок, своя рука — правда. Рукой не пощупаешь да глазами не полупаешь — молочка не покушаешь.

Такие слова действовали на покупателя положительно. Он наконец решился приступить к пробе доения — самому важному во всей процедуре купли-продажи коровы. Тут совсем не то, как, скажем, купить автомобиль. Там так: паспорт сунул в карман и давай газ. А тут — извините! Животное со своим индивидуальным характером, который может и соответствовать, а может и не соответствовать требованиям покупателя. И Макар Петрович понимал это отлично. Поэтому он, зная характер коровы, сказал вопросительно:

— А может, спутаем? На всякий случай. — И показал путо; но не осоковое, а настоящее конопляное.

— А зачем? — будто удивился покупатель. — Разве ж она — того?

— Да не то чтобы того, а, как говорится, все может быть... Человек ты новый и, главное, — не баба. Корова к бабе привычна. Сам знаешь, у нас с тобой дух такой есть, корове не по нюху приходится.

— А може, без пута?..

Макар Петрович не ответил, а смотрел куда-то на чужую свинью, будто очень она ему понравилась. Покупатель же стоял в раздумье и говорил:

— Конечно, мужик — не баба, дух не тот. — Ему вдруг что-то пришло в голову. Он энергично почесал живот и произнес: — Не оманешь — не продашь. Давай без пута пробовать. Цена для меня подходящая, должен я пробовать по-всякому.

Макар Петрович гладил корову, уговаривал, заглядывал в глаза. Он чувствовал, что в решительный момент дойки она может подвести, а может и не подвести, в зависимости от настроения. И, конечно, при первой же попытке прикоснуться к соску последовал выбрык ногой...

— А она того? — ехидно спросил покупатель.

— Немножко того, — смущенно ответил Макар, опустивши руки и отдавшись весь на усмотрение покупателя. Больше ему уже нечего было говорить.

Прикоснуться к вымени корова не позволила ни разу.

— Ну давай путай, — сказал покупатель.

После того как задние ноги коровы спутали, он начал доить. И удивительное дело! — корова стояла как вкопанная: привычна к путу. Молоко зажурчало струйками. Макар Петрович слушал. Жжих, жжих! Жжих, жжих!.. — звенели струи о ведро. Грустно стало Макару Петровичу. Жжих, жжих! Жжих, жжих! — хлестало его что-то по самой душе. Он вздохнул и отвернулся, глядя на пожарную каланчу.

Покупатель напился молока, пробуя его медленно, с причмоком; при этом он, когда отрывался от ведра, смотрел в землю, будто сосредоточившись весь на ощущении вкуса. Так курильщики на базаре пробуют рассыпной самосад: затянется раз и стоит, потупившись, решая — «берет или не берет».

— Ну как? — тихо спросил Макар Петрович.

— Она хоть и того — насчет дойки, но зато молоко... скусное, ох, скусное!

— Не молоко, а форменные сливки, — уже веселее подтвердил Макар Петрович. — Ну, а насчет этого... путанья-то как скажешь? Не купишь, наверно? — почти уныло спросил он.

— Оно, вишь, какое дело, — заговорил скороговоркой покупатель, — я тебе прямо скажу. Была у меня корова. Та, батенька мой, как зверь: ка-ак даст, даст! И ведро летит, и баба — с копыльев долой. Во какая была корова! А эта стоит, спутанная, смирно. Этак можно. Вполне выноσιμο. И цена подходящая, а это главное дело. Уступишь сотню — возьму корову.

Но Макар Петрович уступил только четвертную. Сла-

дили они за семьсот рублей и по семь с полтиной на магарыч с каждого. Макар Петрович и не хотел тратить деньги на магарыч, но правила того требуют — выпили по сто пятьдесят граммов.

И вот уже поводок обрывка, накинутаго на рога, оказался в руках нового хозяина. Вот он повел корову по базару. А вскоре и совсем скрылся в толпе. Но Макар Петрович, прижимая карман с деньгами, все смотрел и смотрел в гущу базара. Базар шумел. Урчали автомашины, мычали коровы, блеяли овцы, хрюкали свиньи, кричали, споря, городские торговки. Продавцы и покупатели торговались то слишком громко, с азартом, то, наоборот, почти молча, перебрасываясь односложными замечаниями. И все эти звуки сливались в общий гул. Вдруг вырвался из общего гомона поросячий визг и долго висел над толпой, пронзительный, истошный, висел до тех пор, пока новый хозяин не засунул поросенка в мешок. Зато на смену визгу взвился аккорд гармони. Невидимый гармонист ударил «барыню», хлестнул по толпе перебором, и, кажется, пошла плясовая и над головами и под ногами, подталкивая к переплясу. Какой-то подвыпивший колхозник, видимо удачно закончив продажу, рывком положил одну ладонь на затылок, вытянул другую перед собой и забарабанил каблучной дробью так, что из-под сапог пыль полетела клубом! Макар Петрович даже и не повернул головы в сторону плясуна, хотя и был от него близко. Потом замолкла и гармонь. Базар шумел и шумел. Мощный радиорепродуктор тоже говорил в тон общему гулу, перекрывая все. Но вдруг из того же репродуктора заструились звуки хорошей, сердечной музыки. А Макар Петрович все стоял и стоял неподвижно и все смотрел и смотрел в ту сторону, куда увели его корову. Он видел громадную толпу, в которой смешались люди, лошади, коровы, автомашины... Кому какое дело до того, что Макар Петрович продал корову? Никому.

А базар все шумел. Макар Петрович стоял опустив голову. Кто-то толкнул его мешком. Он оглянулся. Высокий и сильный парень в новеньком ватнике, сердито глядя на Макара Петровича, выразился непристойно и добавил для пояснения:

— Что стоишь на дороге? Забыл, что базар? Иль налился?

Но Макар Петрович был совершенно трезв. Он посмотрел своими светлыми и добрыми глазами на парня, поднял мохнатые брови и сказал безутешно:

— Я, брат... корову продал...

— Видишь ты, дело-то какое! — участливо сказал парень, поставив мешок на землю. — Дошло, что ли? Или за-менять думаешь?

— Как тебе сказать... Финансовый мой вопрос не со-ответствует действительности.

— Аль ваш колхоз бедный?

— По правде сказать — плохой.

— Понятное дело! Отсюда и «финансовый вопрос».

— А ты откуда? — спросил Макар Петрович, совсем не обижаясь на первые ругательства парня.

— Из Алешина. Колхоз «Чапаева» слышал?

— Слышал. Это у вас по семь рублей на трудовень?

— У нас. Да еще по три кило хлеба. А ты откуда?

— И зачем тебе, паря, знать? Не желаю, чтобы ты и знал. Плохо у нас, председатель не соответствует...

— Ну хоть скажи, по сколько денег дали на трудо-день?

— Дали... по сорок копеек, — смутился Макар Петро-вич.

Парень рассмеялся громко, на весь базар. Он присел на свой мешок и сквозь смех говорил:

— Какого же вы черта сами-то смотрите! Небось по хатам отсиживаетесь да за личное хозяйство зубами уце-пились. Кто их вам привезет, деньги-то? Вы же без настоя-щего колхоза посохнете, как подсолнечные будыли перед зимой.

— Это ты, паря, не мне говори: я, брат ты мой, пятна-дцать лет конюхом работаю. Изо дня в день работаю. Не обижай так-то.

Макару Петровичу очень хотелось поговорить. Но па-рень поднял мешок на плечо и, уходя, сказал уже без смеха:

— Десятеро будете работать, а сто в окошко выгла-дать — ничего у вас не будет.

— Да ты постой, постой!

— Некогда мне с тобой... с сорокакопеешным. Ты ко-рову продал, а я четыре тыщи за пшено наторговал — по-следний мешок несу на весы:

— Правда?!

— Аль тебе денег дать? — шутил парень. — Не да-ам. Сами делайте. Мы за таких, как ваш брат, четыре года по-ставки выполняли. — Потом обернулся и добавил душев-но: — Да ты не обижайся. Может, и наладитесь.

Макар Петрович пробовал идти за ним и говорил:

— Ты ж учти: ты же мне громадное дело сказал. Я, понимаешь...

Но тот уже нырнул в толпу и вскоре скрылся из виду.

Макар Петрович теперь всматривался в толпу, различая каждого. Для него это была уже не безликая масса людей, спящих между брчками или продающих. Вот в рваном колушке стоит совсем не старый колхозник и продает двух кур, которых держит под мышкой. «Сорокакопешный», — подумал Макар Петрович. А вот румяный мужчина — фуражка набекрень — держит целую связку разной мануфактуры и две пары новеньких сапог и спокойно смотрит вокруг. «Семирублевый», — решил он. — Накупил, как (он мысленно не находил подходящего слова)... как юрист», — заключил Макар Петрович. Но мысль эта была не только беззлой, а скорее доброжелательной.

Вечером того ж дня он приехал с попутной автомашиной домой и зашел в хлев. Грустным бывает хлев ночью, когда там никто не дышит — ни корова, ни овца. Пусто было и внутри, что-то сосало под ложечкой, и в ушах все звенели струйки: жжих, жжих! Жжих, жжих!..

Макар Петрович только сейчас почувствовал, что он с самого утра ничего не ел. И сразу же решил мысленно: «Человек, который голодный, веселым быть не может».

Он вошел в хату.

Сергеевна обрадовалась и воскликнула:

— Да где же ты пять дней пропадал?

Он ответил не сразу. Разделся, повесил фуражку на гвоздь, осмотрел хату, сел за стол и только после этого ответил:

— Два базара продавал.

— И что же?

— Да такую корову где хочешь продать можно.

— За сколько же?

— За семьсот.

— А не дешево?

— Какая сама, такая и цена. На базаре цены не продиктуешь. Покупатель-то, сама знаешь, прахиткованный пошел.

Сергеевна собрала ему на стол еду. Он съел полную миску борща, такую же миску каши. После этого по привычке протянул руку к полочке, что висела над столом, — там всегда стояла литровая банка молока, приготовленная для хозяина к ужину из вечернего удоя. Макар Петрович машинально взял эту банку и поставил на стол. Банка была пуста. Он торопливо сунул ее обратно на полочку.

Сергеевна посмотрела на него и вдруг, приложив фартук к глазам, заплакала.

Макар Петрович крикнул и встал из-за стола. Он постоял в раздумье перед Сергеевной, глядя в пол, потом поднял на нее глаза и заговорил:

— Ты, слышь, Сергеевна... Ты это... брось. Гляди на меня, что скажу.

Сергеевна подняла лицо и посмотрела ему в глаза. Она любила эти прямодушные глаза своего Макара, глаза, в которых видна вся его душа.

— Проживем, Сергеевна, — утешал он. — Я тебе докажу, как пять пальцев. Парнягу я одного встретил из «Чапаева». Алешино знаешь?

— Знаю.

— Оттуда он. Четыре тыщи за пшено наторговал. Во! У них семь рублей и три кило на трудодень. Во, Сергеевна! Ты прикинь сама. Я-то доро́гой сосчитал. Если на наши с тобой восемьсот трудодней по три килограмма да по семь рублей, то слушай: пять тыщ шестьсот рублей чистых денег да хлеба — можно двенадцать центнеров продать. Допустим, это будет просо. А мы его таким манером на пшено перерушаем... Это тебе, само мало, сорок пудов пшена или четыре тыщи. Да там пять тыщ шестьсот. Это сколько будет? Без малого десять тыщ. Во, Сергеевна!

— Да ведь это ж в «Чапаеве». А мы-то с тобой триста двадцать рублей за весь прошлый год получили.

— Ага! Поняла? Сорокакопеешный наш колхоз! Без настоящего колхоза нам — труба. Корень-то у нас с тобой в колхозе.

— В колхозе, Макар. Правда.

Легли спать они все-таки в каком-то раздумье. Макар долго не мог уснуть и время от времени говорил:

— Я им, сукиным сынам, сделаю стыдно.

Или так:

— Я тебе покажу, как каждый день водку глушить... Праздников не понимаешь, толстый черт...

Потом помолчит, помолчит и снова:

— Мыслимое дело: за пшено — четыре тыщи! Значит, там у них все соответствует действительности.

— Да спи ты, неумемный, — засыпая, увещевала Сергеевна.

А он свое:

— Эх! Про путы у него не спросил. И про сбрую бы надо... Убег от меня... «Сорокакопеешный»...

Так он и уснул с этими мыслями, вернее — с одной мыслью, которая засела у него в голове гвоздем.

...Рано утром следующего дня Макар Петрович пошел, как обычно, на конюшню. Несколько часов подряд он ворчал, проклиная кого-то, а больше отводил душу на других конюхах:

— У вас всегда так: уйди на два дня, так вы навозом обростете. В дверях — куча навоза, в стойлах мокрость развели. Иль уж у вас понятия о порядке нету? Ну что стоишь, чешешься? Чисти хорошенько.

Он увидел во дворе председателя колхоза Черепкова.

Низкого роста, пузатенький, председатель стоял посреди двора и отчитывал доярку:

— Ты мне дай рекорд хоть с одной коровы. Другим уменьши норму, а с Милки дай пять тысяч литров. Безобразие! В прочих колхозах по две-три коровы дают рекорды, а у тебя хоть бы единственная...

— У нас стойла развалились, где уж там до рекорда! — возразила доярка.

— Я тебе не о стойлах... Мне в район стыдно показываться. «Лекорда»! Даже слова этого не сумеешь сказать... С вами надоишь пять тысяч.

Тут подошел к нему Макар Петрович и без обиняков сказал, указывая на конюшню:

— Так и в зиму пойдём? Крыша-то горбом осела: перекрывать надо.

— Надо, — ответил тот, глядя на конюха снисходительно и покровительственно.

Но когда Макар Петрович почуял от председателя запах водки, то совсем осерчал.

— А это что? — показал он рваное осоковое путо. — Что это есть, товарищ Черепков?

— Трава, — ответил тот все тем же тоном.

— Срам это для колхоза. И это — срам на весь район. — Он показал рваную узду.

— А что ж, я тебе еще путами да уздами буду заниматься? У меня хлопот полно: досок достань, гвоздей достань, в поле досмотри... За вами такими — глаз да глаз...

— Ага, — сказал Макар Петрович. — Досок достань, гвоздей достань... водки достань.

— Как ты сказал? Как сказал? — вскипятился председатель.

— Как сказал, так и вылетело... Не воробей — не

поймаешь. Меня теперь хоть в морду бей — я сказал.

Председатель молчал, что-то соображая. А Макар Петрович заговорил быстро, отрывисто:

— У людей... по семь рублей на трудовень, а мы... мы прошлой осенью всю овощь поморозили. У людей по три килограмма, а у нас подсолнух попрел. А ты водку глушишь. Веры в тебе нету, веры нету, председатель... У самого у тебя нету веры... А это мой корень. — Макар сбился с тона, заговорил тише: — Мы ж так дальше не можем... А ты — водку...

Черепков вдруг выпалил:

— Дали тебе прозвище Горчица — ты и есть горчица! Указывать — вас много, а работать — «выходи десятый». Ишь ты! Что ты понимаешь? Я директором маслозавода был! «Веры!» Тебя отпустили на два дня, а ты прошатался пять дней. Я т-тебе пропишу «веру».

Макар стоял и смотрел в упор на Черепкова. Удила рваной узды позвякивали той же дрожью, что и Макар. Он неожиданно опустил голову вниз и тихо проговорил:

— Я, брат... корову продал... А ты—водку... — Он вдруг резко повернулся и зашагал к конюшне. Там он зашел в лошадиный станок и оперся грудью о перекладину. Лошадь повернула к нему голову и потрогала за щеку мягкими, как бархат, губами. Макар повернулся к ней, погладил, обошел ее вокруг и дрожащей рукой потрепал холку.

Вскоре было заседание правления. Стоял вопрос об отводе из конюхов Макара Петровича Лучкова за прогул. Макар Петрович сидел в углу со связкой узд и пут. В полутемном углу лица его не было видно. Когда Черепков объявил вопрос о Лучкове, то и тогда он не пошевелился. Но вдруг он услышал голоса:

— Это кого? Макара Петровича?

— Да он пятнадцать лет...

— Лучшего колхозника у нас и нету!

— Как это так — Макара...

Все присутствующие загалдели, перебивая друг друга, говорили с возмущением. Кто-то крикнул:

— Человек корову продал!

Черепков почувствовал себя явно неловко. Он наконец понял, что хоть и председательствует больше года, а Макара Лучкова не заметил. Торчит человек целыми днями в конюшне, сует всем к носу осоковые путы — и все. А черт

его знает, какой он! Что у него дома? Чем он дышит? До всего этого Черепков не дошел. Он навел порядок и обратился к Макару Петровичу:

— Что ты скажешь, Лучков?

— Ничего не скажу, — ответил тот.

— А если снимем?

— Я с конюшни не пойду, — ответил он угрюмо. — Я без коней не могу.

Конечно, Макара Петровича не уволили. Даже и вопроса этого не обсуждали, а просто взгяделись еще раз дружно и сняли с повестки дня, без последствий. Но когда все притихли, Макар Петрович встал. Он подошел к столу, положил связку рваных узд и истрепанные осоковые путы перед счетоводом и, не глядя на председателя, сказал:

— Заприходиуй амуницию. Пушай потомство в музей изучает. А я вам сделал стыдно: для своих закрепленных лошадей купил узды новые и веревку для пут. Новое стоит оно сто восемьдесят рублей. Отдадите деньги — хорошо, не отдадите — еще лучше: стыда больше. — Тут он выволок из угла мешок, развязал его, вынул несколько ременных недоузтков, показал всем при общей тишине, затем снова все запрятал, взял мешок под мышку и вышел.

Все долго молчали. Курили и молчали. Молчали и курили. Кто-то наконец сказал:

— Давайте расходиться.

— Давайте, — поддержало несколько голосов.

Заседание закрылось само собой. Так бывает всегда в любом колхозе, когда дело заходит в тупик. А счетовод — пожилой, симпатичный человек с поднятыми на лоб очками — обратился к уходящим, минуя взглядом Черепкова:

— Куда же я буду девать... амуницию?

— Сказано — в музей, — ответил дряхлый дед. — Напиши год, число и в царствие какого председателя.

Черепков пробовал встать, но почему-то не решился.

— А мы где? А вы где, товарищи правленцы? — вскричал счетовод. — Копейку добыть не умеем, а добудем — беречь не умеем. У меня с вами за каждую сотню рублей война, а на дело денег нет, — Теперь он смотрел только на председателя. — Глазу у нас хозяйского нету, а от этого и касса как решето.

— Ну, разошелся, — оборвал его председатель. — Слышал твою ноту. Ты и в хозяйстве развернуться не даешь.

— Брошу! Ей-богу, брошу! Лучше в тюрьму сажайте, а брошу! — Счетовод хлопнул книгой о стол, сунул ее в ящик и вышел.

Черепков остался один. Он сидел за столом и стучал карандашом.

Вот ведь, товарищи, что может натворить корова Макара Петровича! Помните, мы говорили о том, что интерес в корове — только молоко? А оно вон что вышло. Не продай Макар корову — может, и не было бы всего того, что произошло на этом заседании. Однако теперь не вернешь, корова продана. Макар Петрович, конечно, уплатил остаток налога — триста рублей, а остальные деньги отдал Сергеевне, в том числе и полученные от правления за «амуницию», всего — четыреста рублей. Из этих денег Макар Петрович не пропил ни копейки. Да и никогда он не тратил денег на водку, а употреблял, как мы уже знаем, местного изделия — только в особо торжественные дни.

Подходила осень. Лошади стали шерстистые, а поэтому и хлопот с ними стало больше, на одну только чистку надо два-три часа. В ночное ездить перестали — значит, четыре раза задай корму, а еще воды накачай вручную два раза в день на двенадцать голов. Это ведь сказать только легко! Да конюшню вычистить утром и вечером. Очень много работы у колхозного конюха. А день стал меньше. Приходилось Макару Петровичу выходить из дому задолго до рассвета, а возвращаться домой совсем поздно, с фонарем. Но чем ближе к осени, чем больше работы в конюшне, тем как-то живее он становился. К соседу Павлу Ефимычу Птахину он забегал лишь изредка и то только в тех случаях, если тот сидел на завалинке:

— Зашел бы, Макар Петрович! — окликнул он однажды.

— Здорово, Пал Ефимыч! Некогда мне. Ну, чуть посижу, на полтрубки — не больше.

— Значит, хлопочешь? — как-то неопределенно и, как показалось Макару Петровичу, с чуть заметной улыбкой спросил сосед.

— Хлопочем. Как же, хлопочем. Скоро осень. Это, брат, время важнецкое.

— А авансу и по килограмму не дали.

— Должны дать.

— Ой ли?

Макар вместо ответа сказал:

— На отчетном председателя надо менять. Не соответствует.

— Мне какое дело, какой там председатель! Что ни поп, то батька. Этот нехорош, да известный характером... Потрафь ему и — порядок! А другой-то неизвестно еще — то ли лучше будет, то ли хуже. Сколько их было-то? Не меньше, как десять аль одиннадцать.

— Рассуждение у тебя, Пал Ефимыч, не в ту сторону. Без настоящего колхоза нам никак невозможно. А председатель — всему голова.

— А этот разве не голова? А что водочку любит, дак то не вещь. Кто ее не любит? Оно даже нам и сподручнее.

— Ка-ак? — удивился Макар Петрович.

— Я, к примеру, хочу в лес поехать, — продолжал Павел Ефимыч. — Что я должен делать?

— Ну?

— Ясно, перво-наперво — достать подводу. У иного председателя умри, не выпросишь, а нашему «полмитрича» поставил и — с богом! Насчет этого он простой человек, обходительный... И сенца можно добыть таким манером побольше. По мне — он неплох.

— А по мне — дрянь! — воскликнул Макар Петрович.

— Опять свое! — развел руками Павел Ефимыч. — Ты покорись ему. Покорись, Макар Петрович. Позови, угости, помирись. Чего ты встрял против него?

— Ты ж пойми! Нам голова нужна для колхоза, а не пивной котел. Пропадем мы этак. Что ж ты-то думаешь!

Павел Ефимыч не ответил, видимо оставаясь при своем мнении. Он помолчал немного, подумал, а потом сказал:

— Опять же вот морозы пойдут — плохо это. И дожди если — тоже плохо.

— Это что же так: и морозы — плохо, и дожди — плохо?

— Дожди если — хлеб попреет в ворохах, а морозы — всё овощи могила.

— А ты не допускай.

— А при чем тут я?

— Не допускай, — повторил Макар Петрович. — Тормоши председателя, сам работай понатужней.

— Иль ты думаешь, мне дома делать нечего? — спокойно возразил Павел Ефимыч. — В колхозе я и так работаю по силе возможности.

После этих слов Макар Петрович встал. Полтрубки

времени уже проходило, а опровержение соседу надо было дать, без этого он уйти не мог по своей натуре. Он посмотрел на соседа и неожиданно сказал:

— А ну встань, Пал Ефимыч.

Тот хотя и в недоумении, но встал. Макар Петрович нагнулся над тем местом, где сидел сосед, как бы вглядываясь, и сказал:

— Нету червонца — не высидел, Пал Ефимыч. Садись еще. Да всей мякотью прижимай — может, десятку на трюдодень и высидишь. — И ушел.

А Птахин стоял в ошеломлении и только произнес:

— Горчица и есть горчица. — Помолчал, почесался и добавил: — Каплю ее в рот положи, а она тебе и в нос шибает и в глаза бьет. — Но сказал он все это тихо, про себя, Макар Петрович не слышал.

Тот шел и тоже про себя бурчал:

— Помидор и есть помидор. Сидит, округляется, наливается, зреет, сукин кот. Три выходных в неделю — два дня на работе, один день дома.

Долго после этого разговора они не сидели рядом на заваинке. Встретятся, поздороваются — и дальше. Что-то такое похожее на настоящую ссору и недружелюбие началось меж соседей, началось и все углублялось. Больше того, даже и бабы ихние поссорились из-за пустяка: петух на чужой насест сел.

Дело с этим петухом получилось так. У Павла Ефимыча — как на грех! — петух подох. А Макаров-то петух, как птица, всегда охочая до чужих кур, стал кое-когда садиться на чужом дворе ночевать. Он, петух-то, небось так думает: чтобы не обидно было всем курам, сегодня сяду там, а завтра тут. Может, он и прав — определить трудно. Но ведь это же сущий пустяк! Это же обыкновенный птичий вопрос, не стоящий выеденного яйца. Ни в жизнь не поссорились бы жены соседей, если бы между мужьями не пробежала кошка. А петух взят, можно сказать, для придиру. Макар Петрович все это понимал и даже однажды, при очередном препирательстве соседок, сказал так:

— Петух — птица нахальная. Курица — глупая птица. Или вы хотите, чтобы я сказал, что и бабы похожи на них? Брось, Сергеевна, в глупости вникать.

Сергеевна немедля ушла от плетня. Но Степаниха — жена Птахина — еще долго кричала:

— Если у нас беда случилась — петух подох, то вам и горя мало. А еще соседи! Жалко им петуха на время дать —

попользовать для чужих кур. Не отвалится ничего у вашего петуха! Он и петух-то ни к чему не способный, — разве такие бывают петухи!

— А ну, наддай, наддай, Степаниха, подбавь перцу! — пошутил Макар Петрович и, сняв петуха, вошел во двор к соседу. Он посадил петуха на их насест и сказал Степанихе:

— Когда купите кочета, они подерутся с моим и разойдутся по своим супружницам. Только и делов.

— На что он нужен мне, твой петух! Куды ты его принес?! — надрывалась соседка. — Не желаю твоего петуха пользоваться.

— Цыц! — рыкнул басом Павел Ефимыч на жену, выходя из хлева. — Пушай сидит, где ему хочется.

Соседи поздоровались и разошлись. Нет! Нету былой дружбы, а одна неприятность. Чем бы все это кончилось, трудно сказать; какую линию взяла бы эта ссора, тоже предположить невозможно. Но очень уж к тому времени великие дела стали твориться на селе, чтобы разногласие соседей нельзя было забыть.

В воскресный сентябрьский день Макар Петрович шел из правления с газетой под мышкой. Шел быстро, непохоже на свою походку, будто боялся опоздать. Завернул он прямо к Птахину во двор, минуя свою хату. Тот тесал какой-то кол и обернулся не сразу. Макар Петрович зашел ему наперед и, постукивая громадным пальцем по газете, спросил:

— Слышал, Пал Ефимыч?

— Чего там? — Он воткнул топор в бревно и выпрямился. Вся его фигура говорила: «Опять пришел, Горчица».

— Ну, брат ты мой, и головы там! — Макар Петрович развернул газету и стал читать вслух.

Читал он, правда, медленно, но правильно, с толком, поймет и малый ребенок. Птахин от удивления встал. Макар Петрович тоже встал, не отрываясь от газеты.

— А ну дай-ка — я сам почитаю, — неожиданно сказал Птахин.

Они сели теперь на бревно, прямо среди двора. Птахин читал тоже не очень бойко. Он время от времени останавливался, поднимая палец вверх, давая себе поразмыслить. Потом снова читал Макар Петрович. Потом — опять же Павел Ефимыч. В течение трех последующих дней они несколько раз сходились уже поздно вечером и снова читали. Газета уже разлезлась по складкам, но ее склеили и

знали точно, что там написано, под склейкой. И снова и снова принимались читать и обсуждать.

— Я тебе говорил, Пал Ефимыч: там надумают!

— Говорил. Правильно, говорил. Не отрицаю!

— Я ж тебе и еще скажу: там они мою душу чувствуют.

— И мою! — тыкал себя в грудь Птахин.

— И твою, — согласился на радостях Макар Петрович. — Тут и тебе хорошо и мне ловко. Значит, теперь получается так: заплати налог с сотки — и крышка. Есть у тебя скотина, нет ли скотины, хорошая у тебя корова или плохая — неважно. Сотка определяет налог. И до чего же это правильно!

— И не только в том, Макар Петрович. А льготы-то какие! Налогу вполонину меньше, молока — вполонину. Да все напополам меньше.

Что-то такое сблизило соседей: это была общая радость, общая уверенность в лучшем. Оба соседа неразлучно посещали собрания, где ставились доклады о решениях сентябрьского Пленума ЦК партии, а после собрания усаживались на завалинку и засиживались за полночь. Днем им невозможно сойтись, потому что Макар Петрович все время был в конюшне и работал там с каким-то особым усердием. А Павел Ефимыч ни с того ни с сего частенько стал наведываться в город и наконец привез какие-то железные трубы. Вскоре Макар Петрович отправился в город и привел очень хорошую телушку — породистую, смирную, ласковую. Для этой покупки он прибавил к своим четыремстам рублям аванс, полученный из колхоза на трудодни. Казалось бы, пришел мир между соседями: главный спорный вопрос решен. Но опять-таки получилось не так.

Однажды вечером сидели они, как и полагается, на завалинке. Сидели и беседовали. По улице «шла гармонь». Девчата и парни пели частушки беспрерывно. Сначала наши соседи не слушали песен, увлекшись беседованием (Макар Петрович рассказывал о том, какой золотой характер у его телушки, и убеждал соседа в том, что характер у скотины — это тоже очень большой интерес). Но когда молодежь поравнялась с ними, девичий голос под переборы гармошки пропел:

*Ой, товарищ Черепков!
Разведем теперь коров.
А еще будем просить,
Чтоб и сено нам косить.*

— Слышь, Макар Петрович, что поет моя Аленка?

— А к чему это она? — не сразу сообразил Макар Петрович.

— Они, слышь, все наши пересуды в песни складывают. Значит, я и говорю: скотину разведем, слов нет, но корму нам надо теперь много. Вот, к примеру, про себя скажу. По уставу я буду иметь корову, телку, овец... — Тут он подумал немного. — Овец десяток, пчел, скажем, ульев пятнадцать, свинью, допустим, кормленную да поросенка малого на смену... Свинью забил — поросенка корми... Налог все равно такой же, имей я или не имей ничего. Значит, тут еще бы остается так сделать: половину лугов колхозу, а половину нам.

Макар засипел трубкой.

— Эге-е! Во-он ты что-о! — Он подумал и вдруг с усмешкой сказал: — Ты ж воды не натаскаешься на такую ораву скотины.

— А я и таскать не буду. Я трубчатый колодезь прямо во дворе пробью. Трубы и насос купил. Ясно, разве ж мысленно бабе столько воды носить. Ей и без этого теперь в колхозе не придется работать, дома хватит по горло.

— Как так не работать? — вскочил Макар Петрович.

— А так, что и самому теперь придется подумать: то ли пойти, то ли нет.

— А ты читал, как написано? Там сказано, кто не будет работать в колхозе — налогу больше на пятьдесят процентов.

— Это написано неправильно.

— Как неправильно?

— А так — неправильно. Не разорваться же мне на двое — и там и тут.

— А! Вон как! — Макар заходил то на одну сторону от соседа, то на другую, а тот поворачивал за ним голову, не видя его лица в темноте. — А! Вон как! Значит, и от колхоза и от правительства тебе все дай, а ты колхозу — ничего! Ты что? Ты что? — все больше горячился он. — Ты же говорил, что тебя они понимают. А сам-то ты их понимаешь? Ты куда гнешь?

— Но! Раскричался, как на пожаре.

— И буду кричать! На собрании даже буду кричать. Пашка-Помидор не в колхозе хочет разводить скотину, а у себя во дворе.

— Да ты пойми, садова голова! — уже с сердцем говорил Павел Ефимыч. — Если будет большой трудовень, я,

может, тогда и сокращу скотину, а сейчас буду разводиться.

— А! Ждать будешь, когда другие добьются большого трудодня. Не-ет! Не будет так, кричать буду! Я твою нутренность увидал. Всю, как есть, увидал. У тебя корень во дворе, а сухие сучья в колхозе.

— Ты что кричишь на всю улицу! — рыкнул вдруг Помидор. — Что кипишь, Горчица?! — И придвинулся вплотную к Макару.

Тот не отодвинулся ни на сантиметр и воскликнул:

— Где же твоя совесть колхозная, чертов Помидор!

— Горчица! — сказал Птахин.

— Гнилой Помидор! — сказал Макар Петрович.

— Я еще за петуха с тебя стребую: твой петух моему голову всю раздолбал — нового опять покупать. Я еще...

— Возьми и моего петуха, черт с тобой! — Макар добавил пару крепких, неписанных слов, плюнул и ушел домой.

Вот ведь как оно получилось! Никогда так не было, никогда не ругались так, чтобы бросать друг другу прозвище в глаза.

Больше того, доподлинно известно, что Птахин ходил к председателю колхоза Черепкову, с которым у него сложились неплохие отношения, и говорил ему, что «Макар-Горчица стоит против сентябрьского Пленума и не дает ему разводиться скотину». Известно также, что Макар Петрович посетил секретаря колхозной партийной организации и сказал так: «Пашка-Помидор — гнилой колхозник, и он, Помидор чертов, не соответствует действительности».

Если ко всему этому добавить, что болтает народ, то просто невозможно предположить, во что выльется вся эта заваренная каша. А народ вот что промеж себя говорит: будто между председателем колхоза и секретарем партийной организации — большая неприятность; будто насчет председателя имеется в районе нехороший слух и что его будут заменять на непьющего или хотя и пьющего, но по норме, а не без числа. А еще был слух — это уж точно, — что Макар Петрович самолично ходил к секретарю райкома партии и полчаса разговаривал с ним о председателе колхоза; один ходил, по своей воле, взял палку в руки и пошел, как в свое правление. Что ж, все это могло быть — народ зря болтать не будет.

На Октябрьскую Макар Петрович выпил, как и требуется, — за два дня «попил все», — и кричал в колхозном дворе, что он и в область мог бы дойти, да смыслу нет — в

районе тоже не дураки: «политику знают и Макара понимают». Но ни он не пригласил Павла Ефимыча в гости на праздник, ни Павел Ефимыч не позвал Макара Петровича. Даже кланяться друг другу перестали. Вот до чего дошел конфликт! Так продолжалось до самого отчетного собрания.

А там получилось у них несколько иначе.

Когда открыли собрание, то Птахин посмотрел, кто сел с ним рядом. Оказалось — Макар Петрович! Он пришел перед самым открытием, потому что задержался на вечерней уборке в конюшне. Они оба так привыкли к своим местам, что независимо друг от друга оказались рядом.

Председатель колхоза Черепков отчитался. Все цифры, конечно, запомнить нельзя, но то, сколько выдали на трудодень и сколько еще будут давать за этот год, было очень ясно: получилось по два с половиной килограмма пшеницы и по семьдесят копеек на трудодень. Это уже хорошо. Докладчик напирал на то, что он добился высокой оплаты хлебом, он «наметил дальнейший рост зажиточной жизни колхозников». Но Макар Петрович просто перебил его и, не вставая, прокричал:

— Правительство с нас половину поставок скостило, а то бы ты дал нам «зажиточную»!

Ну, конечно, тут все немножко посмеялись, и многие сказали себе под нос: «Макар-Горчица высказался правильно». Потом обсуждали доклад, ругали правление, говорили, как надо действовать дальше. Когда все переговорили, то председателя сняли уже без всякой критики; просто кто-то из задних рядов сказал: «Заменять надо» — и все дружно согласилось. Черепков посматривал на Птахина, ожидая поддержки, но тот так и промолчал.

Но когда выбирали нового председателя, то вопросов ему было несть числа: сколько лет от роду, сколько имеет детей, разводился ли с женой, сколько классов окончил, как насчет водки — с утра пьет или только вечером, в нерабочее время; где работал, почему ушел оттуда и много, много других вопросов. Час целый отвечал кандидат на вопросы. Человек он, видать, скромный, в гимнастерке, с виду суховатый, но голос твердый. И фамилия, как оказалось, Макару Петровичу, подходящая, простая — Телегин, а зовут Петр Иванович. Из ответов выяснилось: окончил семилетку, работал бригадиром восемь лет, заочно кончил сельскохозяйственный техникум; значит, теперь по званию — агроном со средним образованием.

— Я,— говорит Петр Иванович, — от вас и живу-то не особенно далеко — из Алешина я...

Тогда Макар Петрович вскочил и спросил:

— Из Алешина?

— Из Алешина.

— Из «Чапаева»?

— Из «Чапаева».

— Это у вас по семь рублей и по три кило на трудодень? — продолжал Макар Петрович.

— У нас.

Все притихли, затаив дыхание, и слушали вопросы Макара Петровича и ответы Петра Ивановича.

— Значит, я понимаю так: если на мои трудодни вместе с Сергеевой получить так, то выходит без малого десять тысяч.

Телегин согласился с этим и подтвердил, что в колхозе имени Чапаева так и есть.

— Слышь, Пал Ефимыч? — спросил Макар Петрович. — А ты — колодезь во дворе! — Последние слова он сказал тихо — одному соседу, забыв вгорячах ссору.

Только Павел Ефимыч его уже не слушал, а встал сам и задал вопрос так:

— Как ты понимаешь, Петр Иванович, сентябрьский Пленум?

— Очень уж вопрос большой — сразу и не ответишь, — улыбнулся Телегин.

— Я уточню,— сказал Птахин.— Как ты понимаешь сентябрьский Пленум по вопросу скота у колхозников?

— А-а! Догадался, о чем речь.— Он чуть подумал в общей тишине, а Макар Петрович и Павел Ефимыч даже привстали от напряженного ожидания.— Главное в том, чтобы улучшить жизнь колхозников...

— Правильно! — перебил его Птахин.

— Пойдите минутку. Я попросту вам скажу: у нас в «Чапаеве» девяносто процентов своего дохода колхозник получает от колхоза... Наши личные интересы там зависят от колхоза и отчасти от своего хозяйства. Богаче колхоз — мы богаче, беднее колхоз — мы беднее. Так и сентябрьский Пленум надо понимать: сделать все колхозы богатыми. Если же разводить скот в одном только личном своем хозяйстве, то это будет извращение решений партии.

— Очень правильно! — сказал теперь Макар Петрович.— Это соответствует действительности.

А Птахин задумался. Он опустил голову вниз и мол-

чал. Макар Петрович тихонько толкнул его локтем и сказал, указывая кивком на трибуну, где стоял Телегин:

— Человек! А?

Павел Ефимыч промолчал.

Через некоторое время Макар Петрович, вытирая пот со лба, произнес:

— Духота!

— Духота,— ответил, как эхо, Павел Ефимыч. А это все равно, что промолчал, и даже хуже.

Макар Петрович слушал, следил за всякими предложениями и высказываниями, но оттого, что сосед не пожелал разговаривать с ним, он внутренне начинал горячиться. «Молчит,— думал он,— и разговаривать не хочет, чертов Помидор». А Павел Ефимыч тоже думал: «Лезет с разговорами, Горчица».

Уже после того как проголосовали за Телегина и он поблагодарил за доверие, Макар Петрович вышел прямо на сцену. Он стал перед столом президиума, но обратился к новому председателю:

— Петр Иванович! Управляй нами правильно.— Он с секунду помолчал, подыскивая слова. Знал Макар Петрович, что слова эти должны быть важные, что они должны быть сильнее самой длинной речи, поэтому и приостановился чуточку, обдумывая.— Будешь управлять, как диктует партия,— мы тебя на руках будем носить. Не будешь так — прогоним. Прямо говорю: прогоним. Ты требуй от нас, требуй, пожалуйста, но... имей к нам уважение. Плохо у нас было. Ведь до чего дошло: пута — несчастного пута! — не могли добыть. Понимаешь, пута! На одной-единственной корове рекорды делали. Учти, Петр Иванович, скотина рогатая у нас гиблая, а такие колхознички, как Пал Ефимыч Птахин, собираются разводить ее не в колхозе, а у себя во дворе.— Как и всегда, Макар не выдержал долгой речи, смешался и совсем тихо сказал:— Должен ты понимать: были «сорокакопеешные», не сразу будем «семирублевые». Трудно будет тебе.— Тут он прижал шапку к груди и отчетливо, громко, на весь клуб, спросил: — Вера в тебе есть, что сделаешь?

— Есть,— ответил Петр Иванович не задумываясь.

— Тогда все! — И Макар Петрович под бурные аплодисменты сошел со сцены.

С собрания соседи вышли каждый сам по себе. Макар Петрович пошел вдоль одной стены, а Павел Ефимыч пересек зал и пошел вдоль другой. Но опять же — вот ведь штука! — в дверях они столкнулись вместе. Тут уж назад

не пойдешь — надо вперед. Пошуршали они кожухами друг о друга и вышли на улицу. Волей-неволей некоторое время шли рядом. Идут и молчат.

— Луна-то, — наконец сказал первым Макар Петрович.

— Луна, — отозвался и Павел Ефимыч.

— На мороз, надо быть.

— На мороз.

Идут и молчат снова.

— Снегу-то нынче — ого-го! К урожаю, — произнес Макар Петрович.

— К урожаю, — все так же угрюмо откликнулся Павел Ефимыч.

Нет настоящего разговора, да и только. Далеко зашла ссора. Трудно жить молча, когда прожил рядом с человеком всю жизнь. Очень трудно. Оба чувствовали это. Но куда денешься от неприязни, если она есть!

«Значит, далеко разошлись», — подумал Макар Петрович.

«Как и не соседи», — подумал Павел Ефимыч и вдруг решительно направился на другую сторону улицы.

Макар Петрович постоял, постоял, посмотрел соседу в спину, дождался того, как он пересек улицу, и пошел своей тропой.

Так они и шли домой: на одной стороне улицы хрустят по снегу сапоги Макара Петровича, а на другой — валенки Павла Ефимыча. Сапоги хрустят гулко, со звонким скрипом, и звук ударяет о стены хат хлестко, по-хозяйски. Валенки — эти похрустывают с шепотком, намного тише сапог.

Хр-р-руст, хр-р-руст! — слышится с одной стороны.

Хр-р-ристь, хр-р-ристь! — доносится с другой.

По этому звуку в зимнюю ночь соседи узнали бы друг друга за полкилометра и в былое время заскрипели бы навстречу. А теперь... Кто ж знает, как оно будет у них теперь!

А ведь все началось с коровы.

Экзамен на здравый смысл

Вы хотите, чтобы я рассказал вам что-нибудь интересное. К сожалению, мне трудно вспомнить такое, что было бы интересно. Я ведь тридцать с лишним лет пробыл в поле. Что у меня может быть интересного? Ничего не может быть. Так, пустяки какие-нибудь — могу, пожалуй... Кстати, вы несколько минут тому назад заговорили о снах. Вы только сейчас сказали мне, что видели во сне таракана, и спросили: «К чему бы это приснилось?» А ни к чему, скажу я вам. Так просто — извращенное отражение усиленной работы отдыхающего мозга. Какие бы то ни были сны — не верьте им. Прошу вас, не верьте снам. По собственному опыту знаю — блажь одна.

Чтобы доказать это, расскажу вам, как мне приснилось такое, чего и в жизни-то не бывает никогда, да и не может быть. Хотите, расскажу? Все равно нам с вами, молодой человек, сидеть в этой заброшенной тракторной будке до тех пор, пока не перестанет дождь и пока наш грузовик какая-нибудь добрая душа не вытащит на буксире. Ну, если вы охотно согласились, буду рассказывать, что мне приснилось.

В тот день, задолго до отхода ко сну, конечно, я занимался реальными делами, а не какими-нибудь глупостями: читал старинную книгу, которую подарил мне мой бывший учитель и навечно друг профессор Ухломский. Люди, утверждающие, что чтение старинных книг — глупости и вредный уход от современности, никогда не поймут меня. Бог с ними! Я все-таки читал старинную книгу издания тысяча восемьсот двадцать пятого года. И не только читал, а и долго думал о ней после, до самого того момента, как уснул. Вам, конечно, хочется знать, что же такое я думал перед сном. Не могу точно припомнить всего, что мне приходило в голову, потому что, когда я мыслю много и долго, то забываю почти все; когда же я думаю мало или совсем ни о чем не думаю, то помню все. Хотите верить, хотите нет, но это так. Мало ли людей на белом свете ни о чем не думающих, но все-все помнящих, и все понимающих, и обо всем рассуждающих? Есть такие. В чем же дело? Почему именно я должен помнить все, о чем думал?

Представьте себе, в голове остались только воспоминания, почти не касающиеся содержания книги. Забыл сказать, что та самая книга написана о сельском хозяйстве (название очень длинное, вы его узнаете после). Но я не забыл и до сих пор, что тогда, за время моего длительного размышления, вспомнил некоторых людей, с которыми вместе работал или непосредственно им подчинялся по научной инстанции. Кстати, к научной работе я имел некоторое отношение. Какое? Это неважно. Не имеет значения. Каждый человек должен пахать свою борозду. Следующий за мной тоже пашет свою борозду, но заваливает мою новым пластом. Так что я не удручаюсь, если моей борозды не будет видно, зато общая пахота получается взрыхленная и урожайная. Я — лемех в многокорпусном плуге. Лично меня это вполне устраивает... Вам, может быть, не очень интересны мои отступления? Так вот я и хотел сказать, что к научной работе имел отношение и имею по сей день, как вам известно. Поэтому, видимо, я и вспомнил тогда перед сном, после чтения книги, некоторых своих коллег.

Работал я в Астрахани, работал и в Курске. В Воронеже тоже. Так что знакомых у меня всюду много. Я помню многих ученых и директоров опытных станций и просто рядовых научных работников. И всех их уважал и уважаю за то, что каждый из них вносил что-то новое в науку. Правда, кое-кто из них перестраивал что-то и в поте лица исправлял своего предшественника, заваливая его борозду иной раз начисто, а иной раз с огрехами. В последнем случае чаще всего борозда была мельче предыдущей. Это бывало. Не очень часто, но бывало. Вспомнил я тогда и товарища Глыбочкина, директора опытной станции, открывшего новейший прием агротехники — боронование всходов. По его утверждению, после этого открытия колхозы в те времена сразу стали зажиточными. Товарищ Глыбочкин, представьте себе, очень любил делать доклады и сообщения и страстно, до упоения, увлекался этой в высшей степени интересной исследовательской работой. Он, правда, был мал ростом и достаточно шупл для того, чтобы назвать его мизерным, но я его уважаю. Тем более много лет спустя он стал-таки кандидатом наук. Но в этом я не очень уверен, а врать не хочу.

Вспомнил и товарища Серобелохлебинского, тоже директора опытной станции. Он впоследствии стал доктором. Но не в этом суть. Товарищ Серобелохлебинский своими многотрудными делами поднял опытную станцию

на высоту, ни для кого не достигаемую, так как никто не мог постичь, чем в те времена там занимались. Этот был, наоборот, высок ростом, угловат и костист, угрюм, очень редко улыбался. Злые языки утверждали, будто мозг его не изнемогал от умственных упражнений. Но как этому верить, если в мозги посторонней личности проникнуть пока невозможно? Не столь важно, каков он был, но я его уважаю за глубокомыслие и сосредоточенность на одном и том же объекте в течение многих лет. Он, например, готовил свою диссертацию всем коллективом станции, то есть сосредоточил почти всех на этом объекте. В наше время такие весьма сосредоточенные люди встречаются редко. Вы хотите возражать? Вы думаете, есть еще такие? Думайте себе на здоровье. А я остаюсь при своем мнении: таких хороших людей почти уже нет. Кто из нас с вами оптимист и кто пессимист — не будем спорить. Если вы считаете, что они есть, то пожалуйста. Будем терпимы друг к другу. Если же я, допустим, увижу, что они есть, то обязан все равно сказать «Нет», поскольку нахожусь в подчинении и вы мне можете не поверить. Имейте свое собственное мнение. Зачем спорить! Лучше давайте уважать мнения друг друга.

Минутку! Я же тогда, перед сном, держа в руках открытую книгу, вспомнил еще одного человека. Помилуев! Товарищ Помилуев. Заведующий опорным пунктом опытной станции. Это был единственный в своем роде человек. В тридцатом мы вместе с ним кончали один и тот же институт. Друзья были! Закадычные. Я ему однажды в приступе дружеской фамильярности наломал бока и нос расквасил за то, что он насплетничал декану. И так каждый раз у нас получалось. Ах, молодость, молодость! «Куда, куда вы удалились...» И тому подобное. Всякое может быть между друзьями... Вот и вы не возражаете. Значит, я прав. Нельзя же быть всегда неправым уже седому и сгорбленному человеку шестидесяти лет, какого вы видите перед собой. Да! Так вот, товарищ Помилуев сейчас работает в каком-то научном учреждении (не знаю, как оно называется) где-то не то в Херсоне, не то в Николаеве или Смоленске. И выводит, знаете, какую культуру? Не знаете... Хлопчатник! Не удивляйтесь. Вы думаете, если в Смоленске или Херсоне не сеют хлопчатник, то его нельзя там выводить? Ошибаетесь: можно. Помилуев выводил и выводит его для Средней Азии. И в самом-то деле, вывести новый сорт для Средней Азии в самой Средней Азии — и дурак выведет. А вы попробуйте сделать сорт далеко-дале-

ко от Средней Азии, там, где хлопчатник не растет совсем. Это потруднее! Гораздо труднее, скажу я вам. И может это делать только Помилуев. Вы имеете основания мне не верить. Но если бы вы знали этого настойчивого человека с глазами навывкате, вы бы не сомневались. Поверьте хотя бы на слово, спасибо вам.

Меня можно простить за то, что я так отвлекся (я уже старый человек), но вы же сами хотели, чтобы я рассказал, о чем думал перед сном, прочитавши книгу. Я уже говорил, что думал много, но все забыл. Как видите, только и осталось в памяти — вспомнил трех человек, которых не перестану уважать даже и в том случае, если уйду на пенсию, то есть окажусь в таком состоянии покоя, когда никто из них меня уже не достанет своей благородной дланью.

А может случиться и так: встретимся мы когда-нибудь с Помилуевым лет через десяток, оба старенькие-старенькие. Встретимся и вспомним юношеские годы и всю его безупречную деятельность на поприще хлопчатника. Конечно, может, мы и не встретимся с ним. У меня-то, уверяю вас, страстное желание увидеться с таким старым и испытанным другом. Но если и не встречу, то вряд ли потеряю что-либо. Пожалуй, не встретимся. А уж если соткнемся где, то у меня хватит храбрости... промолчать о его творческих проказах. Я человек такой! Да и вы сами знаете: для того чтобы смолчать глупую мысль, тоже требуется разум. Свою собственную глупую мысль не высказывает только умный человек. Все остальные высказывают.

Ну-с, о чем я? Да. Вот эти три человека мне и вспомнились перед сном. Больше ничего — уснул.

И увидел я необыкновенный сон.

Может быть, вам скучно от моей болтовни? Может быть, отложим до завтра? Ведь агрономический участок я еще не весь вам сдал, еще дня на два-три хватит нам с вами работать, да еще акт будем писать. Успеете меня дослушать. Как вы полагаете?... Ну, если вы сами хотите, чтобы я рассказывал и дальше, то спасибо.

Увидел я, значит, сон...

Ах, простите старика! Совсем запамятовал. Немножко не так было. Вот уж и склероз дает себя знать, чтоб ему провалиться... Еще до того, как я уснул, вспомнил еще одного человека — Сарову Марию Петровну. Да, совершенно верно — вспомнил именно ее. Если бы вы знали, какая это была женщина! Нет, вы не можете знать этой женщи-

ны — вы еще так молоды. Она была некрасива: огненно-рыжие волосы, широкое красноватое в конопатинах лицо и угловатые плечи никак не создавали хотя бы чуть-чуть привлекательности. Но если ей посмотреть в глаза, то — боже мой! — какая глубина разума была в них видна! Я не шучу. Глаза всегда выражают работу мысли. У Марии Петровны глаза были очень умные. И при том это был человек честнейшей души, великого трудолюбия и беспредельной преданности своему делу... Это хорошо, что вы не улыбаетесь. Значит, понимаете, — не шучу. Я всегда буду чтить память этой замечательной женщины, отдавшей лучшие годы своей жизни селекции такой культуры, которую пинали и топтали, смешивая с пылью своего недомыслия и грязью скаредности некоторые ретивые конъюнктурщики. Пожалуй, вы меня тоже обвините в конъюнктуре, если я назову культуру, с которой работала эта честнейшая женщина-агроном четверть века. Бог с вами, если вы так подумаете. Но я все-таки скажу: она вела селекцию кукурузы. Двадцать пять лет она упорно доказывала, что означает ее работа. Годами ей отпускали мизерные суммы на селекцию, годами она жила на зарплату, равную четверти вашего месячного оклада. Было время, когда совсем закрыли селекцию кукурузы на опытной станции, и Мария Петровна брала какую-нибудь плановую культуру для того только, чтобы рядом продолжать работу с кукурузой. Никому не было дела до ее работы. Но она не сдавалась. Это была женщина-герой! Она вывела за свою жизнь несколько сортов кукурузы, но... их никто не сеял. Не сеяли по самой простой причине: не было «спущено» плана на эту культуру. Вы, извините, вероятно, знаете, молодой человек, что в свое время планы «спускались» колхозам, но хлеба от такой агротехнической операции не прибавлялось. Ну, это я сказал к слову. Не в этом суть. Так вот, пришло время, когда кукурузу стали сеять, много стали сеять, даже больше, чем нужно, и не там, где нужно. Почему ее стали сеять, вы сами знаете. И сорта Марии Петровны пошли в ход на больших площадях.

Вы скажете мне: «Вот и хорошо!» Не спешите, пожалуйста. Дело-то в том, что эта женщина-селекционер умерла до тысячи девятьсот пятьдесят третьего года. Она не увидела плодов героической жизни. Да, не увидела...

...Вы извините меня, что я так надолго задумался и молчал. Но ведь вы тоже молчали. Мы оба молчали. Не скрываю: мне грустно. Да и вы, как я вижу, не веселитесь от моего воспоминания о трагической жизни замечательного

человека. Больше скажу: мой друг и бывший учитель (теперь уж престарелый) профессор Ухломский плакал, идя за гробом Марии Петровны, за которой не очень-то многие признавали при жизни здравый смысл. Да, да, он плакал. И я плакал. Не осудите, пожалуйста, старика. Так было. Мы весь вечер после этого просидели с Митрофаном Степановичем Ухломским вдвоем и почти все время молчали. Именно в тот самый вечер он и подарил мне ту старинную книгу, которую я читал потом, а после чтения долго не мог уснуть.

Но, как уж вам известно, я все-таки уснул тогда. Уже теперь точно скажу, что после Саровой Марии Петровны и профессора Ухломского я никого не вспомнил. Думал, думал и все-таки уснул.

Вот вы и снова улыбаетесь. Это, наверно, потому, что я сразу же изменил тон. Такая уж у меня натура.

Итак, увидел я, представьте себе, странный сон.

Видю, что вхожу будто бы в какое-то огромное, невиданной архитектуры здание. И будто впереди идет Помилуев (тот самый, что насчет хлопчатника соображал и с каковым, как я уже сказал, страстно желал увидеться). Я пошел за ним в некотором отдалении, шагов за десять. Входим мы в вестибюль. Массивные колонны поддерживают потолок. По стенам таблицы и диаграммы, колосья и плоды земли разные. В два ряда стоят статуи ученых, одетых в те самые костюмы, в каких они ходили при жизни. И вдруг, представьте себе, я заметил, что статуи ожили, зашевелились и все повернули головы к Помилуеву. Потом Дарвин — хотите верьте, хотите нет — отвернулся от него и тихонько-тихонько, по-стариковски, плюнул в сторону. Климент Аркадьевич Тимирязев указал пальцем на Помилуева и произнес:

— В главный зал! Сегодня ваша очередь.

Столетов спросил у своего соседа Ивана Владимировича Мичурина, указывая пальцем на Помилуева:

— Этот?

Иван Владимирович не ответил на вопрос, а вдруг топнул в негодование ногой и сердито спросил:

— Ты зачем сюда?

И голос его громом прокатился под сводами здания.

Помилуев опешил. Он остановился и задрожал, как телячий хвост, потому что был не настолько смел, чтобы его можно назвать храбрым.

И только один старик Мендель тихо и ласково так проговорил:

— Христом-богом прошу: пропустите его! Смотрите, он «посинел и весь дрожит». Выяснить надо его содержание. Почему, дескать, вы знаете, что там у него внутри? Хоть он и плевал на меня множество раз, но я не помню зла. Пропустите!

Помилуев пошел дальше. Подходит он к громадной двустворчатой двери. И та дверь открывается перед ним сама собой. Я пошел за ним. И увидел вдруг конференц-зал того самого института, где мы с Помилуевым учились и где Серобелохлебинский защищал диссертацию. До чего же это было странно — и подумать невозможно. Но что-то не приснится! Всякая небывица во сне может померещиться... Да. Над сценой, в зале-то, светящимися буквами написано: «Экзамен на здравый смысл». А на сцене полукругом расставлены столы. За каждым столом сидит только по одному человеку. В центре полукруга — какой-то старинный ученый в мантии академика, на голове у него академическая шапочка. Точно я не определил, кто это, но лицо его напоминало отчасти Тимирязева, отчасти Столетова, отчасти кого-то еще. Перед этим ученым на столе, слева и справа, лежали толстые книги в кожаных переплетах, почерневших от времени.

Справа от того важного и престарелого ученого сидел профессор Ухломский. А слева какой-то колхозник, очень, скажу я вам, похожий на моего родного дядю. В общем, колхозник довольно почтенного возраста, этак лет семи-десяти.

За остальными столами — люди разных возрастов. Лица у них серьезные. Кто они, не знаю. Одно было ясно: это ученые других наук, не сельскохозяйственных, потому что на Помилуева внимания не обратили, а продолжали искать что-то в книгах. Над каждым столом — этикетка с названием отрасли науки, например: «Химия», «Физика», «Электротехника», «Архитектура», «Математика», «Медицина» и так далее. Над столом Митрофана Степановича Ухломского значилось: «Сельское хозяйство». Над столом ученого в мантии, в центре, написано по-латыни: *Retrospecte* (то есть «глядеть назад»).

Затем я окинул взором зал. Народу было немного. Но здесь сидели некоторые директора опытных станций, один или два директора института сельскохозяйственного направления, какие-то кандидаты сельскохозяйственных наук и даже один доктор.

Вы сомневаетесь? Вы хотите сказать, что не мог я во сне определить ученые степени присутствующих? Позволь-

те! Не надо перебивать. Дело-то в том, что у каждого из них был приклеен на лбу ярлычок соответственно занимаемой должности или присвоенной степени. Ну, пожалуйста, не смейтесь. Разве не может присниться человеку всякая чепуха!

И дальше вижу во сне. К Помилуеву подошел швейцар — наш бывший прелестный Матвейч, которого мы, студенты, встречали в дверях каждый день. Подошел он к Помилуеву и говорит:

— Вон у того стола предъявите документ. — А мне шепнул: — Вы займите место в заднем ряду.

Помилуев подошел к столу, что стоял в нише, предъявил документ, и ему тот же Матвейч приклеил ярлычок. Вот уж, ей-богу, не помню, какой ему ярлычок приклеили — то ли «Кандидат», то ли «Доктор». Нет, «Доктор» вряд ли: Матвейч не дурак. А может, «Доктора» приклеили — во сне все может приключиться. Не в этом суть. Да. После этого Помилуев сел в одном из рядов, посмотрел налево, направо, вздохнул, съежился и стал смотреть на сцену, на ученых.

Я тоже сел на указанное мне место и стал слушать и тоже смотреть на сцену, как все. Там стояло простое сооружение в виде постамента, высотой вровень со сценой, с правой от нее стороны. Ученый в мантии пошептался с профессором Ухломским и кивнул ему головой. Ухломский встал и объявил:

— Директор опытной станции товарищ Глыбочкин! Есть?

— Есть, — ответил дрожащий голос из зала.

— Ваша очередь, — сказал Ухломский.

Глыбочкин вышел, стал на постамент и поклонился к сцене. Он стоял так, что его лицо было видно и всем присутствующим в зале, и всем сидящим на сцене. Глыбочкин, как я уже говорил, был маленького роста, а во сне он мне показался еще меньше.

— Первый вопрос, — начал торжественно профессор Ухломский, видимо руководивший экзаменом. — Великий Экзаменатор просит изложить по пунктам то новое в агротехнике сельскохозяйственных культур, что открыто на руководимой вами станции и внедрено в производство. Отвечайте конкретно, не употребляйте сокращенных слов в научном изложении, ибо Великий Экзаменатор не понимает слов-уродов.

Глыбочкин откашлялся и совсем-совсем дрожащим голоском начал свою речь:

— Я постараюсь быть кратким... Новое в агротехнике, разработанное нами на опытной станции, заключается в следующем: а) установлено, что наилучшая глубина вспашки — тридцать сантиметров, что обеспечивает борьбу с сорной растительностью; исследован также вред, приносимый огрехами; установка о глубине и недопущении огрехов дана повсеместно.— Глыбочкин входил в обычную свою роль «сообщителя» итогов работы на разных совещаниях и продолжал заученно: — б) установлено, что растения полевых культур, взятые семенами с другой почвы, впоследствии переделываются новой почвой на свой лад и становятся лучше или хуже; в) открыто и разработано внесение минеральных удобрений одновременно с посевом семян; г) исследовано тщательно и установлено, что пастьба скота по озимым вредна; д) открыто значение смачивания семян навозной жижой и разработана методика применения этого новейшего способа; е) боронование всходов открыто нами впервые в истории и внедрено в практику... И многое другое, подобное перечисленному выше,— заключил он теми же словами, как и обычно, и замолчал, видимо считая, что и этого вполне достаточно, чтобы получить «пятерку» на таком высоком экзамене.

Наступила тишина. Было слышно, как разговаривала муха с мухой. Великий Экзаменатор взял из стопы книг одну — старую и пожелтевшую — и перелистал. Потом о чем-то посоветовался с профессором Ухломским, поговорил тихонько с колхозником и закивал головой. Ухломский объявил:

— Для ретроспективного взгляда в историю имеет слово Великий Экзаменатор.

— Достопочтенные! — начал тот. — Предо мною лежит книга. Называется она так:

«Новый опытный сельский управитель, прикащик и эконо́м, или самонужнейшия и обстоятельныя наставления о управлении деревнями, крестьянами, земледелием, пчеловодством, скотоводством, птицеводством и огородными работами».

Книга сия писана в одна тыща семьсот девяносто шестом годе, а издана сиречь в университетской типографии в одна тыща восемьсот двадцать пятом годе по рождеству Христову. Да взнемлет экзаменующийся директор слову сему! На странице осьмой писано здесь:

«Всякую паашню пахать глубиною в одну четверть и три вершка.— Иметь предметом, чтоб чрез то пахание слипшуюся между собою землю раздробить или разрушить, а чрез то сделать нивы свои мягкими и рыхлыми. Равно чтоб чрез то искоренить вредныя травы, заглушающия паханую землю; но как земля и сеемый на оную хлеб бывает различных свойств, то и определение пахания распорядить должно по различию земли и самых семян; ибо опытность доказывает, что хлебы не одинаковы, следовательно одне из них многого и частаго пахания требуют, нежели другия».

Тут Великий Экзаменатор обратился ко всем сидящим на сцене, внимательно прослушавшим ретроспективное чтение:

— Дistinguished! Видите ли вы здравый смысл в ответе директора?

— Нет! — воскликнули все — физики и химики и иже с ними.

Математик пояснил тут же:

— Одна четверть и три вершка равны приблизительно тридцати сантиметрам.

Я и во сне, помню, был убежден, что книга, которая только что цитировалась, есть только у меня одного, что никто не знает о ее существовании, кроме Ухломского Митрофана Степановича, подарившего мне эту книгу. А оказалось: знают! Ну и чушь приснилась, ну и чушь!

— И дальше,— продолжал Великий Экзаменатор.— Читайте о семенах и влиянии на них почвы. Внемлите!

«Ибо лучшая земля, принимая в себя семена худой земли посредством своих соков и тучности, придает зернам силу и как бы принуждает их быть такими, какия ей свойственны».

И он спросил:

— Есть ли здравый смысл в открытии опытной станцией уже открытого сто тридцать пять лет тому назад?

Встал Химик и ответил:

— Нет.

Встал Физик и сказал:

— Нет.

Встали все на сцене и хором ответили:

— Нет!

— И далее читаю,— сказал Великий Экзаменатор:

«...способ, служащий к умножению хлебородия: клал я ри насыпке семян в телеги на каждую четверть всякого леба по полфунту мелко истолченной перетопленной ситры, которая в отдаленных местах, куда за дальностию навоза возить неудобно,— служила мне вместо посредственного унавоживания; а иногда смачивал я зерна навозною водою, и давши оным несколько провянуть, засеивал ними; почему и чрез сей способ получал довольно выод».

И Великий Экзаменатор задал вопрос:

— Как решим?

Ответил колхозник, похожий на моего дядю:

— Вот тебе и открытие с рядковыми удобрениями, товарищ директор! Вот тебе и влияние навозной жижи! Нет здравого смысла в присвоении открытого раньше.

И все экзаменаторы согласились с колхозником.

Великий Экзаменатор стал снова читать:

«...озимья поля ежедневно объезжать и смотреть, чтоб на оных не было лошадей и другого скота, а особливо в сырую и ненастливую погоду; ибо скотина не укоровившись еще зерна зубами с корнем выдергивает, или копытами выворачивает; равно валяясь, их вытирает, от чего множество зерен бесплодными остаются. К отвращению же сего вреда, надобно к каждому полю приставить сторожей...»

— Это ретроспективный ответ на «исследования» опытной станции,— пояснил Великий Экзаменатор.— А вот о бороновании:

«А как трава растет гораздо скорее ячменя. то от сего и должно последовать совершенное ему заглужение. Еслиж заскороживанием дней пять-шесть подождать, буде только погода дозволит, то поспешно растущий рыжик в сие время весь из земли выйдет, и борона может тогда весь его в самом начале роста разрушить и истребить его так, что он никогда уже с силами не сберется возрости. Впрочем хотя то и правда, что ячмень, а особливо посеянный в благоприятную погоду, очень скоро иногда пускает росты и всходит, однако ячменю не мешает то, хотя бы он и во время самого пускания ростов и самого всхода был заскороживан; ибо как семена... из своего положения бороною не вытаскиваются, но остаются на своих местах».

Великий Экзаменатор окончил чтение и сказал:

— И здесь опытная станция выдает за свои открытия давнишние вековые народные исследования и опыты. Ясно: в здравом смысле отказать.

После этого выступил Механик. Он с возмущением сказал:

— У вас сотни тысяч современных машин. И вместо того чтобы изучать, как при помощи этих машин получают урожай, вместо того чтобы изучать, какие машины еще нужны для получения высокого урожая, вы, директор, занимаетесь переливанием старых исследований в свои лаборатории, а затем в книги, провозглашая открытием и откровением давно известное, но отчасти забытое. Я буду голосовать за признание отсутствия здравого смысла. — И он сел.

Больше никто не говорил. Начали тайное голосование шарами. Результаты объявил Математик:

— Деятельность директора опытной станции Глыбочкина здравого смысла не имеет.

— Снять ярлык! — торжественно провозгласил профессор Ухломский.

Тот самый швейцар, что направлял Помилуева к столу, в нишу, влез на постамент и ногтем указательного пальца стал скovyривать ярлык. При этом он посылуявил палец и сказал с досадой:

— Ишь, как крепко прилепился! Не отдерешь.

— Мозги просвечивать будем? — спросил Физик у Великого Экзаменатора.

— Пожалуй, надо, — ответил тот.

После этого поднесли к голове Глыбочкина какой-то необыкновенный гудящий аппарат, от которого тянулась паутина проводов. Что-то шипело, трещало и искрило в аппарате. Потом вынули из того прибора черную банку, и все члены экзаменационной комиссии стали поочередно смотреть в нее через какую-то трубу. Заключение огласил теперь Физик:

— В мозгах способность к здравому смыслу еще не потеряна, но есть наличие порчи, происходящей от установок соответствующих научных инстанций.

Тут я, представьте себе, перевернулся на другой бок, наверно. Хотя сон и продолжался, но на постаменте оказался уже директор института животноводства. И будто экзамен на здравый смысл подходил уже к концу, будто директору задан последний вопрос.

— Последний вопрос такой, — говорил профессор Ух-

ломский: — Какова общая земельная площадь в распоряжении института?

— Девять и семь десятых, — отвечал тот.

— По угодьям? — уточнял Ухломский.

А директор института животноводства отвечал:

— Асфальтированной — пять и семь десятых, в том числе под тротуарами — ноль восемь га, под строениями — один и четыре десятых га, под полевыми опытами — ноль шесть десятых га, под скотными дворами и лужами — два га, а итого — девять и семь десятых га.

И вдруг где-то за окном заревели коровы, заблеяли овцы, захрюкали свиньи. Зал покрылся туманом. Совершеннейшая небылица мерещилась!..

Потом туман рассеялся. И я увидел: на постаменте стоит... Помилуев!

— Как ваше здоровье? — спросил неожиданно Медик.

— На уровне, — ответил Помилуев.

— Так почему же вы не едете в Среднюю Азию выводить хлопчатник? — вмешался дотошный Ухломский.

— Жарко там, профессор. Очень жарко. А у меня — жена, дети. Я уж как-нибудь... (Вот не запомнил, какой он город назвал — то ли Смоленск, то ли Херсон.) Я уж, — говорит, — как-нибудь на старом месте буду. Я стараюсь. Я десять лет жизни отдал хлопчатнику.

— Ну и как? — досаждал Ухломский. — Получается?

— А как же! Каждый год планируем вывести новый сорт.

Великий Экзаменатор вздохнул, подпер щеку ладонью в исторической печали и спросил:

— Как вы думаете: кому хуже от всего этого — хлопчатнику или вам?

Помилуев не смог ответить на такой сложный вопрос истории.

— Не желаете отвечать? — спросил Великий Экзаменатор. — Хорошо. Проверим аппаратом.

Помилуев весь обвис и сел на постамент в полном изнеможении.

Колхозник в достаточно вежливой форме предупредил:

— Тут тебе не чайная! Расселся! Как макитра из-под протокваши!

Такое деликатное обращение несколько отрезвило Помилуева, и он встал-таки.

И вдруг загремел под сводами зала голос Великого Экзаменатора:

— Люди! Во всех великих делах всех времен и у всех народов к великому деянию всегда присасываются паразиты и невежды. Вы творите в своей стране величайшее из великих дел на земле — новое общество коммунизма. Научитесь отличать паразитов и тунеядцев, какого бы они ни были чина! И вы обретете благо в веках.

И вот — ей-богу, не брешу! — сотни и тысячи репродукторов подхватили возгласы Великого Экзаменатора, земля и небо повторяли его слова, казалось, мир ликовал, услышав призыв времени. А со сцены, сквозь торжественную симфонию радости и ликования, Великий приказал строго:

— Подать аппарат-кибернетик!

И, представьте себе, направили этот аппарат на голову Помилуева. Зажужжал, зашипел, затрепал, завыл тот аппарат по просвечиванию мозгов. А Помилуев был за ним, как куций на перелазе, которого немилосердно колотят чем попало.

Да. Кончил выть аппарат. Кончил выть и Помилуев. После просмотра черной банки Физик объявил результат:

— Обнаружено: голова весьма похожа на гнилой орех — оболочка нормальная, а внутри горечь.

После тайного голосования Математик заключил:

— В здравом смысле отказать!

— Снять ярлык! — безжалостно крикнул профессор Ухломский.

Швейцар стал скovyривать ногтем ярлык со лба Помилуева.

— А-а-а!!! — дико закричал тот, поняв, что произошло.

Рядом, на постаменте, уже стоял Серобелохлебинский, угловатый, высокий и удрученный, в каком-то адском свете, как врубелевский Демон. Выскочило у меня из памяти, какие ему вопросы задавали. Помню только, наседали на него колхозники и все повторял неотступно:

— А что из твоей «сосредоточенной» диссертации внедрено в практику колхозов? Нет, ты скажи! Ты скажи!

А тот что-то лопотал, лопотал, что-то такое рычал басом, вроде: «Да. Нет. Ни да, ни нет. Так, так. Нет, не так». Одним словом, к большому сожалению, я видел Серобелохлебинского во сне смутно. Да и с постамента он ушел странно: как-то весь расплылся, растаял перед экзаменом истории бесследно, исчез, как призрак.

Ну и чепуха! Ну и блажь примерещилась мне! Надо же!

Повернулся я на спину и снова уснул. Представьте се-

бе, снова тот же сон! Так редко случается, но случается. И вижу тот же постамент и тех же лиц. Только стоит перед полукругом ученых... Сарова Мария Петровна. Говорят, покойников во сне видеть — к перемене погоды. Не верьте. На следующий день была хорошая погода.

Не верьте снам ни на каплю. Я жизнь прожил — знаю: не верьте. Правда, и в этом случае я не помню, какие вопросы ей задавали, но отлично помню, что произошло чудо. Когда наставили аппарат-кибернетик по просвечиванию мозгов, то вокруг головы Марии Петровны засветился ореол, как у святой, а черная банка, когда ее вынули, стала блестящей, отливающей золотом. И вдруг Великий Экзаменатор в восхищении преклонился перед этой женщиной на одно колено, скрестив руки на груди. Все ученые и колхозник последовали его примеру. А она стояла, выпрямившись, гордая, непреклонная, уверенная в настоящем и будущем науки. Лицо ее, озаренное внутренним светом, стало красивым.

Растаял тут же Помилуев, как снежная баба на солнце-пеке, как-то сплющился блином и пропал начисто Глыбочкин; а она все стояла и светилась вся.

И я проснулся. Было хорошее светлое утро. Лучи солнца падали мне на лицо. Спросожь я не сразу понял, откуда эти лучи — то ли от солнца, то ли от нее.

...Вот и все. Неправдоподобная галиматья и — только. Разве я не доказал вам, как и обещал вначале, что сон — это сумбурное и совершенно извращенное отражение отдыхающего мозга. Не больше. Лишь чудаки и невежды могут верить снам. Разве ж может быть в действительности то, что мне приснилось? Не может. Однако не скрою, на следующую ночь мне очень захотелось продолжить тот же сон. Но... снались одни только глупости.

Вот видите, как мы с вами незаметно провели время. Вам не надоело? Вероятно, надоело. А я все говорю, говорю и говорю. Возраст, возраст! Старею. На склоне лет всегда так: мысль молчит, а язык ворчит. Простите уж старика.

А дождик-то, смотрите, все идет, и идет, и идет. Хорошо! Давно такого благодатного дождя не было на нашей земле.

О чем это вы задумались, молодой человек?

СОДЕРЖАНИЕ

Об этой книге и ее авторе	3
Прохор семнадцатый и другие. Рассказы	
Никишка Болтушок	15
Гришка Хват	26
Игнат с балалайкой	45
Прохор семнадцатый, король жестянщиков	66
Прицепщик Терентий Петрович	102
Тугодум	121
Один день	139
У Крутого яра. Рассказы	
У Крутого яра	177
Митрич	206
Соседи	237
Экзамен на здравый смысл	265

Гавриил Николаевич Троепольский

ПРОХОР XVII И ДРУГИЕ

Из записок агронома

Переиздание

Редактор **И. Сафонова**. Художник **В. Сиротинцев**. Художественный редактор **С. Ратмирова**. Технический редактор **Г. Банлыкова**. Корректор **М. Пожидаева**. Сдано в набор 22/II 1971 г. Подписано в печать 12/IV 1971 г. Формат 84 x 108 $\frac{1}{32}$. Усл. печ. л. 14,7. Уч.-изд. л. 16,05. Цена 60 коп. Тираж 75 000 экз. Заказ № 13069. Центрально-Черноземное книжное издательство, г. Воронеж, ул. Цюрупы, 34. Типография изд-ва газеты «Коммуна», г. Воронеж, пр. Революции, 39.

60 коп. -